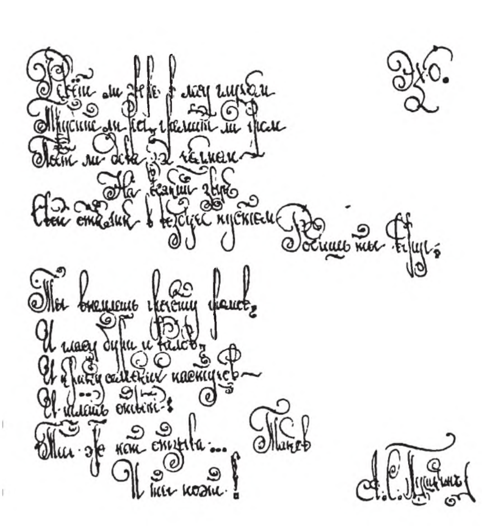
2·3 · ЭХО · ECHO

1979 · PARIS



ECHO

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

ВТОРОЙ ГОД ИЗДАНИЯ

2-3 * 1979

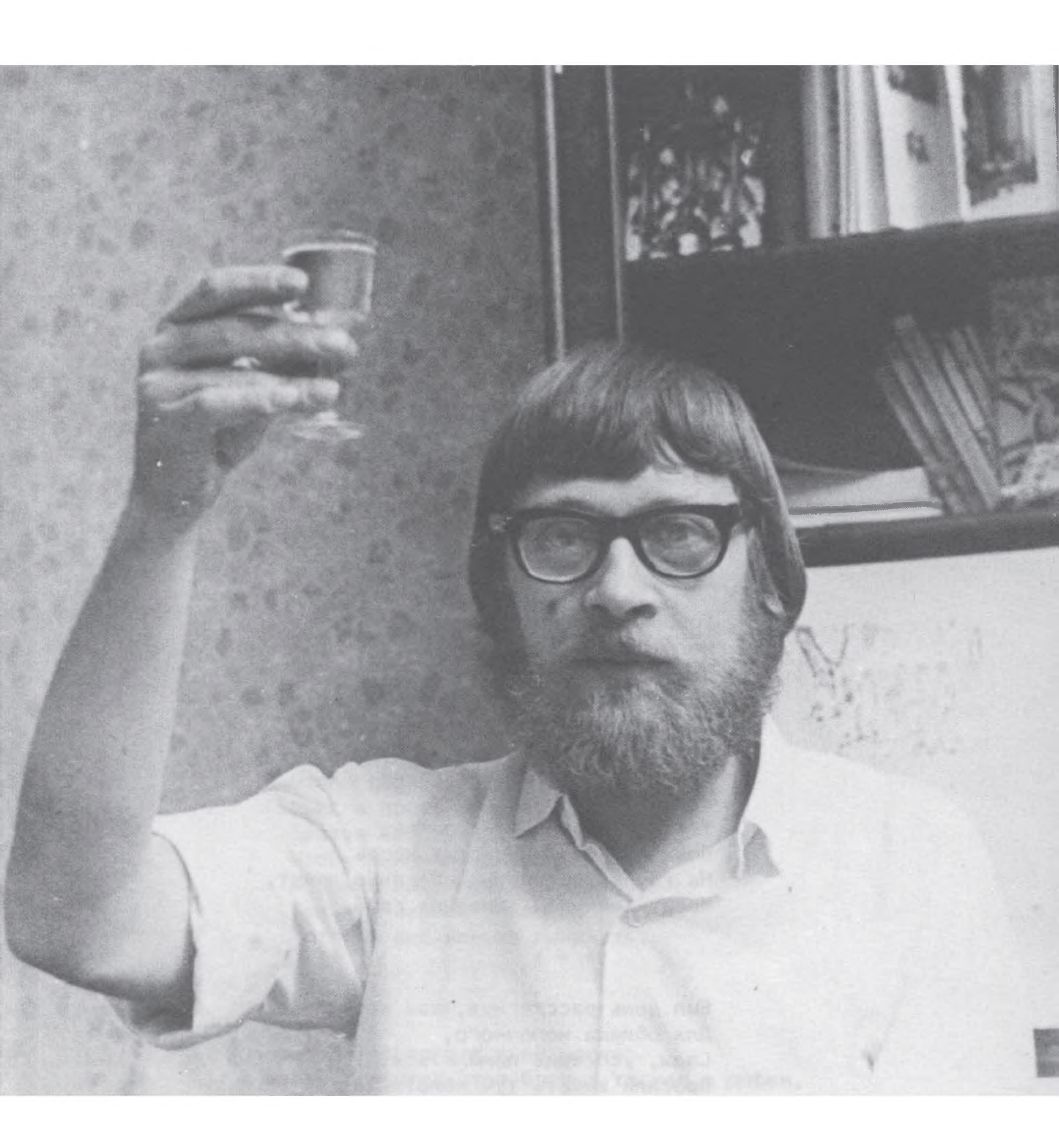
PARIS

Журнал редактируют:
Владимир Марамзин
Алексей Хвостенко

Оформление А.Хвостенко

Directeur responsable N.Secinski

Вся переписка по адресу:
V.Maramzine, 302 rue des Pyrénées 75020 Paris



Михаил Еремин

Михаил ЕРЕМИН

ИЗ СТАРЫХ И НОВЫХ СТИХОВ

1.

* * *

Говоряще лицо ладони,
Несмотря на свою безгубость,
Проживая в пиджачном доме,
Сохраняет ласку и грубость,
Закрывается пальцами плотно,
Если хозяину драться привелось,
Или долго ныряет как лодка
И тонет в волнах волос,
Улыбается солнцу на пляже,
Пока по хозяину бродит кровь,
На грудь по-собачьи преданно ляжет,
Когда хозяином заполнят гроб.

* * *

Был день расстегнут, как кормилица,
Для облака молочного,
Сады, успевшие намылиться,
Просили выжать туч полотнища,
Чтобы не хмурились садовники,
Подставив бороды под ливень,
Чтоб выросли грибы съедобные
И покраснели заросли малины...
И небо, будучи гуманным,
Стекало на поверхность трав.
Сады жевали дождь, как манну,
Седые головы задрав.

* * *

Текла толпа восставших
Вдоль окон бельэтажных.
Возле кондитерской запах фисташек,
Как глаз полицейского, коснулся каждого.
Сначала шаг удлинили задние,
А после вынужденные первые.
Грамотеи ставили указатели:
В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ РУШИЛАСЬ ИМПЕРИЯ.
Зрители посмеивались: "Скоро вернетесь!"
И считали себя патриотами.
В толпу вливались из подворотен
Одиночки и группами по двое, по трое.
В мансардах беседы вели о политике,
Вынужденные уличной лавиной,
Временами выпрямленные паралитики,
Лишая слова первой половины.
Латаный - перелапанный заляпанный месяц
Потерял свою массивность.
Как сад корнями землю месит,
Так революция Россию месила.

* * *

Так горсть земли искали иудеи:
Топча поля в пыли безоблачной;
Идущие, как бороды, редели
И падали в песок, как обручи.
Чтобы смягчилось сердце Моисеево,
Чтоб каравай земли попробовать,
Маис и просо сеяли
Братья бродячие, бредовые;
Чтоб, вынянчив давидову свирель
И землю заселив, как книгу,
Планету называть своей,
Хотя ее еще нельзя покинуть.

* * *

Строитель первого в мире моста
К месту строительства бревна таскал и доски,
Ладил настил, а потом настал
Час первой повозки.
Плотник локти положил на перила,
Трубкой украсил довольное лицо,
Выплеснул на рубаху бороды белила,
И стало мостостроительство ремеслом отцов.

ДОЖДЬ

Сшивает портниха на швейной машинке,
Подобно дождю, голубое с зеленым,
Дождю, который окном изломан,
Как лодкою камышинки.
Гром за окном покашливает,
Капли дождя к стеклу прилипают,
Полузеленая каждая
И полуголубая.

* * *

Там костлявый костер пахнет окунем,
Там роса словно щучья чешуя,
Там русалки около окают,
Там лешие прилежно шалят.
Луну сквозь чащу процеживает
Ночь рыболовья, сытая.
Плаксивые птицы присаживаются
На ветви сосновые полосатые,
На ветви, над костром нависшие.
Птицы глаза приносят
И падают спелыми вишнями
На небо к верхушкам сосен
И исчезают за тучами,
Тягучими, многослойными.
Там у костра рыбари задумчивые
И странники многословные.
Премудрость там приукрашена,
Природа преувеличена,
Повествование там приглушено,
Прилипчиво, переливчато.
Там звезды на небе, как запонки,
Там жителю городскому
Плывущие в заполночь запахи,
Рассказы про ведьму Прасковью,
Охапку сена под спину,
Земли дыхание плавное
И длинная ночь под синью,
Подобная океанскому плаванью.

* * *

Терлось тельце телка
Об устойчивые стены стойла.
Нос коровий тельца толкал,
Выводил на пустырь просторный.
Теленок вышел из коровника,
Стадности не стыдясь, пересек пустырь
И нежился в поле пестрым курортником,
Жил, пережевывая стебли и лепестки.

* * *

Печальный сезон многобожья:
Изломанность зонтичных над павшей травой,
Языческий плач черно-белых болот,
Из прозрачных деревьев сотворение терема,
Утренней церкви заоконное пение,
Стакан золотого заморского чая,
Свеча, обнаженная светом небесным,
И юная дева в преддверьи плеча.

1961

* * *

Для забавы заоблачной
Просыпались орлы.
Друг о друге заботились,
Чтобы рядом парить.
Улетали орлы за облако,
И завидовали им пернатые,
И глядели на них зоологи
И щелкали фотоаппаратами.

* * *

Полночно светтение бухты Барахты;
В бархатных шкурах тюленей утешные игры;
В утолении грубых гармоник кисельные берега.
Вытеснение бедр бедрами из окружности рук;
Голени вынашивать скованность окуня,
Истекающего икрой;
Роскожное тело распахнуто, словно огниво,
Под секирой острие боговой искры.

* * *

Воздвигнутый в честь сотворенья Вселенной
Аккумулятор воли растения
Хранит в тайниках древесины
Нуклеин дохристовых распятий,
Полон святости нерукотворной
Биохрам от корней до купола.

Тих и светел в белой колыбели,
Внемли дереву Бога, ребенок.

2.

* * *

В.Уфлянду

Чей труп, как на распутьи мгла,
Лежит на темном лоне нощи?
Г.Державин

Ст храмов до хором, от теремов до тюрем,
От перебитых голеней до Спаса-на-крови,
От черных терм до ТермоЯров
Слывут паломниками ельники, кружащие на курьих лапах
Под оберег великоросса, фомок всенощный трезвон,
В реторте агнец прорастает из копыта,
И бродит волчьим бредом бор сведенный,
И пишет вавилоны тот, кто царь и червь.

1978

* * *

Ананду-тандава* наяривает в яре явор на яру.
Как из-под ног скамью, затягивая петлю,
Как плот на стрежень, переправившись на тот -
Ни деревца, лишь путы из песка - отлогий берег,
Провисший в небо мост с последним шагом оттолкнуть.
Раскидист - в оперенье ветер - словно древо Бодхи,
Когтистыми корнями в холм навозный
С подъятой лапой врос петух.

1978

* *Ана́нда-та́ндава - танец экстаза (Шивы).*

* * *

И.С.

Сомкнула веки. Не вступать, а погружаться
В сокрытый ими сад. Деревья -
Еще не алфавит, уже не древние аллеи текста.
Любовь - еще вторая изгородь. Движенье -
Уже не ноша, но еще не ниша.

Не словом открывают губы
Лучистый взгляд жемчужин
Над моим лицом.

1978

* * *

Луна и ветер - лампа и мотор - проектор.
Веревка через двор. Портьера (Скатерть? Простыня? -
Все флаги серы - ночь). Кинокольцо:
То на воротах польский правнук Телепнева,
То кесарь, что косарь, на лобном месте. Фонограмма:
Десятилетия (Пяти-? Сто-? Много-?) -
Шуршащие клубки, в которых високосен каждый
Четвертый гад.

1978

* * *

Страницы наобум раскрытой книги
Напоминают очи стрекозы:
Листая крылья, трепеща листами,
Пасть пищей букв и опознать того,
Чей образ собран омматидиями,
Листы и крылья разброшюровав, открыть
Мозаику, что набрана при Флавиях, под слоем
Окаменелых объедков дошелльских стоянок.

1978

* * *

Одной из сосен был над заводью зеркальной,
Где в щучий борт вонзается багром
Засохший сук (Его обломит ветер
Лишь будущей весной.), замшелый ствол
Над замшевой от ряски лужей.
Пока еще здесь рыба и зверье -
Бо$\frac{г}{р}$. Числитель - Он, а знаменатель -
Его, Ему, Им и о Нем.

1978

Бо$\frac{г}{р}$ - бо гэ дробь эр

О МИХАИЛЕ ЕРЕМИНЕ

Еремин - поэт изумительного дарования, его стихи - редкое сочетание мощи и утонченности. Для меня Еремин и Бродский представляют два полюса, естественно противоположных и естественно обеспечивающих существование всей сферы современной русской поэзии. Полюсы труднодоступны. Холодно. Собаки дохнут. У каюров цынга. Звезды близко. Остро не хватает человеческого теплишка.

Вместо привычных шуточек - вечерние размышления о Божием величестве при случае великого северного сияния. Попросту говоря, непонятно.

При слове "непонятно" я всегда вспоминаю эпизод из книги Минченкова о передвижниках. Художник сидел на опушке леса и писал опушку леса. Подошла крестьянка, поглядела на холст, умилилась. "Нравится?" - спросил живописец. "Очинно," - вздохнула баба. "А что я рисую?" - спросил живописец, желая узнать местное название леска. Баба засмущалась, присмотрелась к холсту и сказала: "Кажись, гроб Господен". Художник был И.И.Шишкин.

Еремин пишет природу с более чем шишкинской скрупулезностью, но таких красок, кистей и холста мы прежде не видали. Новая поэтика пугает тем, что еще не имеет названий. Наверное, так пугал и увлекал русского читателя в 18 веке синестетический эпитет, какая-нибудь "румяная заря". Подумать только, поэт подталкивает нас, и мы сами должны прелететь над бездной, отделяющей румянец девы от розовости зари. Страх. Но зато какой восторг! Именно так непонятен был и Хлебников. По привычке читали, желая узнать *про что*, и получалось пустяки и нескладно. В то время как слова были не про что-то, а сами по себе и являлись характерами и сюжетом стиха. Введенский, Заболоцкий и Хармс строили свой мир еще более поразительным образом - разрушая привычные семантические связи. От этого у многих читателей делалась морская болезнь. Но те, кто хотел продолжать путешествие с русской поэзией, выдерживали.

Стихотворения Еремина - это, как правило, одно - два распространенных предложения. Но, как слова у Хлебникова и обереутов не совсем то, что мы привыкли подразумевать в слове "слово", так и предложение у Еремина совсем не предложение. "Грамматика есть бог ума". Форма предложения есть форма мысли. Мысль предполагается логичной: "*Я* (субъект) *вас* (объект) *любил* (предикат)..." "*Славная* (предикат) *осень* (субъект)... и т.п. С поколениями грамматическая и поэтическая фразы стали разъезжаться, сохраняя, однако, формальное единство: "*Я дышал звезд млечной трухой...*" (Грамматически эта фраза - протяженная, но в объекте запрессованы вместе логически несовместимые *звезда-млечность-труха*. Их можно воспринять синкретически, вне временной протяженности, как и бывает с впечатлениями мира.) Еремин пошел по этому пути еще дальше. Разбор предложения (см. "От храмов до хором..."), где подлежащее - *ельники*, а сказуемое - *слывут*, приведет нас к полнейшему алогизму (что мы привыкли отождествлять с бессмыслицей, ерундой). Расшифровка роящихся метафор вернет фам смысл, но не поэтическое переживание. И только очищенное от предвзятости восприятие стихотворения-фразы *сразу* обеспечивает взгляд, вслед за поэтом, в суть вещей, сквозь мир, который не состоит из разделов Природа, Человек, История, а есть Природа-Человек-История, пронзительный взгляд до самой грани материального. Это сопровождается переживанием поразительной красоты. Наверное, в конце взгляда поэт действительно видит сияние святыни ("гроб Господен").

Если поэта мы называем творцом с маленькой *т*, так это от того, что он все же не всемогущ - заточен пожизненно и неперево-

димо в родном языке. Такова первичная русскость поэзии Еремина. По краткости заметки ограничусь лишь несколькими ахами. Как чуток он к родству русских слов, к наследственным связям храмов-хором и индоевропейскому родству терм-тюрем-теремов-термоЯРов. Как безупречен его слух на русскую просодию: от слов пространно-протяженных (*"под оберег великоросса"*) до любимого нашего, но растворяемого ямба в намеренно разновеликих строчках того же стихотворения. У Еремина и технический термин,и голландское словцо, и иероглифы, но все это лишь делает его поэзию морфологически подобной родному языку, которому тоже все на пользу. После Еремина смешно говорить о русскости иных не шибко грамотных рязанцев, вологодцев или москвичей. Более коренного, более национальнго поэта у России сейчас нет.

Посмотрите на него. Рубашка белоснежна, волос рус и расчесан, взгляд серьезен и прям, рука уверенно держит умеренную рюмку водки, предшествующую мудрой беседе, -- Еремин.

А.Лосев

Михаил Федорович Еремин родился 1 мая 1937 года. Живет в Ленинграде.

Генрих ШЕФ

ДВА РАССКАЗА

МОЯ ИСТОРИЯ С ТОПОЛЕМ

1.

Я живу в пригороде. Мы и сейчас живем с женой в пригороде на старой квартире, как будто ничего не случилось, и по-прежнему ездим вместе по утрам на работу, садясь на трамвай (а возвращаемся в конце дня обратно уже порознь, потому что работаем в разных местах). А ведь было недавно такое время, что мы уже совсем решили отсюда уехать и с кем-нибудь поменяться. События, про которые я сейчас расскажу, быстро развивались и довели меня в конце концов до болезни. Я и сам не знаю, почему мы все-таки остались здесь. Говорят, правда, что когда человеку плохо, он не должен сразу в поисках спасения кидаться куда-то по сторонам, а сжав зубы, должен постараться перетерпеть, и потом снова все станет лучше. Может быть, жена меня отговорила, и я, как говорится, "отошел" и мог потом думать спокойно и постепенно все забыл. Хотя, конечно, я ничего не забыл, и урок, который мною получен, пойдет, наверное, мне на пользу, потому что я много сейчас обо всем думаю: о самых разных в жизни вещах. А может быть, мы просто молча и не сговариваясь решили, что нам лучше не уезжать отсюда, потому что мы прожили здесь целый год, первый наш год после свадьбы, и все-таки каждому, наверное, жалко бросать вдруг ни с того ни с сего то место, где он был счастлив. Как говорится, у нас у обоих в душе были приятные воспоминания, связанные с этим местом. А еще жена говорила, что мне теперь особенно нужен свежий воздух, а летом - прохлада, и это хорошо, что мы по-прежнему будем жить около воды.

Дом наш стоит на берегу залива. Мы переехали сюда после того, как наши родители после свадьбы сменяли одну большую комнату на две, и вот сейчас в одной из этих двух комнат по-прежнему в центре города живут мои папа и мама, а вторая, маленькая комната оказалась вот здесь, в пригороде, почти за городом, в старом деревянном одноэтажном доме (выше я, кажется, сказал

"старая квартира"? нет, конечно, у нас в этом доме одна только комната, а слово "квартира" я употребил в смысле *вообще*, чтобы назвать то место, где мы живем), доме, который,не очень кстати давно,был "экспроприирован", то есть попросту отнят у какого-то темного дельца (маклака? спекулянта?) как "собственность, нажитая на нетрудовые доходы". Сам делец сейчас принудительно где-то работает. А мы с Асей живем в комнате, которая выходит окном на берег (может быть, это была его детская? у него, говорят,была большая семья?), и солнце у нас бывает вечером,когда мы приходим с работы. Все-таки приятно знать, что чем ближе мы идем к коммунизму, тем больше становится равенство среди граждан и никто не может теперь "хапать", сколько он хочет. С такими вещами обычно в жизни открыто не сталкиваешься, но ведь недаром пишут в газетах про бюрократов и тунеядцев. Этих людей надо искоренять! Бороться и духовно и материально! А в связи с этим, если подумать, то можно видеть, что наши родители поступили благородно. Они обменяли комнаты и дали возможность жить нам, своим детям. Не надо, по-моему, ничего откладывать на завтра. Если есть возможность сделать разумное и доброе дело, то и почему бы его не сделать? Родители теперь живут отдельно, и мы друг другу никак не мешаем. Вообще, это благородство само собой разумеется. Но все-таки нам с Асей приятно, что они так поступили...

Здесь мне надо сказать про себя, что я не только молодой инженер, но и писатель. Я молодой, начинающий писатель. Работа меня интересует, но лишь постольку-поскольку (не правда ли, вы и в моем стиле видите, что я все-таки писатель?), и все заботы и волнения на работе (в том числе и денежные) проходят мимо меня, может быть даже слишком уж "мимо", как говорит теперь моя жена, и я,в некотором роде, стою "над схваткой", как выразился один мой приятель, которому я пишу письма. Больше всего, придя вечером домой, я люблю писать. Наше окно, как я уже говорил,выходит на берег. Я часто гляжу вдаль и любуюсь водным простором, который только на горизонте чуть-чуть окаймляется полоской другого берега. На том берегу, кстати, живет,тоже в пригороде, мой приятель, и мне всегда немного странно, что мы бы могли,в принципе, увидеть друг друга напрямую, если б забраться повыше и взять сильные бинокли, а письма наши - довольно долго, дня три или два - идут по какой-то параболе через город по суше. А еще перед окном растет тополь. Это старое, раскидистое,высокое - вообще могучее дерево. Мне особенно приятно, что я, когда пишу, вижу и море и тополь. Это как-то настраивает немного на романтический лад, хотя романтика сейчас не в почете. Мой приятель - философ, он читает Гегеля и Канта и вообще любит критиковать: это мне, отчасти, наруку, потому что я, сочиняя свои рассказы, сразу посылаю их по почте ему, а он критикует. Мы оба, как это ни странно (говорят, сейчас это редко?), любим писать письма. Мои рассказы обычно психологические, и я (в глубине души,конечно) думаю про себя,что я довольно тонкий мастер "утонченных душевных движений", как сказали бы раньше: движений чувства. Меня, правда, еще нигде не печатали. Моя жена (пусть не обидится она, когда это прочтет) самая обычная женщина, но я ее люблю. Ася, кстати, очень помогла мне во время всей этой истории,кото-

рая месяц назад тут заварилась и изрядно потрепала мне нервы. Раньше я думал (на основе собственного опыта и бесед с приятелями), что мужчине нужно от женщины три вещи: а) любить ее, б) спать с нею и в) иметь от нее ребенка. Сейчас же я думаю, а недавно я вдруг прочел что-то такое у Джека Лондона, что хотя эти три вещи, конечно, названы правильно, они сами по себе не исчерпывают всего содержания отношений между мужчиной и женщиной и являются лишь как бы внешними признаками сути таких отношений, как бы в некотором роде абстракциями, притом односторонними, которые не могут, как всякая абстракция, охватить самую "суть предмета", а суть эта заключается в том - сейчас я это понял, - что в мужчине, кроме всего прочего, живет постоянно некоторое тонкое, может быть, ему самому непонятное *ощущение присутствия* женщины, и именно это ощущение (древние алхимики и схоласты назвали бы его, может быть, своим излюбленным словом fluid, что значит "ток", "истечение" - некий "психический ток", якобы излучаемый людьми), именно это истечение чувства, которое испытывает мужчина, находясь около женщины, которая с ним живет (его жены!), наполняет его жизнь почти невидимым, но тем не менее в конце концов все-таки осязаемым сознанием (или смыслом?): "вот рядом со мной есть женщина... вот, я ее около себя чувствую... вот, поэтому, хотя, кажется, я сам не знаю, почему... вот мне хорошо". Такое ощущение - вот моя жена рядом и "мне хорошо" - я чувствовал не раз в тягостные дни этого месяца, и мне - я это чувствовал - становилось легче на душе (хотя бы жена моя вообще в ту минуту ничего со мной не говорила, а только была бы рядом!), и в конце концов, я додумался до таких мыслей и вот сейчас - см. выше - их все записал.

А эта история вышла тогда из-за тополя...

2.

Тополь как дерево вообще для меня с самого детства событие в жизни. Так же как наши деды, скажем, верили в число тринадцать как несчастливое или в число семь - как счастливое и вообще рассчитывали по гадальным книгам какую-то мистику цифр, будто бы сопровождающих человека по всей его жизни (например, все важные события в жизни происходят всегда в понедельник), так и я могу в некотором роде думать про себя, что тополь (правда, безо всякой мистики?), может быть по совпадению случайностей, а может быть по склонностям моего характера и моим пристрастиям, играет в моей жизни заметную роль какого-то постоянного спутника (сравнить здесь, что моя жена - тоже событие в моей жизни!), и год за годом, часто неожиданно для себя самого я возвращаюсь к этой мысли, потому что всякий раз тополь оказывается на моем пути.

Я с детства люблю тополя. С малых лет я сам заметил (мне на это никто не указывал), что тополь весной цветет красными сережками, которые потом осыпаются, а летом с него во все стороны улетает пух. Я помню, как в седьмом классе мы бегали однажды вместе со всеми по набережной дистанцию 1000 метров и я вдохнул случайно одну тополиную пушинку. У меня и без того от бега сад-

нило в горле, а тут я совсем "сошел с дистанции" и страшно закашлялся. Мне стало больно дышать, и я докашлял до того, что кровь пошла горлом. Тогда-то я получил освобождение и, как сейчас помню, три недели совсем не ходил в школу, а только гулял.

Мой первый рассказ "Юрочка" тоже написан про тополя. Там я пишу про любовь. Любовь - вечная тема для писателя. Один молодой человек - совсем еще юный, он только что кончил техникум, идет по городу. Вокруг него летает пух тополей. Светит солнце. Сейчас утро. Он такой еще чистый и свежий, и немного глупенький, я бы сказал, рациональный. Они идут на работу. С ним идет один инженер с женой. А он, думая, что они ему друзья,откровенно высказывает им свои мысли. Он говорит им про любовь. Он говорит, что хочет полюбить девушку. "А потом... навстречу мне шла бы девушка, очень красивая и такая же светлая, как эти пушинки, и очень легкая и такая красивая, а я бы остановился и взял ее под руку и сказал бы ей: давай любить друг друга! Давай уйдем куда-нибудь из города, - и в поле, или в лес..." А они,эти взрослые, над ним за такие мысли немного смеются. Мне до сих пор самому этот рассказ нравится (может быть, потому, что он был самый первый и написан был с чувством?), хотя я вижу, что в языке есть заметное подражание, и есть там, кроме того, вообще некоторые другие мысли слабости. Рассказ этот будет скоро напечатан. Если же говорить про тополь, то тополь, очевидно, как "звезда" моей судьбы связан для меня с событиями не только хорошими,но и плохими, и в этом, как говорят философы, тоже есть своя логика.

Мне, повторяю, было приятно, что перед нашим окном растет дерево и вид на море сочетается, так сказать, с видом на живую природу, а своими листьями этот тополь образует для меня как бы защиту от водяной сырости: около залива, вообще говоря, всегда бывает прохладно, и легкий ветерок, в жаркие дни - свежий, а в холодные - даже просто пронизывающий, постоянно дует с моря на берег. В этом смысле нам, может быть, не очень повезло, потому что приезжая из города, мы должны дома потеплей одеваться,а все наши друзья и знакомые, когда бывают у нас в гостях, обычно над нами, не понимая, кажется, сути дела, шутят: "зяблики... мерзляки... как вы тут только живете..."

Как писателя меня больше занимают мои будущие произведения, а также моя внутренняя жизнь (и жизнь моих выдуманных героев),и поэтому я не очень обращаю внимание на соседей и, приходя с работы домой, погружаюсь обычно в творческое состояние,а на кухне - так, я думаю, и должно это быть! - хозяйничает жена: я,например, знаю, что одну соседку зовут Анна Ивановна, но не знаю ее фамилию, а у других соседей, наоборот, я знаю, фамилия Корнеевы (мальчишка лет десяти, который тут бегает, я знаю, будет Корнеевский), но все их имена и все отчества я совершенно не помню. Мне также было, например, не очень приятно, когда жена говорила (мы еще только сюда приехали), что ей неудобно въезжать в эту (то есть теперешнюю нашу) комнату, потому что дом был у кого-то отобран и ей, когда она входит сюда, все кажется, что за дверью стоит хозяин. Она говорила еще, что и другие соседки-женщины говорят то же самое, они даже рассказывали (и это было, по-моему, уже совсем смешно), что первое время, когда въехали,говорили ше-

потом и всё боялись, что хозяин вернется,потому что он будто бы работает на свободе и уж наверное за отобранный дом имеет зуб на новых жильцов. Один раз, рассказывали соседки, они слышали, как ночью вокруг дома кто-то ходил и потом за заборами у соседей долго брехала собака. Они даже стали на некоторое время после того случая спать с закрытыми окнами. Моя жена прямо жмурилась от страха, когда слышала такие вещи. А мне это было, по правде сказать, непонятно. Я говорил Асе, что мы должны чувствовать себя в этом доме как рабочие и крестьяне в Зимнем дворце после победы революции в 1917 году. Если нашего хозяина "экспроприировали", значит он был "кулак" и это сделали правильно - значит, восстановлена справедливость, и мы теперь по праву можем этой жилплощадью пользоваться. Наоборот, говорил я,мы должны гордиться, что мы живем не в простом доме, а в доме, который был отнят у тунеядца. Пусть ему черти на хвост насыпят соли и пусть он, если он умер, трижды перевернется в гробу. А мы будем жить здесь припеваючи за его здоровье и здравствовать как ни в чем не бывало...

А вообще-то мне эта история с частным домом не нравилась. Но, говорят, не так живи, как хочется. Разве нашли бы мы сейчас себе какую-нибудь другую квартиру? Около дома был еще небольшой участок - тоже бывшая *личная* собственность, - и наши хозяйки сейчас там на своих грядках по вечерам копошились. Я, правда, в это дело не вмешивался. Вокруг рядом с нами тоже были другие такие же участки и такие же личные или заселенные тоже жильцами, индивидуальные небольшие дома. Люди там тоже по вечерам что-то делали на земле и копались, а иногда в воздухе пахло дымом: это жгли в кучах сгнившие прошлогодние листья...

Неизвестно откуда возник и несколько дней стойко держался среди наших соседей слух (про который мне рассказала жена), что наше дерево, то есть тополь, росший перед окном (кстати, он был чуть ли не единственная высокая зелень в округе!) хотят спилить. Этот слух держался, как утки на глубокой воде - а утки на глубокой воде, я знаю, не ныряют, а плавают поверху,потому что ныряют-то они обычно затем, чтобы поесть подводных водорослей,а водоросли, естественно, могут расти только около берега. Было неизвестно, кто что сказал, но все говорили,что тополь хотят спилить, а почему - были различные мнения. Анна Ивановна,как всегда, кивала боязливо на бывшего хозяина и в темных выражениях высказывалась постепенно, что это он "по праву пришел за своей собственностью", потому что участок, а значит, и каждый куст и каждое дерево, что растут на нем, принадлежали ему. Корнеевы же - муж и жена - говорили что-то про то (хотя они говорили,что сами ничего точно не знают), что это соседи - частные собственники распустили по местности слух, что будто бы с нашего тополя на ихние малиновые и вишневые кусты приползает зеленая тля и будто бы эта тля единственная причина того, что у них на кустах обсыхают листья и они не надеются в этом году собрать большой урожай. Они будто бы подали заявление в райисполком,и говорят, что кто-то уже приходил обследовать тополь,пока нас не было дома. Так что дело сейчас стало за малым - взять пилу и топор. А может быть, конечно, все это неправда...

Я, повторяю, обычно пишу по вечерам и не очень слушаю, что говорят между собою люди на кухне и на участке, когда копают свои огороды. К словам жены я тоже не всегда с должным вниманием прислушиваюсь (может быть, это моя ошибка?), потому что что же в конце концов вы хотите: женщина есть женщина. И этот слух, должен сознаться, дошел до моих ушей (а точнее, до моего сознания) не сразу, как только возник и как только Ася мне про него рассказала, а может быть, лишь на третий или на четвертый день. И я, опять же, не придал ему тогда большого значения. Ну, думал я, это обычные сплетни. Поговорят - ничего не случится, поговорят - разойдутся. Я даже не пытался себе представить,как выглядел бы вид из моего окна, если бы там были видны лишь море и горизонт и не было бы тополя. Может быть,только потому,что речь шла о тополе, то есть о предмете мне близком и о предмете,о котором в свое время я много думал и который имеет, хотя конечно, это не серьезно и смешно - а все-таки имеет на мою жизнь какое-то, пусть самое абстрактное и мизерное, и небольшое, но все же влияние, - может быть, поэтому я написал про всю эту историю моему другу, живущему напротив через залив, небольшое письмо. Мой друг (кстати, он тоже инженер) был философ и, как обычно, должным образом мне вскоре ответил:

"Людские слухи имеют силу горных рек, которые текут в долины и села: все разрушая на своем пути. Эти реки часто меняют русло - для этого им достаточно встретить по дороге хотя бы один какой-нибудь большой камень - и вследствие неожиданности своего появления они становятся еще более опасными. Хотя,конечно, в какой-то степени можно предвидеть, когда в горах начнется таяние снега. Поэтому, если тебя обвинят, что ты украл и спрятал в карман Эйфелеву башню, то не оправдывайся,а беги. Это сказал мой двоюродный брат Матвей Горин, а еще раньше,кажется,сказал Лион Фейхтвангер, а перед этим какой-то великий француз".

Я не понял, конечно, к чему это он клонит. Горные реки? Снег? Эйфелева башня? Я подумал, что здесь, наверное, наглядно видно, насколько философы вообще выше нашего брата-писателя. Потом я утешил себя тем, что я могу писать художественно,а он,мой философ, не может. Потом я еще поглядел на себя в зеркало. Мне нравился с недавних пор мой безвольный, срезанный назад подбородок. Я где-то вычитал, что это выдает в человеке чувства и чувственность.

3.

Когда я пишу свои сочинения, я, естественно, всматриваюсь в горизонт и пытаюсь ощутить в своей душе вдохновение. К этому меня особенно располагает тишина. Из спокойствия духа, как сказал Гегель, возникают великие произведения. Именно такая тихая загородная жизнь, я думаю, нужна мне, чтобы научиться со временем хорошо писать. И именно это загородное спокойствие было однажды, когда наступил май, сначала даже не очень заметным образом, постепенно нарушено.

Дня два-три я просыпался по утрам часов в шесть от непонятного звука, который приглушенно раздавался время от времени за окном.

- Ты слышишь? - спрашивала жена.

- Да, - прошептал я. Оказывается, она тоже не спала,а лежала рядом, раскрыв глаза и вытянув под одеялом руки.

- Слышишь? Слышишь? - спросила она еще.

Я явственно слышал, что за окном *пилят*.

Ну, что ж, подумал я, пилят - так пилят, а это дело не наше, нам вставать рано! Мало ли чего около дома пилят. Могут пилить дрова, а может, камыш или хворост.

На всякий случай я встал и выглянул в окно. Двор был пуст,а тополь потихоньку шумел. Я тогда опять лег. Мы все-таки спали потом не очень спокойно. Утром я сказал жене, что все нам,наверное, только послышалось, хотя, конечно, сам в это не верил.

- И вчера нам тоже послышалось? - спросила Ася.

Вечером,когда я вернулся с работы, все сразу пошло как в детективном романе.

- Вы что-нибудь слышали сегодня утром? - остановили меня на крыльце соседи.

- Н-нет... - сказал я. - Я ничего не слышал.

- И мы тоже ничего не слышали, - сказали они, - но вот пойдите, пойдите и посмотрите сюда...

Они повели меня и привели к тополю. Я уже знал, о чем пойдет речь.

- Вот видите, видите! - сказала Анна Ивановна.

На расстоянии примерно метр от земли на черной коре был сделан свежий надрез. Я не понял только, пилили ли тут двуручной пилой или ножовкой.

- И это уже не первый день, - прошептала Анна Ивановна. - Вчера, когда я впервые заметила, здесь было надпилено на одну восьмую, а теперь уже - видите - на целую треть...

- Хулиганы! - сказал я тогда. - Мальчишки! Вы же знаете, на что они способны...

- Вы думаете? - спросила Анна Ивановна. - А может быть, это он?

- Он?

- Да, может быть, *он*? Сам *он*? Хозяин?

Господи, подумал я, чувствуя, что какое-то скрытое неудобство и, кажется, страх появляются во всем вокруг меня, потому что все это было так неприятно и надо было, наверное,что-то делать, а я не знал, что надо делать. Ася стояла рядом, и у нее,я видел, стали большие глаза. Анна Ивановна сказала, что как мужчина я должен последить и, если необходимо, этим делом лично заняться. Ах, почему я еще не писатель и такой чувствительный,что ничего не могу как следует сделать! На другое утро, проснувшись бодрым и в хорошем настроении выйдя из дома, чтобы идти на работу, я почти растерялся (а я был один, и Ася уже ушла,и вообще в целом доме я был в это время один), когда увидел, что тополь снова *пилят*. Его еще не пилили, но какой-то мужчина в зеленой рубахе стоял внизу с дисковой бензиновой пилой,и вот - трах-тах-тах-тах! - нагнувшись,мужчина поднял пилу и приступил к делу.

Я постоял рядом, оглушенный треском и задымленный выхлопными газами. Мужчина сделал первый надрез - на одну треть - и потом, выпиливая кусок, стал делать второй надрез - уже наполовину, чтобы дерево свалилось на свободное место само, - и я взял его осторожно под руку, а он даже не обернулся, и тогда я сказал (я давно уже хотел сказать): "А чего вы здесь делаете?"

Мои слова, кажется, из-за шума мотора не были слышны. Я поглядел на часы и увидел, что опаздываю. "Ладно!" - подумал я и побежал на работу.

В тот день я был после работы в Союзе писателей. Там обсуждался на секции прозы мой товарищ. Мне особенно запомнилось выступление одного редактора. Надо, говорил он, активно вмешиваться в жизнь, используя для этого любую возможность и не отступая перед трудностями. Нельзя сидеть за своим столом все время, как сурок в конуре. Не только пером, но и делом - публицистическими выступлениями,ходатайствами и пр. и пр. - надо бороться за правду и справедливость. И он, кажется, привел один пример,как сам, будучи в творческой командировке в колхозе, вовремя заметил,какие безобразия творятся на машинно-ремонтной станции, и, написав про них депутату, быстро помог все устранить.

А не написать ли мне, подумал я, депутату, когда увидел вечером, что тополь спилен и ветки - уже на дрова - разбирают соседи.

- Эх, вы... - сказала мне Анна Ивановна. - Мужчина!.. Ведь это все *он, он! Он* во всем виноват...

- Вы так думаете? - спросил я ее, ни слова не сказав про то, что видел утром своими глазами.

- Да, наверное это он, - сказала Ася. - Ты же видишь...Спилить такое большое дерево! Нет, на такой поступок мальчишки ,помоему, не способны...

- Ну, что ж, - подумал я. - Он - так он. Значит, надо вмешаться. Это и хорошо, - подумал я. - Нельзя стоять в стороне от жизни. Придется все-таки мне вмешаться...

Я пошел в жилищную контору и рассказал там паспортистке,что какой-то мужчина спилил у нас на участке тополь.

- Кто он? - спросили меня.

- Мы думаем, что это наш бывший хозяин.

- А кто он?

- Но вам же лучше знать, кто он. Ведь он жил здесь давно. Посмотрите по вашим книгам. Ведь это должно быть известно...

"Никаноров Арсений Иванович, - зачитала она. - Выбыл отсюда полтора года назад..."

- Так вы утверждаете, что это он?

- Да, это он, - сказал я решительно.

- А зачем он пилил?

- Я... не знаю...

- А зачем вы сюда пришли? Вы, что, хотите пожаловаться?

- Да, - сказал я снова решительно.

- Напишите жалобу в общественный суд, - сказала паспортистка.

Она дала мне бумагу и ручку, и я сел на уголок стула чуть-чуть подумать,каким же стилем и в каких выражениях все изложить.

Вышло вот так: "*Жалоба*.

Я, гражданин (такой-то) обвиняю владельца дома, ныне осужденного Никанорова в том, что он спилил на нашем участке дерево тополь и т.д."

- Хорошо, - сказала паспортистка. - Поставьте вашу фамилию и место работы. Подпишитесь.

Я подписался.

- Хорошо, - сказала она. - Теперь вам *можно* идти.

Я чуть-чуть разволновался, когда писал свою фамилию и место работы. Можно идти? Хорошо... Я был рад, что поскорее ушел. Я вообще не люблю всякие официальные формальности и милицию. На улице - это, может быть, даже покажется странным - я стесняюсь глядеть милиционерам в глаза. Дома я плохо спал эту ночь, и под утро мне приснился дурной сон. Кажется, я с кем-то боролся. Я все время боролся, боролся и потом так устал, что не мог двинуть ни ногой, ни рукой и еле дышал. И вдруг я увидел, что стою на берегу Невы на военно-морском параде в День Авиации и Флота, зажатый в толпе. Все шумели, кричали, а потом я увидел, что из-за Кировского моста летят вертолеты. Они были толстыми с вытянутыми хвостами и зеленые, как кузнечики, а краска на них сверкала на солнце, как лак. Они летели очень низко. И всем, я почувствовал, стало страшно. А вертолеты висели в воздухе,как какие-то дикие птицы! Они прилетели,а на лица людей легла тень. И мне тоже, я почувствовал, стало страшно, хотя перед этим я так много боролся.

На другой день я написал про свой сон и вообще про все свое состояние моему другу письмо. Я рассказал, что у нас спилили тополь и что я ходил в жакт. Он, как водится, мне быстро ответил:

"Как писатель ты должен был знать, что такое подтекст. Так вот, скажу тебе, что любой бюрократ - это айсберг,на девять десятых опущенный в воду, и он тоже имеет "подтекст". Для бюрократа его "подтекст" - это та *система людей*, с которой он связан: его дружки-приятели и пр. и пр. И потому бюрократа не так легко разоблачить, ибо борясь с бюрократом, ты борешься не только с ним самим, но и с существующей вокруг него системой людей. И потому же правда, как говорится, не лежит на тарелочке и иногда ее нельзя даже выразить словами... С приветом... и т.д."

Я опять,вообще говоря,не совсем его понял,но мне стало грустно. И сон мой был тяжелый, и те мысли, про которые он мне написал, были не очень веселыми. Я вышел на двор из дома и, увидев обрубленный пень, чуть не заплакал. Я, как всегда, поглядел по привычке на город и поискал глазами золотой купол Исаакиевского собора, который отсюда обычно виден. Небо над городом было во мгле, и я снова подумал, насколько воздух здесь за городом лучше и чище. Купол поблескивал вдалеке, но мне было все равно. Я даже больше расстроился. Раньше, подумал я, люди строили себе купола и дворцы, и они их вдохновляли, и если надо, то утешали. Теперь же мы глядим на все купола равнодушно. Почему это так, подумал я. Что я за человек? Что меня может утешить? Вот и тополь спилили... Может быть, подумал я, нас должны утешать сегодня многоэтажные дома?

4.

Я понял, что всё, что вообще происходит, происходит в силу необходимости. Человек хочет пить - он идет и ищет для себя воду: бурит, скажем, артезианские скважины и ставит колодцы. Не болит - можно сказать, по-моему, перефразируя великого поэта - мы и не лезем. И тополь - пока он рос перед нашим окном - был в некотором смысле необходимостью, которой подчинялся ветер, дующий с моря: тополь защищал нашу комнату от сквозняков. Теперь же, естественно, такой защиты больше не стало,и через неделю я, сидя у окна, простудился.

Болезнь начиналась постепенно, и еще до того,как у меня поднялась температура и я получил потом бюллетень, три дня у меня болел бок.

Я писал в те дни один серьезный рассказ про производство, и постоянное покалывание в боку все время приводило к тому, что я отвлекался, а потому не был доволен своей работой и мне казалось, что она идет вкривь и вкось, и я, кроме всего прочего,никак не мог согреться: летом я сидел в шерстяной куртке у окна,а потом даже пришлось закрыть окно, и я мучился тогда без свежего воздуха, но никак не сбывались, по-моему, слова одного писателя, что страдания тела (это он знал, будто бы,на собственном опыте) помогают достичь еще большей ясности духа. Я писал и, глядя на горизонт, чувствовал, что мне не хватает перед окном прежнего постоянного вида тополя с его шелестом листьев. Потом я встал и, обидевшись на все и на всех за срубленный тополь и за свою болезнь, снова пошел в жакт.

Мне сказали, что мое заявление пропало, и они, кажется, не знают, что теперь *мне* надо делать. Но они, правда,нашли человека: того, кто пилил. Паспортистка куда-то сходила и привела за собой простого вида пожилого мужчину: видно, рабочего.

- Ты пилил? - спросила она.

- Нет, я не пилил.

- Как же... - сказала она. - Ты сам говорил, что пилил.

Я покраснел до корней волос, потому что подумал почему-то, что они меня здесь разыгрывают, и потому я молчал, но потом я сказал, что у *того,* у того, кто пилил, была, кстати, двуручная бензиновая пила.

- Ну значит, это не он, - сказала паспортистка. - В нашем хозяйстве нет бензиновой пилы.

Я сказал, что пойду к депутату. Да, на следующий день я действительно пошел к депутату. У меня уже был бюллетень, и я был в то утро свободен. Я научился себя немного держать: спокойно входить в приемную, мягко говорить с секретаршами, а иногда - когда надо - молчать... Я оставил депутату свою прежнюю жалобу. "Жалоба... на бывшего хозяина Никанорова и т.д.,экспроприированного за спекуляцию, который спилил на своем бывшем участке дерево-тополь..." Где он сейчас, этот Никаноров? Принудительно где-то работает?.. У меня был в эти дни бюллетень, и я был свободен, потому что температура немного спала. Успокоившись, я стал ждать ответа...

Мы с Асей оба прямо вздрогнули, когда через три дня на мое имя пришло отпечатанное на машинке письмо и на гладкой бумаге с красным грифом и со всеми телефонами райсовета и райисполкома было написано: "Уважаемый товарищ такой-то...По имеющимся у нас сведениям, вы сейчас не работаете, а ходите по общественным и государственным учреждениям, занимаясь волокитой и тунеядством. Так как вами уже заинтересовались милиция и общественная комиссия содействия и так как в скором времени,вероятно, вы получите повестку с вызовом в суд, то вам же будет лучше,если по доброй воле вы прекратите ваше безделье и в течение ближайших семи дней устроитесь куда-нибудь на работу. О месте работы известите нас письменно... депутату такому-то..."

Теперь я понял, почему все эти дни у меня было так тяжело на душе; даже сон, оказывается, как говорится, был в руку. Мне показалось, что меня ударили куда-то в живот. А ведь у меня была температура 37 и 4 десятых. Я все порывался куда-то бежать, взять документы и оправдаться, что-то сказать, всё говорить,говорить...

- Ты можешь ходить? - спросила меня Ася. - Как твоя голова? А бок? Ты хорошо себя чувствуешь?

Я сказал, что чувствую себя прекрасно и завтра, вот завтра я *к ним* пойду и все докажу. Мне было так тяжело, что казалось, со всех сторон - рядом со мною в комнате и в коридоре, и за домом, и за моей спиной, и у колодца, и около тополиного пня - стоит *хозяин*, тот самый невидимый Никаноров, которого так боялась Анна Ивановна, на которого я, ей поверив, писал жалобу, и которого, оказывается, вообще нигде теперь не было (полтора года назад он выбыл), но он, стоя вокруг меня в самых разных местах и в различных позах, внушал в меня тяжесть и страх: несомненно, у меня было ощущение, что за мной следят, и я, поворачиваясь, боялся глядеть по сторонам. Хотя, конечно, если разобраться, какой здесь мог быть Никаноров? Никаноров принудительно где-то работает. Может быть, все это была только реакция выздоравливающего человека после болезни.

- Вот и хорошо, - сказала Ася, - что ты можешь ходить. Ты завтра выпишешься и пойдешь на работу.

Я вздохнул полной грудью и теперь стал меньше стесняться. Я завтра выпишусь, подумал я, и пойду на работу. Слава Богу! Я снова пойду на работу!

Именно, кажется, в этот вечер Корнеевский Мишка, неизвестно каким, собственно, путем (он любил играть в войну) выяснил, что тополь был спилен по приказу начальника соседней с нами воинской части № 45662-Б, а именно, как говорил Мишка, с одной стороны, этот тополь будто бы загораживал собой какую-то цель и потому был срублен как предмет, сужающий сектор обстрела,а с другой стороны, своей зеленой листвой и как самая высокая точка в окружающей местности он мог служить хорошей мишенью для инфракрасных ракет самонаведения...

Мой друг, которому я про все написал, сидел через залив напротив и, как всегда, мне быстро ответил:

"Ты, по-моему, как все писатели, в какой-то степени непрактический гений. А между тем, именно гении прошлого века были не-

практичными, а гениям XX-го века пора понять, что свою гениальность они могут обращать не только на художественные вещи ("в искусство"), как это всегда было прежде, но и на вещи практические, как то: общение с жактами, милиционерами, судами и пр. и пр., и здесь, благодаря своей гениальности, они могут достичь необычного и недоступного простым смертным успеха. Ведь практическое, о чем я сейчас говорю, гораздо легче, чем, скажем, сложности рафинированного искусства. Пользуйся, мой дорогой, тем, что ты писатель, и не отказывайся от вполне доступных тебе радостей жизни..."

Мне было, конечно, приятно слышать про себя, что я гениален, но кроме этого, кажется, я никаких *практических* выводов из этого письма для себя не сделал. А может быть, эти выводы сделала за меня моя Ася? Как всегда, женщины все понимают быстрее: может быть, не со всеми оттенками, а все-таки самую суть. Неделю назад я набрал на дворе обломанных веток тополя и подарил ей букет, а она поставила все это в воду и банку - на стол. Эти ветки внизу скоро проросли и пустили корни. Вечером, когда я сидел и читал, Ася меня позвала. Она вынесла банку с ветками во двор и там у забора высаживала их в мягкую землю на расстоянии не более полутора метров друг от друга: она втыкала веточку и обминала вокруг нее землю, а потом (оказывается, и это уже было сделано) привязывала ветки к маленьким колышкам, заранее вбитым в землю.

- Тебе не холодно? - спросила Ася. - Как ты себя чувствуешь?..

Корнеевский мальчишка тоже был рядом и помогал ей. Они высадили семь веток. Уж такие-то тополя, подумал я, не будут мишенью для ракет самонаведения. Я все-таки улыбнулся. Ася тоже улыбнулась. Может быть, именно тогда мы оба, не сговариваясь, решили, что нам никуда не надо отсюда ехать, а ведь я уже, кажется, подал заявление в справочное бюро, что мы хотим поменяться. Мой бок все еще понемногу болел, и врач сказал, что на некоторое время у меня останется хроническая эмфизема. "Это хорошо, что вы живете около воды, - сказал врач. - Вам нужен сейчас свежий воздух. Но все-таки берегитесь. Берегитесь простуды!"

Я помог посадить им еще шесть "деревьев", и потом всего тополей стало тринадцать. Такие дички, вообще говоря, быстро приживаются. Тополя только так и сажают. А потом я подумал, что можно будет в лесу выкопать несколько небольших деревьев - скажем, берез - и перевести их сюда на участок...

Я почувствовал, что мне опять становится холодно, и пошел быстрее в комнату: писать. Кажется, у меня на душе было в это время спокойно. Во всяком случае, как сейчас помню, я в те дни успешно работал над рассказом о производстве. Я знал, что Ася, вернувшись домой, меня поцелует.

1963

ЖИЗНЬ В БЕСПРЕРЫВНОМ БЕГЕ

1.

Мы ходим с женою по воскресеньям гулять: берем наших детей, сына и дочь (они еще маленькие),и отправляемся в сад, который лежит через улицу недалеко от нашего дома. Дети резвятся, прыгают, рассматривают все возле себя, а мы с женою степенно идем по дорожке: наконец-то одни, наконец-то вместе после долгой рабочей недели, когда днем мы не видим друг друга, потому что она на работе, а я тоже занят, а вечером так устаешь, что даже не хочется ни о чем говорить, хватает простоты молчаливого присутствия рядом друг с другом, но даже и такое присутствие иногда раздражает, и тогда действительно что-то скажешь друг другу, но только что-нибудь обязательно сердитое и раздражительное. Говорит, конечно, всякие такие вещи больше она, чем я, - она женщина, она мать, жена, у нее дети, она устает, - но и я тоже иногда что-то ей говорю, потому что я ведь тоже отец и я сам тоже устал, хотя потом и жалею всегда, что вот, поддался ее примеру и своей собственной слабости и не смог сдержаться, не смог хотя бы, по крайней мере, сказать то же самое ей не всерьез и сказал настолько всерьез, что это сильно задело меня самого. Теперь, добравшись наконец-то сюда, мы с нею сначала молчим. Казалось бы, вот, предоставляется случай и все хорошо - листья вокруг, природа, гуляющих людей вокруг нет, наши здоровые и крепкие дети играют и заняты сами собой, нам никто не мешает - можно,вот, говорить все хорошее, что нам не удалось сказать друг другу на неделе, вот, есть и условия, и обстоятельства места и времени, можно снова налаживать хорошими словами то, что накануне было испорчено плохими поступками.Но мы всё молчим и всё не можем начать: ни я, ни она. Мы все еще погружены в какую-то апатию и отупение: в нас нет энергии на злость, но в нас и нет энергии на добро. Мы все еще чуть-чуть не отошли. И хотя я понимаю, что я, как мужчина, должен, так сказать, проявив свое мужское великодушие перед ней, слабой женщиной, должен "отойти" первый и первым начать разговаривать, мне тоже, хотя какие-то слова уже и вертятся у меня в голове, - слова успокаивающие, ласковые и нежные, во всяком случае, не слова раздражения, а слова примирения - мне тоже нужен какой-то внешний повод, толчок,чтобы я смог их высказать. И вот я вижу один прекрасный такой повод,который предоставляется мне в виде бегуна, бегущего навстречу нам по дорожке. Он одет в теплый тренировочный костюм, на плечах шерстяной свитер, на голове вязаная шапочка с помпоном - много их тут бегает по саду, много их тут тренируется, и как бы ни были они все поразному одеты, на голове у каждого обязательно такая шапочка, почему-то именно с помпоном. Я показываю жене глазами на него -

он уже близко, и мне не хочется говорить вслух,потому что, пробегая мимо, он может услышать, что я говорю, - и,сдерживая улыбку, потому что почему-то мы никогда не можем смотреть на таких тренирующихся бегунов без улыбки, будто б они, хотя могут быть и с сединами, все чуть-чуть дети, все играют в какую-то игру,какие бы серьезные лица они при этом ни делали,в которую им приятно играть, а мы рядом с ними взрослые и относимся к ним снисходительно, я шепчу жене что-то наивно-юмористическое по его поводу (а он, кстати, в самом деле с сединами), что-то шутливое, пусть неумело-шутливое, может быть, что-нибудь по поводу того же самого подпрыгивающего у него на голове помпона, и в то же время что-то ясное, чистое, бодрое, радостное, ибо бег, как и любой спорт вообще, всегда есть чистота, здоровье и радость и,повидимому, при виде бегущего человека нам инстинктивно так же становится радостно на душе, как, скажем, тогда, когда мы смотрим на качающийся под ветром лес или на воду, движущуюся в реке, или на бегущие над головой облака. Но жена есть жена, и она отвечает мне так, как только и можно от нее ожидать: "Вот,учись, - говорит она мне. - Учись, как люди живут... Не то что ты..." И тут сразу же начинаются попреки в мой адрес, справедливые, но больше всего, конечно, несправедливые, перемешанные все в одну кучу,большие и маленькие, в которых мне и не разобраться, на которые мне никогда и не ответить, ибо как только я начну разбираться и отвечать, она тут же подумает, что я сам ее попрекаю,и тут же в виде реакции количество и сила ее попреков возрастут многократно и прости-прощай тогда наше единственное воскресенье: его будто б и не было. Я, конечно, сплю как лентяй до двенадцати вместо того, чтобы рано встать и пробежаться вот так,хотя бы раз в неделю: начинает она еще с бегуна. Но вообще, продолжает она, что пользы мне рано вставать,если я все равно ничего ей не помогаю и все свое время трачу лишь на себя самого. Почему я думаю всегда только о себе! Почему я не думаю о ней, о своих собственных детях, которых сам народил! Почему даже гулять-то с детьми я хожу только раз в неделю по воскресеньям и то только потому, что пошла она и я пошел с нею! (Я пробую возразить, что воскресенье это единственный день, когда я могу пойти гулять с нею вдвоем, а с детьми я прекрасно гуляю по вечерам и без нее, но она, хотя тоже прекрасно все это знает, пропускает это мое возражение мимо ушей: уж если втемяшилось ей что-нибудь в ее женскую голову, она не остановится, пока не выскажет это все до конца; да, да! упорствует она, почему я хожу гулять с нею только по воскресеньям! - будто бы в моих силах как-то изменить календарь, порядок работы и будто бы это не она каждый раз, ссылаясь на занятость делами по дому, отказывается выйти гулять со мною по вечерам, когда я зову ее.) Почему вообще у нее такая несчастная жизнь! Почему я не люблю ни ее, ни детей, и вообще не могу никого любить,а люблю только себя! Почему она со мной только мучается! Почему она никогда, никогда не была со мною хотя бы вот столько, хотя бы вот чуточку (она показывает пальцами) счастлива, и даже в первый день, в самый первый день нашей свадьбы она не была счастлива (Господи, думаю я, и у нее хватает наглости говорить мне такое), и уже тогда, да, она это по-

чувствовала, она сразу стала несчастной!.. Я молчу, чувствуя, что дело снова близко к слезам. Я молчу, сдерживая себя и подавляя естественный ответный порыв обиды. Вот, заключает она и, даже не глядя, тыкает своею рукой куда-то в конец дорожки, где уже скрылся бегун - его нет там, его уже вовсе не видно, но она все равно туда тыкает и бросает мне свой последний попрек, может быть потому-то и самый обидный, что он самый бессмысленный: вот, учись, как люди живут!.. Я машинально оборачиваюсь и гляжу в пустой конец аллеи. Чему мне учиться? Учиться жить с нею? Учиться бежать? Взять да и убежать от нее в один прекрасный день за тридевять земель на другой конец света? Или просто плюнуть на все, в том числе и на нее, и заняться спортом, чтобы укреплять свои нервы, столь расшатанные от ее постоянных попреков? И в самом деле, я вспоминаю, как мимо нас пробежал этот седовласый мужчина, как я невольно улыбнулся при этом и как приятно мне было *так* улыбнуться, какую непроизвольную радость я вдруг ощутил, взглянув на него, какой он был крепкий, здоровый, несмотря на свои уже, вероятно, года, как раскраснелось и по-молодому порозовело его лицо, как легко и глубоко он дышал, как пружинисто ставил на землю ногу, каким вообще даже приятным запахом - не пóтом, нет, как у рабочей лошади - повеяло от него, и наконец, это спокойствие на его лице, некоторая отрешенность от мирских забот, умиротворение, этот, так сказать, покой души, который я, хотя он пробежал мимо нас так мимолетно, не мог не почувствовать в нем. Я еще ничего больше не думаю тогда, я не знаю еще сам, чего хочу, но я только думаю, что этому мужчине, когда он бежал, было хорошо, и я запоминаю это и запоминаю его.

В конце концов, жена сама была виновата, что обратила мое внимание на этих бегунов и что так много раз говорила мне, что она со мною несчастна, что и я сам постепенно начал думать, что я тоже несчастен, хотя, по правде говоря, до этого несчастным себя не считал. Но я, это тоже надо прямо сказать, если и захотел избавить как-то от несчастий себя, делал это не ради себя одного, но и ради нее, ради детей, вообще ради нашей семьи: их, ее я тоже хотел бы совсем избавить от всяких несчастий. Я стал чаще с тех пор поглядывать на тех бегунов, которые встречались мне изредка по-прежнему и в саду, и на улице. Они пробегали мимо всегда так быстро, но действительно, они казались мне такими возбужденными телом, но спокойными духом: веселыми, довольными, радостными, счастливыми. Я им уже потихоньку завидовал, я мечтал о их доле. К тому же, действительно, ведь бегать, говорят, - это такая большая польза для здоровья! Иногда мне удавалось с ними чуть-чуть побеседовать: очень быстро и коротко, так сказать, на бегу, один вопрос и один ответ, или даже вопрос на первом кругу ("туда"), а ответ на втором ("обратно"), и они действительно мне рассказывали, что бегать хорошо, приятно, полезно и, главное, при этом очень развивается сердце и успокаивается душа. Постепенно из этих коротких обрывков разговоров с ними для меня составлялись целые фразы. Чаще всего я разговаривал именно с тем самым седым мужчиной, который впервые пробежал тогда перед нами: он почему-то любил бегать именно в нашем саду. Иногда я сам пытался чуть-чуть пробежать рядом с ним, и тогда

наш разговор удлинялся, но я быстро начинал задыхаться, потел, уставал, моего дыхания уже не хватало мне на слова, а только лишь на то, чтобы сплошной струей проходить через горло в легкие, не задевая по пути никакие там язычки и не ответвляясь в носоглотку, а бежать рядом с ним без слов, молча, не разговаривая уже, мне казалось, не было смысла, и тогда он сам, когда я был готов уже остановиться и за секунду до того, как я останавливался, говорил мне: вот видите, как плохо вы еще тренированы; как много вам еще надо работать. Я стал потихоньку тренироваться в одиночку: по вечерам, когда темно, чтобы никто не видел и не смеялся надо мной, в том же нашем саду в самом дальнем углу. Жена, естественно, попрекала меня теперь тем,что я стал бегать, точно так же как раньше она попрекала меня, что я не бегаю,и не помогало даже то, что я говорил, что это ее идея, чтобы я стал бегать: нет, отвечала она мне прямо и просто, это твоя идея, и спорить с ней дальше было тут уже бесполезно. Чуть-чуть натренировавшись, я стал тащить с собой и детей, пробовал также завлечь и ее, но она, конечно же сославшись на дела, отказалась и осталась дома,а бег с детьми был все-таки бег не всерьез,это была забава, игра, я это скоро понял, и потому потом предпочитал опять бегать один. Наконец я уже мог достаточно долго сопровождать того седого мужчину, тем более что он иногда, по-видимому специально ради меня, сбавлял несколько свой темп. Мы договаривались с ним о встрече в такой-то час на таком-то месте нашего сада, я приходил туда заранее, одетый уже "по-беговому" (шапка моя, конечно, тоже была с помпоном),делал несколько упражнений, чтобы размяться и чуть-чуть разогреться, пробегал несколько раз взад и вперед коротко по 20-30 метров, чтобы привести в норму дыхание и сердцебиение и не испытывать потом перегрузки от резкого вступления в бег сразу, и вот, точно в назначенный момент, из-за какого-нибудь угла аллеи выбегал он, румяный, ровно дышащий, спокойный, и я тут же брал с места аллюром, пристраивая к нему сбоку локоть к локтю, стараясь попасть с ним в такт, и мы - я тоже чуть-чуть разрумянившись, но стараясь ровно дышать,как и он - бежали, оба с серьезными лицами, подолгу беседуя так,многие километры. Он дал мне много полезных советов. Главное в экипировке для бега, говорил он, это туфли или сандалии. Единственное специальное требование заключается в том, чтобы обувь была удобна и на толстой подошве, особенно под пяткой. Вам может показаться несущественным, говорил он, какой именно носить вид обуви, однако я настаиваю на этой предохранительной подкладке. Постоянные сотрясения от бега могут вызывать время от времени неудобства и даже полностью обескуражить бегуна. В любом случае, если есть возможность, говорил он, начинайте бегать на травяной поверхности, если она, конечно, не слишком мягка и болотиста. Трава для ног легче, особенно если ваш вес велик. Ноги делают тяжелую работу, и потому они заслуживают всяческого внимания. Человеку весом в 100 кг, который топает по твердому грунту,возможно, придется испытать в течение некоторого времени неприятные переживания, связанные с болевыми ощущениями в голеностопных, коленных и тазобедренных суставах. Как только он научится бегать правильно, то не будет уже с силой ударять ногами и опас-

ность временной травмы исчезнет. Излишне полный бегун,например, может обнаружить, что его ноги в голеностопных суставах набухли. С этим можно бороться,надевая эластичный бинт,а также выполняя по ходу бега как можно больше упражнений для укрепления лодыжек. Иногда могут болеть и мышцы. Одна из причин, вызывающих боль в мышцах, заключается в том, что увеличивающийся поток крови пробивает себе путь и открывает заново капилляры, которые долгое время бездействовали. Другая причина состоит в образовании кислородной задолженности, поскольку неподготовленный бегун не имеет достаточного количества гемоглобина и у него накапливается молочная кислота, ограничивающая мышечные сокращения. Конечно, если у вас появилась боль в мышцах, тут надо бы остановиться,но можно и на бегу справиться с нею в какой-то мере, снизив темп. Другим источником боли, особенно для полных бегунов,является потертость. Эта боль смягчается простым смазыванием оливковым маслом тех мест, где возникла потертость. Верхнюю часть туловища, говорил он дальше, облекайте в минимум одежд. При хорошей теплой погоде достаточны лишь майка или рубашка с короткими рукавами. Свободный свитер или джемпер желательны тогда, когда идет дождь или дует сильный ветер. Как бы то ни было,если вы оделись сверх меры, вы перегреетесь и начнете на бегу раздеваться, что не всегда удобно. Шапочка в прохладную погоду защищает вашу голову и ваш лоб от простуды, связанной с чрезмерным потением, а помпон на шапке, желательно цветной, ибо цвет всегда радует глаз, а шапку вы при желании можете снять, своим мягким постукиванием по голове вносит в ритм бега то разнообразие, которого иногда не хватает, например также и шоферу, ведущему на большое расстояние свою машину, ради чего он вешает у себя перед стеклом всякие цветные и прыгающие от тряски игрушки и куклы. Конечно, говорил он, я согласен, что в сырой вечер перспектива мокнуть на дорогах иногда менее чем привлекательна, но незначительные неудобства, связанные с дождем и холодным ветром, стоят того, чтобы получить несравнимые с ними ценные результаты. И в заключение о технике бега. Если возможно, вначале бегайте по относительно ровной поверхности. Подождите, пока вы не научитесь расслабляться и не наберете достаточно сил, чтобы перейти к бегу на холмистой местности...

Все было хорошо, все прекрасно, и я слушал и запоминал все его советы, и они действительно оказались все очень ценными, я старался им следовать, применять их, и они мне помогали, но некоторые вещи, правда поначалу всего только мелочи, смущали меня. Я никогда не видел,чтобы он останавливался. На место свидания, например, он всегда подбегал бегом, вывернувшись из-за угла, и точно так же бегом скрывался за какой-нибудь угол,когда мы с ним прощались. "Вы марафонец?" - спрашивал я его несколько наивно и в то же время неудержимо любопытствуя, и он, несколько смутившись, отвечал мне что-то двусмысленное: "Если хотите, то марафонец... И да, и нет..." Я иногда, разрезвившись, предлагал ему побегать наперегонки, хотя бы недалеко, вон до того куста: "Я принципиально никогда не бегаю наперегонки, я принципиально против всяких соревнований", - отвечал он мне серьезно. Я недоумевал: ведь явно же видно, что он специалист, инструктор, - к

чему же тогда все эти его рассуждения об обуви, об одежде, о мышцах и голеностопных суставах, о технике бега? Иногда я, споткнувшись, падал, но он никогда не останавливался, не помогал мне встать, хотя и видел и глядел на меня, но, пусть оглядываясь, продолжал бежать дальше, предоставляя мне вставать самому и, может быть, лишь чуть-чуть сбавив темп, чтобы я мог быстрее догнать его. Если же я падал так сильно, что ушибался и не мог больше бежать, не мог даже встать, он просто махал мне на прощанье рукой, говорил: "до встречи", говорил: "завтра на том же месте" - и исчезал за поворотом, оставив меня одного. Когда он говорил о постоянных сотрясениях, которых можно избежать, если научиться правильно бегать и правильно ставить ноги, я думал: тех же сотрясений можно избежать, если просто остановиться и отдохнуть. Он говорил: "по ходу бега", он говорил о том, что можно сделать на бегу, хотя и "надо бы остановиться", то есть он все говорил о беге и о беге так, будто бы кроме бега ничего больше не было, будто бы было на свете одно лишь только состояние бега и ничего, кроме бега, и не было состояния покоя и отдыха. Наконец, когда мы сблизились больше, я прямо сказал ему однажды: "Давайте, остановимся вон там и немного передохнем..." Он промолчал, покраснел, мы молча пробежали это "вон там", и тогда я, уже нарочно и специально, еще раз сказал ему то же самое: "Давайте же остановимся тут и передохнем чуть-чуть... Я больше не могу. Я устал..." - "Останавливайтесь, пожалуйста, - ответил он слегка раздраженно, - где вам угодно!" - "А вы?!" - спросил я. - "Я не могу, - ответил он тихо и еще больше краснея, - я не могу остановиться..." Я был так поражен, что сбил ритм и чуть-чуть отстал от него, но тут же его снова догнал. "Как это так? - сказал я. - Я не понял. Вы же не хотите сказать, что вы должны бежать беспрерывно?" - "Да, - ответил он. - Я вам сказал: я не могу остановиться. Я должен бежать беспрерывно, все время, везде и всегда..." - "Но кто вас заставляет? Кто вас тут неволит? Почему? Зачем?!" - изумился я. Он не ответил, мы какое-то время пробежали с ним молча, а потом он тихо сказал: "Вы же не хотите, я думаю, моей смерти? Если я остановлюсь, то умру..."

Мне стало и жутко, и грустно, и я надолго отстал от него со своими распросами. Но потом я не выдержал. Я был любопытен, мне хотелось знать много и, сколько бы я ни узнал, хотелось знать больше, к тому же я думал, что кое-что, может быть, мне удастся применить и на себя. Да и сам феномен был слишком уж поразительным и бросающимся в глаза. Бежит он куда-то, думал я, то есть у него есть какая-то цель, или он бежит просто так, в никуда, и его цель есть сам этот процесс, этот бег до конца его дней? Какие тут могут быть результаты, о которых он говорил? Что побудило его на это? Как он дошел до такой жизни? Ведь, наверное, сначала он был таким же обычным человеком, как я и как все. И почему он не может остановиться? Почему он, если остановится, умрет? Может быть, от постоянного бега у него уже настолько расширились сердце и легкие, что кислорода для них ему хватает только, когда он бежит, а как остановится, то тут же сразу и задохнется как бы без воздуха? Вопросов у меня в голове было много. Часть из них я ему высказал, про другие все-таки промолчал, сдержавшись. В

какой-то момент он сам пошел мне навстречу и спокойно, с достоинством, но и тоже с печалью, которую ему так и не удалось скрыть от меня, сам рассказал мне кое-что. Жизнь в беге, говорил он, точно такая же жизнь - такой же вид жизни, имеющий право на существование - как и жизнь в покое, то есть не в беге. Так же как, как говорят ученые, есть мир и антимир, вещество и антивещество, точно так же есть жизнь в покое и - соответствующая ей идентично - жизнь в беспрерывном беге. Почему? Зачем? Живет этой жизнью тот, кому она нужна и кто может ею жить. Одни говорят, что это жизнь неудачников и она приносит несчастье,другие говорят, что, наоборот, это счастливая жизнь и она есть счастье. Кому надо, тот бежит и не спрашивает, почему он бежит. Кому надо, тот знает, зачем он бежит. Замечание же насчет сердца и легких действительно в какой-то мере правильно,но оно есть следствие, а не причина. Жить в беге - это значит также всё делать в беге. Есть, пить, спать - на бегу. Говорить - на бегу. Писать и читать - на бегу. В уборную, извините за выражение,сходить - тоже на бегу. И вообще вся та же самая обычная жизнь, но только всё на бегу. "Как, - удивился я. - И спать на бегу?" - "Да, - ответил он. - Ноги во сне продолжают двигаться сами,глаза чуть-чуть приоткрыты и видят дорогу, но, вообще говоря, ноги и сами обычно хорошо находят дорогу, только сны отвлекают иногда, когда они слишком яркие, и тогда мешают бежать..." И вообще, продолжал он, не думайте, что я один такой. Нас много. Мы часто встречаемся, бегаем вместе. Мы дружим, общаемся. Вообще, мы редко бегаем молча. За неторопливой беседой незаметно течет время. В дороге лучше познается человек. Вот ведь и с вами мы говорили всегда на бегу и познакомились именно на бегу,так сказать, только в дороге (он смущенно улыбнулся). Но мы, конечно, бегаем быстрее друг с другом, чем с вами. Ради вас мне приходится всякий раз заметно снижать свой темп, а это мне тяжело, от этого я иногда чересчур устаю (в самом деле, я видел, он сейчас что-то слишком шумно дышал и лицо его побледнело). "А женщины там есть?" - вырвалось вдруг у меня. Ну, конечно же, ответил он,где же можно обойтись без слабого пола? Он опять вдруг покраснел и чуть-чуть улыбнулся. Конечно, среди нас есть и женщины, они бегают так же быстро, как мы, ничуть не уступают и нисколько не устают, мы их любим, и они тоже нас любят. "Значит, - сказал я, - вы женаты? У вас есть жена и, наверное, дети?" Он замолчал и молчал так долго,как будто бы совсем не хотел со мной говорить, но потом все-таки ответил мне контрвопросом: "А почему вы так интересуетесь? Вы, что, тоже хотите попробовать? Хотите убежать от жены? Хотите побегать за девушками?" Я молчал. "Убежать очень просто, и это сможет любой, кто захочет убежать. Но сможете ли вы потом, когда захотите, вернуться? Действительно ли вы хотите убежать? Так ли уж вы уверены, что никогда потом не захотите вернуться?" И наконец, уже совсем раздраженно,он сказал мне: "Ну, подумайте сами: какая у меня может быть жена и какие у меня могут быть дети?!" И потом уже совсем замолчал.

Но я был любопытен,к тому же я был, для своего возраста,еще юн. Ведь я считал, что моя жена в самом деле несчастна со мною, так же как и я несчастен с нею, и вот нашелся будто бы способ

освободиться от этих несчастий, избавить от мучений и меня, и ее. Вот, нашлась вдруг, открылась какая-то новая жизнь, которой у меня никогда еще не было и которой я никогда не жил,но я могу ею жить, и которая, наверное, есть счастливая жизнь, а не так, как было до сих пор у меня, сплошь в несчастьях и вся сплошь в одних только мучениях. Когда жена начинала теперь передо мной свои прежние попреки, я только без слов глядел на нее и молча думал, ибо у меня было теперь что-то против нее, было то, о чем я мог теперь думать, тогда как раньше не думал никогда ничего такого. "Что ты глядишь так на меня? - говорила она теперь.- Что ты смотришь на меня волком? Что ты уставился на меня, как волк, который только и ждет, как бы ему убежать?.." - "А ведь я и в самом деле когда-нибудь убегу от тебя", - говорил я ей,еле сдерживаясь и тихо и злобно цедя свои слова сквозь зубы. "Скатертью дорога! - тут же, повышая голос, начинала кричать она. - Неблагодарный! Вспомни, сколько я для тебя сделала. Вспомни, что ты был без меня и чем ты стал благодаря мне! Чем бы ты был, что бы ты делал, если бы меня не было? Как будешь ты жить без меня? Ты и живешь-то только благодаря мне, благодаря мне одной, я,я твоя жизнь, и не только потому, что я тебя пою и кормлю. Иди,убирайся сейчас же на все четыре стороны. Все равно, как волка ни корми, он все равно в лес глядит. Небось, уже завел себе какую-нибудь потаскушку..." И она, шмыгая, тут же принималась плакать, размазывая по лицу слезы, которые все текли и текли,но и не прекращая в то же время своих дел на кухне, по-прежнему гремя кастрюлями и сковородками, так что я еще больше ненавидел ее в такие минуты как за эти ее слезы, так и за ее сковородки, удивляясь, как может она совмещать сразу два таких, казалось бы, противоположных дела: плакать и мешать там что-то в кастрюле. Наконец она уже так привыкла к моим угрозам, что перестала реагировать на них и даже перестала плакать, разве что выразительно и громко стучала мне в ответ крышкой по сковородке. И тогда я однажды, решившись наконец, осуществил свою угрозу, я уже сделал это без слов, и она даже не сразу поняла, что же, собственно, происходит. Я никогда не забуду этот решающий момент моей жизни. Помню,мы перебегали все вместе через дорогу,чтобы успеть на трамвай: мы собирались ехать куда-то. Дети наши были с нами, мы тащили их за руки. Двери вагона, автоматически раскрывшись перед нами, ждали, и нам оставалось только запрыгнуть в них. И вдруг я - для меня самого это было чуть-чуть неожиданно, я вроде б хотел того, что делал, но в то же время будто б и не хотел этого, а хотело что-то иное во мне, через меня, или даже вне меня, я будто б был я и в то же время не я - резко свернул, вильнул в сторону и, ритмично работая локтями и стараясь равномерно дышать, побежал прочь по направлению к саду. Жена отреагировала мгновенно и поняла сразу все, и это только я ошибочно думаю,что она не поняла сразу, потому что она не сразу побежала за мной. Она тут же удержала детей, которые уже забрались на подножку вагона (двери закрылись, и трамвай уехал), и тут же, сказав сыну и дочке "зовите папу", стала кричать мне вслед вместе с ними: "Вернись! Куда ты? Ты с ума сошел! Ты погибнешь! Вернись!.." Дети тоже попискивали там что-то возле нее, и не сразу, очень не

сразу мне удалось наладить ровное и регулярное дыхание, слыша такие крики у себя за спиной. В какой-то момент мне ее даже стало жалко: вот, стоит одна с детьми посреди улицы и плачет там и что-то кричит, как полоумная. Бедная, подумал я, что с нею теперь будет? Как-то они будут там без меня? И в какой-то момент я даже подумал: а не вернуться ли мне в самом деле? Ах, если бы она не кричала мне свое обычное, что я сошел с ума, я погибну, я пропаду без нее, я должен делать то, что она говорит,а сказала бы мне, как в былые времена, просто: "я тебя люблю",или,если бы ей стыдно было как женщине кричать мне такие слова при всех на улице, сказала бы мне: "подожди, я с тобой". И я тут же вернулся бы, мы бы сели на трамвай и поехали, куда нам было надо,а потом бы вернулись домой, чтобы вместе прожить нашу такую несчастливую, но может быть не такую уж несчастную, а может быть даже и очень счастливую совместную жизнь. Но она,перестав вдруг кричать, бросила детей на произвол автомашин посередине дороги и погналась вдруг за мной. Боже мой, это меня-то, такого тренированного, она хотела догнать! Она, слабая женщина! Я все-таки невольно ускорил шаги и, конечно, еще дальше убежал от нее. Я уже добежал до сада, и она, видя, что я сейчас скроюсь между деревьев, остановилась, запыхавшись, и снова стала кричать: "Держите его! Остановите его! Это мой муж!.. Он убежал от меня! Люди, остановите его!.." Фу-у, подумал я, как мерзко, как гадко, как отвратительно! И это кричит она, моя жена. Она, с которой столько прожил и которая родила от меня двоих детей,кричит сейчас, чтобы меня ловили, как какого-то несчастного вора! Я забежал за куст, листья прикрыли меня, и мне захотелось упасть там на траву, закрыть лицо и уши руками, и ничего не видеть и не слышать больше, а только плакать, плакать и плакать, прижимаясь лицом к земле. И я подбежал ближе к этой зеленой красивой траве, и упал там,и собрался начать уже плакать, но вдруг увидел, что мне стало дурно, что мне так дурно и плохо, что я сейчас же умру, если не встану и не побегу дальше. И я тут же вскочил и бросился дальше бежать.

2.

Так началась моя новая жизнь, жизнь в беспрерывном беге, та жизнь, которую я сам устроил себе, то есть добровольно, но все-таки и не совсем сам, если учесть давившие на меня обстоятельства и вспомнить, как это случилось, то есть чуточку насильно, та жизнь, которой я хотел и о которой мечтал, и которой в то же время почему-то немного боялся. В тот же вечер я снова встретился с тем седоволосым мужчиной. Он, как обычно,выбежал на постоянное место наших встреч из-за угла, но и я тоже на этот раз подбежал к месту встречи из боковой аллеи, и он это сразу увидел и все понял. "А... - сказал он, мягко улыбаясь и глядя на меня немного печально, - нашего полку прибыло. Вот и вы убежали. Вот и вы наконец-то решились убежать." Я зарделся как маков цвет, так мне почему-то стало вдруг стыдно. "Не смущайся, - сказал он, переходя вдруг со мною на "ты" (и как я был ему благодарен за это простое и дружелюбное "ты", потому что если бы он

продолжал, как и прежде, говорить то,что он мне теперь говорил, на "вы", я бы тут же умер от своего стыда). - Ты позволишь мне говорить тебе "ты"? Ведь я все-таки старше тебя?" Я кивнул. "Так вот, - продолжал он, - я не могу ругать тебе нашу жизнь, ту,которой живу я и которой живем мы, остальные. Ругать ее значило бы ругать самого себя, то есть отрицать себя. Я не могу сказать тебе, что ты поступил неправильно. Все рано или поздно убегают от чего-то куда-то к новому, только одни убегают и возвращаются, а другие убегают, как мы, насовсем, так что уже не могут вернуться. Ты поступил правильно, мой мальчик, но может быть,ты все-таки сделал ошибку. Конечно, может быть, твоя прежняя жизнь была слишком несчастна и ты не смог ее больше терпеть,но не надо думать, что наша жизнь есть такое уж одно только сплошное счастье, как это может иногда издалека показаться. Жизнь всюду есть жизнь. Везде хорошо, как говорится, где нас нет. В конце концов, можно убежать от чего угодно и куда угодно,но только никому еще не удалось убежать от себя самого..." - "Но вы даже не спросили, - прошептал я, - почему я убежал." - "Да, я не спросил, - ответил он. - Но, во-первых, у нас не принято спрашивать об этом, а во-вторых, в конце концов, не так уж и важно, почему убежал кто-либо, тот или другой,гораздо важнее просто тот факт, что он убежал..."

Этот наш разговор велся, естественно, на бегу. Мы, не останавливаясь, бежали всё дальше и дальше, и я только успевал удивляться, как это я ничуть не устаю и даже не отстаю теперь от него, как приятно тепло моему телу, ровно разогретому от равномерного движения настолько, что ему, кажется, были не страшны теперь никакие простуды, как быстро я научился мягко ставить ногу на землю, чтобы не причинять себе излишних сотрясений, как приятно глядеть на всю природу вокруг, на небо, на звезды, на облака, чувствовать, как легко обвевает тебя встречный ветер и какая, оказывается, вообще это приятная штука - бежать. Я поделился с ним своими открытиями, сказал, как мне хорошо,хорошо и телу, и как спокойно теперь на душе, и он улыбнулся. "Конечно, - сказал он, - в каждой жизни должны быть и есть свои хорошие стороны, свои наслаждения, и было бы только удивительно и неестественно, если бы их не было и в нашей жизни. Никогда не верь тому, кто говорит, что в жизни всё плохо и что жизнь всегда есть сплошное мучение. Или кто говорит, что раньше он только мучился и не жил, зато вот собирается начать сейчас жить и не мучиться, или, наоборот, вот раньше он жил, а сейчас ему предстоит не жизнь, а только мучения. В жизни есть, конечно, мучения, но в ней есть еще всегда и не-мучения, так сказать, просто жизнь. Не может быть жизни без мучений,но и не может быть мучений без жизни. Я бы, право, был удивлен и разочарован,если бы ты сразу сказал, что наша жизнь плоха и в ней нет ничего хорошего. Теперь же ты сказал, что она хорошая, и мне это приятно." - "Но не значит ли это, - спросил я, - что мне еще предстоит узнать, что есть в ней плохого?" Он помолчал и потом ответил: "В конце концов, такие вещи ты мог бы и не спрашивать. Они сами собой разумеются. Но что изменится от того, скажу ли я тебе "да" или скажу "нет"? Плохое останется плохим, а хорошее останется хорошим.

Первое от этого не станет хуже,а второе не станет от этого лучше. Так же как то,что в жизни есть хорошее, не значит,что в ней нет плохого, так же и то, что в ней есть плохое, не значит, что в ней нет ничего хорошего. Не надо пренебрегать хорошим из-за того, что кроме хорошего, есть еще и плохое..." Мы бежали все дальше, не останавливаясь, день и ночь. Солнце всходило и опускалось за горизонт, небосвод то темнел, то светлел, звезды разгорались и гасли у нас над головой, а мы всё бежали, и в конце концов у меня возник вполне законный практический вопрос о маршруте: куда же, собственно, мы бежим и куда нам бежать, если мы обречены бежать вечно? Он объяснил мне, что хотя вопрос о маршруте, конечно, немаловажен, он не имеет такого уж решающего значения. Можно бежать все время прямо, так сказать, опоясывая всю землю по кругу, чтобы потом вернуться в конце концов на то же самое место. Можно бежать и поворачивать, то есть бегать взад-вперед, скажем, по улице, или по саду, или - еще дальше - из города в город, из государства в государство. Можно бежать по замкнутому кольцу, как бегают по беговой дорожке стадиона спортсмены-марафонцы: до бесконечности, как белка в колесе. Можно,наконец,наметить себе в уме какую угодно линию, кривую или прямую или волнообразно-изогнутую,и бежать по ней как Бог на душу положит. В конце концов,всё зависит от человека, от его склонностей и характера. Одни хотят поглядеть на мир и потому любят путешествовать далеко по всей земле взад-вперед, другие, так сказать, "домоседы": они предпочитают бегать недалеко и придерживаются одного какого-то постоянного места, почти никогда слишком от него не удаляясь. Одни любят бывать в одиночестве и потому стараются выбирать свой маршрут так, чтобы никто из других бегунов им не повстречался, другие, наоборот, любят компанию, в одиночестве им тоскливо и скучно, и они не только стараются бегать так, чтобы их путь как можно чаще пересекался с путями других, но и в конце концов, не в силах жить без компании,сами создают такую компанию, то есть собирают группу бегущих и бегут, так сказать, сообща. Это есть наше общество, и благодаря им,людям с таким характером, и создается, можно сказать, наше общество, оно ими держится, и мы, конечно же, им благодарны, ибо без общества, в конце концов, жить нельзя, в каких бы условиях ни велась эта жизнь и какой бы вид она ни имела и как бы ни любил человек свое одиночество, в конце концов ему, рано или поздно, захочется к кому-то примкнуть, хотя бы просто взглянуть на кого-то другого, тоже живого человека перед ним, побыть вместе,пообщаться, поговорить по душам. "Но мы их увидим? - спросил я. - Я бы очень хотел поглядеть..." - "Что, - сказал он, - уже становится скучно со мной? Конечно же, мы их увидим,и даже скорее, чем ты думаешь. Одному быть, конечно, нельзя, и я даже считаю моей обязанностью не оставить тебя одного. Мы их увидим, и ты все узнаешь. Подожди, они еще успеют тебе надоесть..." Мы и в самом деле довольно скоро увидели их, других бегунов. Мы столкнулись с ними на какой-то тропинке и, изменив свой маршрут,стали бежать вместе с ними. Седой мужчина чуть-чуть отстал от меня и бежал теперь немного поодаль сбоку, оставив меня одного перед ними как бы специально для того, чтобы я сам мог лучше их разглядеть, узнать, понять и сам бы с ними познакомился, тогда как

он, по-видимому, был уже с ними знаком. Там были и мужчины и женщины, самого разного возраста, и молодые, и старые, причем старые, нисколько не отставая от молодых, бежали даже более усердно и резво, чем молодые, бежали впереди и так старательно, будто б вопрос бега был для них более вопросом жизни и смерти, чем для молодых, что, впрочем, наверное так и было, учитывая их возраст. Там были также и дети, к моему удивлению. Дети тоже ничуть не отставали от взрослых, но это было еще не так удивительно, как то, откуда они тут взялись: ведь не могли же они родить их на бегу? Я спросил своего мужчину об этом, приблизившись специально к нему, и он, смутившись и помолчав, ответил мне несколько резко, что дети берутся здесь самым обычным путем, так же, как и все, так же, как и я. "Неужели женщины рожают их на бегу?" - спросил я. "Нет, - сказал он, - это невозможно". "Как! - изумился я. - Неужели и они убегают? Неужели и они способны убегать и бывают так несчастны в своей жизни,что им хочется убежать и они убегают? Ведь детство,я думал,это самая счастливая пора нашей жизни. Я помню себя: я очень был счастлив в детстве. Мне и в голову не приходило тогда убежать куда-то. И про своих детей я всегда тоже думал, что они счастливы, хотя бы именно потому, что они еще дети. Что же это за жизнь такая, если даже и дети могут от нее убегать?" - "Жизнь есть жизнь, - ответил он. - А дети есть дети. Дети - такие же люди, как и все. Ничто человеческое им не чуждо. Или ты думаешь, что дети все-таки почему-то не люди? Или ты думаешь, что сам слишком уж взрослый? Или ты думаешь, что во мне, наконец, несмотря на мои седины, совсем нет ребенка?.." Я промолчал. Мы бежали дальше, все вместе, и я постепенно осваивался, понемногу начал знакомиться. Кроме общего, как это всегда бывает, знакомства, то есть со всеми сразу, но и особенно ни с кем, у меня появилось несколько более близких друзей, моего же, примерно, возраста, что и было естественно. Мой мужчина даже несколько отошел для меня теперь на второй план: он ввел меня в эту их жизнь и помог мне начать ее, но теперь жизнь уже началась, и я должен был жить ее сам. Еще более я стал занят внутренне и отдалился от него, когда влюбился. Да, мне понравилась в конце концов одна молодая женщина,которая часто бежала недалеко от меня. Мы коснулись несколько раз друг друга на бегу локтями - сначала просто случайно. Мне пришлось извиниться, что я ее толкнул, что-то сказать ей, о чем-то заговорить. Первый разговор быстро прервался, но мне пришлось думать о нем и вспоминать его, а значит, и ее. К тому же, она была рядом, и можно всегда было легко на нее поглядеть. Я поглядел,потом еще и еще, потом стал посматривать, потом засматриваться, а потом уже боялся глядеть на нее, ибо почувствовал,что влюбился, и боялся, что она по моему взгляду поймет это, хотя,в то же время, и хотел, чтобы она поняла. Она поняла и довольно быстро: она тоже стала глядеть на меня и, я это скоро понял, тоже влюбилась в меня. Ну вот, думал я, вот, наконец-то случилось и это,то,чего я давно так хотел, и как легко и просто случилось, как мне хорошо. Мне уже давно хотелось изменить своей жене с какой-нибудь женщиной. Сначала я думал, что это плохо, что мне так хочется, и не позволял себе даже думать об этом,гоня от себя прочь

все подобные мысли. Но время - целые годы - шли, а мое желание не исчезало, а, наоборот, усиливалось. Тогда я стал думать, что то, чего я так долго и упорно желаю, не может быть неестественным, это естественно и вполне допустимо, тем более что,думал я, этого желает только мое тело, а моей душе все равно, она тут не при чем, она тут не участвует, и что бы ни сделало тело,в своей душе я по-прежнему буду любить только жену. Потом я понял, что все-таки нет, не только мое тело хочет изменить ей. Я стал думать, что, изменяя, я не смогу обойтись только телом и ограничиться одним лишь своим телом. Моя душа есть душа моего тела, и она не сможет остаться равнодушной к тому, что с ним происходит, я не смогу не полюбить ту новую женщину, и, я понял, мне хочется ее полюбить, и я буду любить ее, и иначе, сильнее, слаще, счастливее и радостнее, чем мою жену. Но в то же время - я понял это наконец, и это примирило меня со всеми моими мыслями и моими желаниями - я не разлюблю и жену, я не перестану любить и ее, хотя, конечно, иначе, я ее тоже буду любить и продолжать любить всегда и всегда жить с нею, то есть она по-прежнему будет моею женой. Но я, живя тогда с нею, просто не представлял себе, как же мне изменить ей практически. Бегать куда-то специально за женщинами у меня просто не было ни желания, ни даже физических возможностей. Днем я работал, вечером гулял по саду с детьми, ночью ложился рядом с женою в кровать. Все, думал я, должен решить какой-то случай, который вдруг мне представится. Но ни на работе, ни в саду, ни в семейной кровати каких-либо благоприятных случаев мне никак не представлялось. Тогда я стал потихоньку надеяться на случаи необычные, особенные, почти фантастические и расписывал их в мыслях для самого себя с удовольствием и надеждой. То я думал,что, вот,в один прекрасный день вдруг ни с того ни с сего умирает мой друг (молодой, здоровый и крепкий парень одного возраста со мной), а у друга есть жена, которая уже давно мне исподволь нравится, и я тоже, я заметил,ей не совсем равнодушен, и вот жена-то остается вдовою, одна и, значит, свободна, значит, я могу к ней прийти, значит, как бы ни горевала она о своем умершем муже (и моем друге), у нас что-то может с ней быть. То я думал, что точно так же в один прекрасный день и тоже вдруг ни с того ни с сего умирает моя собственная жена (сознаюсь, что я все-таки никогда здесь не подумал, что ее можно бы было убить), и вот я, конечно, несчастлив, плачу, рву на себе волосы, для меня и для оставшихся наших детей тоже наступает конец света, мы тоже умираем, мы не знаем, как нам дальше жить без нее. Но нет, мы все-таки не умираем, проходит какое-то время, и мы приходим в себя, мы живем, мы живем дальше, мы живем снова, мы снова возрождаемся к жизни и, главное, мы возрождаемся к *новой* жизни - Боже, сколько новых возможностей вижу я тогда для себя в этой новой жизни уже без нее,после того, как она умерла. Я будто бы заново рождаюсь: какая жизнь открывается тогда передо мной. Я-то думал, что жизнь уже кончилась, а она, оказывается, только еще начинается! И конечно же, думаю я, одной из этих новых возможностей, открывшихся теперь для меня, будет новая женщина, безразлично, станет ли она мне снова женой или я на ней не женюсь... Но здоровье у моей жены

было прекрасное,друзья мои вовсе не собирались умирать ради меня, для того, чтобы оставить мне своих жен, у меня по-прежнему ничего не получалось, и я не знал, что мне делать, и вот вдруг представился совершенно неожиданно тот самый случай, которого я так ждал, и притом самый фантастический, подумать о котором мне даже и в голову раньше не приходило: я убежал. Я ждал новой любви и был готов к ней. Тем более, теперь у меня в самом деле не было жены - она, хотя не умерла, осталась далеко, в иной жизни и на другом конце моей жизни - а мне нужна была женщина, мне всегда нужна была вблизи меня какая-нибудь женщина, ибо я всегда их любил, желал и никогда не мог без них обходиться. Было только естественно, что я сейчас так быстро влюбился: то есть мы влюбились друг в друга, я полюбил ее, а она полюбила меня. Она была миловидной, с хорошей фигуркой и красивыми ножками. Бежала она легко, грациозно, упруго: одно загляденье. У нее были приятные волосы, приятное лицо, приятные губы, приятные глаза, наконец. У нее были красивые полные руки с тонкими пальцами. И, естественно, после обычного первого периода взглядов, разговоров о том, о сем и ни о чем, узнавания друг друга ближе и узнавания того, что каждый расположен к другому, мы пошли дальше. Теперь она все время бежала рядом со мной и больше ни с кем другим. Я мог ее обнимать и ласкать, брать за шею, привлекая к себе, держать ее за руку, гладить по волосам и плечам. И мы целовались, да, на бегу, это было чуть-чуть неудобно, приходилось как-то неловко вытягивать шеи, чтобы найти губы друг друга,и мы при этом чуть-чуть задыхались, но мы целовались. Но Боже, какой удар, первый страшный удар в этой моей новой жизни мне довелось пережить в этой своей любви к ней: в нашей с нею любви. Мы целовались, да, но мне было мало того, что мы целовались. Я мог также потрогать ее за грудь, но мне и этого было мало. В конце концов, я был все-таки мужчина. И как мужчина - а она была женщина - я имел полное право хотеть и рассчитывать получить от нее то,что каждый мужчина желает получить от женщины и что каждая женщина должна ему дать. Понятно также,что делать такие вещи на бегу не очень удобно, чтобы не сказать - совсем невозможно. Между тем, целуя и обнимая ее, я разгорался и мне надо было все больше и больше поцелуев от нее и все большего и большего, кроме лишь одних поцелуев. Я увлекался настолько, что забывал, где мы и что мы,что мы, собственно, даже не одни с нею и что мы с нею бежим, и как это так - вот, я бегу и бежит она - как это так со мной получилось, что я, вот, должен бежать и почему я теперь должен бежать. В конце концов я забылся однажды настолько, что схватил ее как какой-нибудь предмет и одним рывком повалил на землю. Она тут же завизжала, молниеносно выкрутилась у меня из-под рук, вскочила и, оправляя задравшееся было платье, припустилась бежать от меня стрелой так быстро, что мне очень долго вообще не удавалось потом ее догнать. Когда наконец, даже чуть-чуть запыхавшись, я ее догнал и уже бежал рядом с нею, я даже не знал, о чем мне ее спрашивать и что мне с ней говорить. Что такое, думал я? Что вдруг случилось? Какая муха ее укусила? Ведь все шло так хорошо, все с нею у нас было уже так хорошо. Она тоже молчала и хотя, я видел, сердилась на меня, ей было в то же время

трудно сердиться, ибо она все-таки, я видел, любила меня: ведь трудно все же сердиться на любимого, трудно в одно и то же время и любить, и сердиться. Она молчала, но в то же время, я видел, и хотела бы поговорить и объясниться, во всяком случае,была бы не против, если бы я заговорил первый. В то же время, я чувствовал, она и боялась этого разговора и объяснений, словно бы прав был я, а она, хотя поступила так, как она поступила,была неправа и в чем-то была виновата передо мной. И я сначала, еще раздумывая, что же мне теперь делать, легонько погладил ее по волосам (она тут же быстро снова прижалась ко мне),а потом спросил у нее естественный вопрос, уже давно вертевшийся у меня на языке: "Что случилось? В чем дело?.." Я сам, ответила она, должен понимать, в чем дело и что случилось. Я уже не маленький, а взрослый, и к тому же мужчина. "Может быть, - сказал я, - я тебя чем-то обидел? Что-то не то сказал? Сделал что-то не так?.." Тогда я прошу у нее прощения,сказал я. Пусть она скажет мне, что я сделал плохо или что сказал ей плохого,и я исправлюсь тогда,не буду говорить ей ничего плохого и не буду делать плохого,ведь я же люблю ее: тут я прижал ее к себе еще сильнее,но она тут же чуть-чуть отстранилась. Она пожала плечами: "Нет, - сказала она, - ты меня ничем не обидел..." - "Ну, конечно, - зашептал ей я. - Я знал, что ничем не мог тебя обидеть. Ведь без *этого* нельзя. Я мужчина, а ты женщина. Нельзя идти против природы. Надо делать то, что требует природа и для чего она и создала мужчин и женщин в отдельности, чтобы они это делали. А без *этого* - какая же будет любовь? Ведь мы любим друг друга. Я люблю тебя, а ты,я знаю,любишь меня..." - "Да, - прошептала она мне в ответ, - я люблю тебя..." - "Ну так что же, - сказал я. - В чем же дело? Что мешает тебе? Что тебя останавливает?" - "Ах, - сказала она, - ты говоришь все не о том. Если ты не можешь думать обо мне, то подумай хотя бы о себе. Вспомни, что останавливает тебя самого. Если ты не хочешь думать о себе и заботиться о себе, то для тебя это делаю я. Я думаю о тебе и я забочусь о тебе, а ты почему-то вдруг удивляешься и делаешь вид, что ничего не понимаешь... - "Да, - сказал я немного растерянно, - я, конечно, думаю и о себе и забочусь и о себе, так же как, впрочем, и о тебе, но я не понимаю, что меня останавливает. Что может меня остановить? Что может помешать мне любить тебя? Что может помешать нашей любви?.." Она снова пожала плечами. "Или ты сомневаешься, - заторорился я, - в нашей любви?" - "Нет, - сказала она, - я не сомневаюсь". - "Ты веришь мне, что я люблю тебя?" - спросил я. Она кивнула. "Ты любишь меня?" - спросил я снова. Она снова молча кивнула. "Ну так в чем же дело! - воскликнул я. - Что может быть сильнее нашей любви? Что может быть важнее того,что мы с тобой любим друг друга?!" Тут она заплакала, и слезы потекли у нее по щекам. "Зачем ты мучаешь меня? - сказала она мне сквозь слезы. - Почему ты не даешь мне спокойно пожить хотя бы еще немного. Что мне делать с твоею любовью? Почему ты хочешь, чтобы я из-за этой нашей любви умерла? В конце концов, любовь дается на жизнь и на счастье. Я хочу полюбить и жить, но я не хочу полюбить и тут же сразу на месте умереть. Я не Джульетта. Если ты сам такой уж Ромео, если тебе самому все равно и обязательно так уж

хочешь умереть, то, пожалуйста, умирай сам один, но почему ты обязательно хочешь, чтобы умерла и я?.." Страшная догадка вдруг молнией вспыхнула в моем уме и озарила все для меня. Вот, подумал я, начинается. Вот когда поворачивается обратная сторона медали. Вот когда выясняется, что это все-таки жизнь, весь этот их, то есть теперь и мой, бег есть жизнь: когда дело доходит до смерти, тогда то же самое, чем они живут, то есть бег, связывает их не только с жизнью, но и со смертью, которой этот бег может окончиться и рано или поздно окончится. Они думали, что убежали от несчастий к счастью, но на деле они убежали только к своему этому бегу, который тоже не есть одно только счастье, но есть счастье и несчастье вместе взятые и потому, рано или поздно, оказывается для них, кроме счастья, несчастьем. От несчастья, думал я, еще никто и никогда не убегал совсем, абсолютно, точно так же, как никому еще не удавалось прибежать к своему абсолютному счастью. Они думают, что приобрели себе своим бегом спокойствие души и бегут только ради спокойствия души и пока они бегут, они думают, душа их спокойна, но они должны бежать постоянно и постоянно при этом бояться смерти, потому что как только они перестанут бежать и остановятся, они тут же умрут. Они толкуют о любви и в самом деле, действительно любят друг друга, но что это за любовь, когда только целуются, но не рожают детей? Что это за любовь, если она платоническая? Что это, наконец, за любовь, если они боятся умереть ради нее? И она, как бы прочитав по моим глазам все, что я думал, сказала мне тихо: "Ведь если я остановлюсь, то умру... И если ты остановишься, то ты тоже умрешь... А я не хочу, чтобы ты умирал..." Я, кажется, как-то ее приласкал и ей что-то ответил. Конечно, она ни в чем не была виновата, она думала лишь обо мне, и вообще бессмысленно и наивно требовать от человека, чтобы он умер только лишь потому, что он любит тебя. Но мне было уже не до нее. Во всем была виновата эта их жизнь, одна и та же и везде и во все времена одинаковая жизнь, которая всегда есть несчастная жизнь. Я еще говорил по привычке "они", "их" жизнь, но все больше и больше до меня доходило, что теперь это уже есть и *моя* жизнь, что я тоже стал такой, как они, и должен буду жить впредь лишь этой жизнью. Что мне так никогда и не изменить моей жене, хотя я так был готов изменить. Что сколько бы ни было у меня теперь женщин, ни одна не будет принадлежать мне до конца. Что ни одна из них не родит мне больше детей - новых детей, - которых я так люблю и которых мне всегда хотелось иметь как можно больше и от разных женщин, уж по крайней мере по две штуки от каждой. И что я тоже, как и они, обречен бежать теперь все время вперед и постоянно бояться при этом смерти, потому что, если остановлюсь, то умру. Я вспомнил, что нет, все-таки когда я жил прежде дома с женой, я не так боялся смерти, хотя и тогда уже боялся ее. Это сладостное воспоминание о моем доме, жене, о моей прошлой жизни мелькнуло для меня лишь на минуту и тут же погасло. Страшная тоска охватила меня. Для чего мне теперь жить, думал я? Вот, издевался я мысленно над самим собой, ты нашел себе новую жизнь, нашел себе счастье; такую жизнь и такое счастье, что только ложись и помирай. А не лечь ли мне в самом деле, подумал я? Не умереть ли мне теперь сразу,

сейчас? Я думал об этом совершенно серьезно, но, видимо, так просто не умирают, как я думал, и мне не было назначено судьбой умереть именно тогда, в тот момент. Потому я только лишь лягонько споткнулся, но тут же выпрямился, тут же набрал опять прежний темп и, хотя уже не ждал от этой жизни больше ничего хорошего, снова побежал дальше вместе со всеми.

3.

Так мы бежали все вместе взад-вперед или по кругу, и каким бы разветвленным, сложным и длинным ни оказывался наш путь, всегда из него получалась именно замкнутая кривая, то есть некоторым образом круг, потому что мы, в конце концов, никуда не могли убежать с этой земли, так же как и не могли убежать от самих себя. Все в этой жизни уже казалось мне эфемерным: любовь, дружба, все связывающие их отношения, наконец, сам этот несчастный и беспрерывный бег, сама эта жизнь. Наверное, я и к этой новой жизни становился несправедлив так же, как прежде был несправедлив к своей прежней жизни: так же как моя прежняя жизнь казалась мне раньше одним только мучением, так же мучением казалась мне теперь эта жизнь. И хотя тут, так же как и там, тогда, было не только свое плохое, но и свое хорошее, ни тут, сейчас, ни там, тогда, не было абсолютного избавления от мучений, и потому так легко удавалось считать, что вся жизнь есть одно абсолютное мучение. Можем ли мы, измученные, быть вообще справедливы? Не нужны ли нам тогда сначала прежде утешение и облегчение, а потом уже справедливость и истина? Можем ли мы вообще быть справедливы к той жизни, которой живем? Так же и - можем ли мы быть справедливы по отношению к той жизни, которой жили и которую прожили? Чем более плохой и несчастной казалась мне сейчас моя теперешняя жизнь, тем более счастливой и хорошей казалась мне моя прошлая жизнь, все, все большое и все мелкое в ней, все, что удавалось мне вспомнить, все хорошее, что раздувалось в уме до размеров необыкновенно хорошего, и даже все плохое, что казалось теперь просто хорошим, естественным, необходимым и неотъемлемым для того, чтобы *та* жизнь была именно *той* жизнью ("так и должно было быть"), всё, начиная с моих милых детей и кончая тем, как жена ругалась на меня, говоря: "учись... вот как люди живут", и стучала на кухне кастрюлями. Я жалел теперь, что убежал. Я жалел о том, что бросил - так неразумно и опрометчиво - ту свою жизнь. Я мечтал иногда о том, чтобы вернуться к ней. Но было ли теперь это возможно? Ах, если бы это было возможно! Мне было возможно теперь только одно: умереть. Был только один путь вперед, и не было больше пути назад. Несмотря на всю свою эфемерность, моя теперешняя жизнь держала меня достаточно крепко, так как я, живя ею, не мог не жить ею. Но все-таки, именно потому, что она была так несчастна и так эфемерна, я думал: нельзя же так цепляться за свою жизнь! нельзя же так бояться смерти, как боятся они! Я пытался заговаривать об этом со своим мужчиной. "Что ж, - сказал он, - ты предлагаешь мне самоубийство?" - "Не самоубийство, - сказал я, - но все-таки хоть какой-то возможный выход из жизни, который, мне кажется, лучше, чем сама жизнь, или

даже если не выход и не поступок, то хотя бы отношение к выходу и только хотя бы намерение..." - "То, что кажется тебе,- сказал он, - вовсе не обязательно должно точно так же казаться другим. Нехорошо не бояться смерти, и поэтому хорошо, когда мы живем, боясь ее. Точно так же нехорошо желать ее, и поэтому хорошо,когда мы живем, не причиняя ее себе сами. Но ты еще не знаешь всего. Ты только недавно с нами и только еще начал жить нашей жизнью. Так же как прежде, когда ты жил с женой, тебе казалось,что ничего не может быть хуже, и ты тогда убежал в нашу жизнь,а теперь тебе кажется, что она много хуже, - так же сейчас ты считаешь,что ничего не может быть хуже этой твоей теперешней, то есть нашей, жизни, но вполне возможно, что что-нибудь еще может оказаться гораздо хуже нее..." - "Конечно, - ответил я, - хуже нее для вас только смерть. Но смерти-то я теперь как раз не боюсь". - "Не надо думать, - сказал он, - что мы все так уж боимся смерти. Смерть - это иногда не самое страшное, и есть вещи, которые могут быть пострашнее смерти..." И тут - мы как раз уже довольно долго бежали по ровной дороге, так что я настолько привык, что совсем уже не замечал нашего бега, к тому же я был занят своими мыслями и разговором - тут наш ровный динамический порядок вдруг нарушился, что-то, вроде б, случилось, в первых рядах возникло смятение, многие сбились с ноги и затоптались на месте, чуть ли не налетев друг на друга. Уж не решили ли они все сразу остановиться, подумал я? Уж не решились ли они, наконец, умереть все сообща, раз это не удается никому сделать по отдельности? Но тут же из этого смятения и торможения выявился новый наш путь. Выяснилось, что мы поворачиваем: все сразу,все вдруг. Меняем, так сказать, курс. И только я один, с растерянности и по инерции да, так сказать, с непривычки, потому что был все-таки среди них новичок, пробежал по старому курсу еще немного вперед, глядя по сторонам и пытаясь понять, что же случилось. Я разглядел только, что там впереди, нам навстречу, тоже кто-то бежит: кто-то один. Чего они так испугались, подумал я? Он один, а их, в конце концов, много. Чего это они, словно овцы, так шарахнулись в сторону? Но мне не удалось ничего больше разглядеть поподробнее, потому что мой мужчина, отделившись от всех, подбежал ко мне, схватил меня за руку и, сильно дернув, так что я чуть-чуть не упал, увлек меня снова назад, вместе со всеми,в новую сторону. "Что вы, - сказал я ему. - Что случилось? Что вы вообще все как взбесились? Пустите меня! Я еще не разглядел до конца! Я хочу поглядеть..." - "Нечего там смотреть, - сказал он. - На такие вещи не смотрят. От таких вещей надо бежать подальше, сломя голову (и мы в самом деле так и бежали). Я скажу тебе и так: там бежит мертвый..." - "Как, - сказал я, - разве и мертвые тоже? Разве им тоже удается сбежать?" - "Как ты все же наивен, - сказал он. - Ты или шутишь, или просто не хочешь понять. Но у нас такими вещами не шутят. Ведь это самое большое наше несчастье. Не смерть,которой, как ты думаешь, мы боимся, а вот он, он, который, вот, умер и все-таки продолжает бежать..." - "Но не значит ли это, - сказал я, - что он, раз он бежит после смерти, некоторым образом все-таки жив, живет и ему обеспечена вечная жизнь?" - "Он мертв, - ответил мужчина. - А вечной жизни

нет. Вернее, вечная жизнь состоит в том, что мы, пока мы живы, живем, а потом, когда мы умираем, мы мертвые. Наша вечная жизнь есть наша жизнь до смерти и наша смерть после смерти. Наша жизнь после смерти означала бы для нас, наоборот, не вечную жизнь, а просто-напросто смерть. Надо жить при жизни, но при смерти надо умирать. Наш бег при жизни есть свидетельство спокойной, чистой души, а бег после смерти есть свидетельство неспокойной, нечистой души..." - "И потому-то вы так боитесь его?" - спросил я. "Да, - сказал он, - человек с нечистой душой не может жить. Он мертв. И мы боимся таких". - "Но вот, он же бежит, - сказал я ему нарочно, потому что у меня на душе становилось все горше и горше, - значит, он живой?" - "Нет, он мертв", - сказал он. "Это что же, - сказал я, - какой-то летучий голландец? Это какие-то бродячие мертвые души?" Он промолчал. "Уж не боитесь ли вы не столько таких, сколько самих себя? Уж не боитесь ли вы, что сами можете оказаться такими? Не боитесь ли вы больше всего самих себя?!" - выкрикнул я. Он опять промолчал и даже отошел чуть-чуть от меня. Какая страшная тоска снова, тогда охватила меня. Вот, думал я, куда ты попал. Вот на что ты обречен. Раньше ты жил и боялся смерти, теперь ты будешь жить так, что будешь бояться чего-то похуже, чем смерть. Ты боялся смерти, а они боятся своей жизни. Они бегут и не останавливаются не потому, что боятся, что умрут, а потому что боятся, что не умрут и даже после своей смерти им придется бежать. Конечно, тот, у кого совесть чиста, вероятно, умрет, но у кого она, в самом деле, чиста? Не потому ли они так и бегут все время, что каждый здесь не уверен в себе до конца? Каждый бежит, мечтая остановиться и умереть, и в то же время каждый боится, что и умерев, он будет должен продолжать бежать точно так же? И вот, я теперь тоже, благодаря им, лишился своей последней надежды: на смерть.

Кто из нас может сказать про себя, что его совесть чиста? Кто может быть уверен здесь в себе до конца? Кто настолько хорошо знает себя, чтобы знать это точно? Сколь добродетельными ни казались мы сами себе, всегда в нас может найтись что-то такое, в чем мы ошибаемся или чего мы не знаем. "Но и тут, - продолжал наставлять меня мой учитель, мой мужчина, - ты еще не знаешь всего. Среди нас существует поверье и даже не поверье, а твердое убеждение, многократно проверенное на опыте знание, что тот, кто остановит эту бегущую тень, этого мертвеца, тот уже наверное умрет сам и не будет после своей смерти бежать тенью, а тень оживет, и тот, уже живой человек, тоже больше не будет бежать, а вернется обратно к своей прежней жизни". - "Ну вот, - сказал я, - вам предоставляется прекрасная возможность умереть и сделать при этом одновременно благое дело. Чего же вы медлите? Почему вы колеблетесь?" - "Во-первых, - ответил мужчина, - было бы лучше, если бы ты говорил не *вам*, а *нам*, потому что то же самое относится уже и к тебе. А во-вторых, все это не так просто. Мы находимся здесь и между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, мы боимся бега после смерти, но с другой стороны, мы боимся смерти. Ведь мы живые люди, и мы просто боимся умереть, как все живое. Мы не герои. Не каждый из нас способен на подвиг, тем более вот так, сразу, ни с того ни с сего. Подвиг, что бы

там ни говорили про совершающих его героев,не есть случайность, он всегда есть необходимость для того, кто его совершает..." Он объяснял мне все так, будто бы читая мои мысли, знал, что я уже решился, решил умереть, чего бы мне это ни стоило, и тем более если от моей смерти будет какая-то польза другому, потому что больше уже не могу жить такой жизнью и смерть мне сейчас слаще, чем жизнь. Он понимал мое решение и видел, насколько оно серьезно, но и видел также те трудности, которые ждут меня,понимая,, насколько серьезны они. И в самом деле, в ближайшую нашу встречу с бегущей тенью, я, внутренне мгновенно приготовившись к смерти, бросился к ней, чтобы остановить ее и самому умереть, ощутив вдруг внезапно по этому поводу глубокую радость и большой душевный покой. Но оказалось все-таки, что, действительно, моя радость и мой покой преждевременны. Мне не удалось умереть так, как я хотел и как я собирался. В самый последний момент я вдруг заколебался, занервничал, мои движения замедлились и потеряли реакцию, я малодушно начал тянуть время и, конечно,в конце концов у меня так ничего и не вышло. Тень не остановилась, на какое-то мгновение лишь замедлила свой бег, будто бы ожидая от меня еще чего-то. Но потом мы разбежались в разные стороны и, кажется, еще быстрее, чем бежали прежде: она - будто бы разочарованная мною и потому, кажется, ухмыльнувшаяся и даже будто бы ехидно мне подмигнувшая,я - сгорающий от стыда. Наши,свои,встретили меня по-разному, одни спокойно, другие взволнованно,но никто,правда, надо мной не смеялся. Мужчина молчал, будто бы уже сказал все, что мог и должен был мне сказать, и больше ему не о чем говорить. Потом я еще несколько раз повторял свои попытки, причем каждый раз неудачно, и обо мне постепенно сложилось мнение как о человеке, который пытается достичь невозможного и взял себе груз, который ему не по силам. Многие уже отказались постепенно от каких-либо надежд, связанных со мной (а они не могли не связывать со мной своих надежд), и только я сам почему-то продолжал еще на что-то надеяться. Боже, каким необычным и страшным образом суждено было сбыться моим надеждам! Я сам уже постепенно слабел в своем намерении и сам все меньше' верил в свой успех. Я видел, что я тоже самый простой смертный,что я не герой. Что хотя я, вроде бы, готов к смерти и хочу умереть,я живу и не могу умереть. Но тут, устремившись однажды в какой-то слабой своей очередной попытке за бегущей мимо тенью, я вдруг увидел, что это моя жена. Эта неожиданность словно громом поразила меня. Я-то думал, что она по-прежнему счастливо живет со своими детьми, а может быть даже и второй раз вышла замуж. Я думал, что она, лишившись меня, несчастного и приносившего ей,как она всегда говорила, только несчастье, теперь процветает и счастлива. Я думал, что она, такая уравновешенная и здоровая женщина, никогда не дойдет до той жизни, до которой дошел я, и уж во всяком случае, никуда и ни от кого, тем более от своих детей, не убежит. И вот теперь я видел, что она убежала. Я видел, что она - снова больше того - даже и после смерти не может найти себе покоя. И все это - я видел ее знакомую фигуру, ее лицо, ее глаза, которые не глядели теперь больше на меня, хотя я сейчас бежал с нею рядом, и ее губы, которые уже никогда не произнесут

для меня ни единого слова, пусть даже ругательного, которыми прежде она меня так щедро одаривала (что бы я ни дал сейчас за то, чтобы услышать от нее хотя бы одно такое слово) - все это, я знал, из-за меня. Я разбил ей жизнь. Мой побег она не смогла пережить - она, казавшаяся мне всегда столь крепкой, выносливой и самостоятельной. Разлуки со мной и горя не выдержало ее сердце. Я довел ее до смерти. Но Боже, думал я дальше, что же случилось с нею еще? Что она еще там натворила, почему теперь, и умерши, бежит после смерти? Уж не покончила ли она свою жизнь самоубийством? Живы ли там наши дети? Уж не убила ли она еще и наших детей?.. Но мне уже некогда было додумывать до конца все эти вопросы и выяснять для себя мысленно, что с нею случилось. Волна любви и жалости к ней поднялась в моем сердце. Слезы выступили у меня на глазах. Я бросился к ней: неотстранимо,неудержимо. Не думая, тень она или не тень, живая она или мертвая, я схватил ее за руки, остановил ее и, склонившись перед нею, припав к ее ногам, обхватив ее колени, плача, целовал ее ноги, и землю возле ее ног, и платье и повторял только два слова, все время одно и то же: "Прости... Прости меня... Прости меня... Прости..." И еще одна, последняя мысль, расчетливая и трезвая, мелькнула в моем сознании: всё, я остановил ее, она будет жить, она вернется в дом, с которым я ее разлучил, и к своим детям, которых я от нее отнял, и снова будет счастлива. А я теперь - и с какой радостью - конечно, умру: всё, полный конец, the full stop, я умер...

И вдруг я увидел, что я жив. Что я нахожусь дома. Что передо мною стоит моя жена: она живая,и я живой. Что ни она, ни я - мы никуда не бежим. Что я дома, обнимая и целуя ее колени,говорю ей "прости" и "прости", а наши дети, наши милые дети, пищат где-то рядом, играя в свои игрушки, и, глядя на нас, тоже плачут и улыбаются. "Что это было? - спросил я жену. - Боже мой, что бы это было!? Ты жива, и я тоже живой. Я никуда не убегал и не умирал? И ты тоже никуда не убегала и никогда не умирала? Это был только сон?.." - "Нет, - ответила жена, - это не был сон. Ты убежал, и ты умер, но теперь,именно потому, что ты умер, ты жив". - "И ты тоже убежала?" - спросил я. - "Да, - ответила она, улыбаясь, - я не смогла жить без тебя". - "И ты тоже умерла?" - спросил я. - "Да, - ответила она, - я умерла, но ведь ты знаешь, что ты меня спас". - "Но кто же, - спросил я, - кто же тогда спас меня?" Она промолчала, отвернулась и, как это у нее было в привычке, стала выразительно погромыхивать кастрюлями на плите, занимаясь уборкой. Она молчала, все дольше и дольше молчала. Я глядел на нее сзади, на ее затылок, нежную шею, легкие завитки волос за ушами, округлые и мягкие плечи, на ее плавную талию. Боже мой, думал я, какое счастье! Какое счастье, что она живет, что у меня есть она, что она живет для меня,и я тоже живу и могу жить для нее. "Ты спас, - наконец сказала она. - Ты спас и меня, и себя..." И она продолжала говорить, говорила там что-то еще, говорила много, по своей старой привычке и наконец, разошедшись и немного забывшись, сказала мне даже что-то ругательное (даже в минуты счастья и примирения она не могла обойтись без этого, такая уж она была женщина, такая натура, таков

был ее характер, и какой сладкой музыкой прозвучали для меня в ту минуту эти ее слова: Боже, думал я, ругайся, ругайся, сколько хочешь, ругайся вечно, все время, ругайся всю жизнь,но только живи, вечно живи), но я, хотя что-то отвечал ей и даже тоже наконец, кажется, сам в ответ немного ругнулся, знал,что что бы она там ни говорила про меня, это она спасла меня. Она остановила мой несчастный бег. Она вытащила меня из смерти. Она позволила себе убежать один единственный раз, но убежала за мной. Она вернула мне жизнь, про которую я могу теперь думать,что это счастливая жизнь. Боже, чем бы я был без нее? Что бы было со мной, если бы ее не было? Что с нами будет, если она умрет? Что с нами будет, если я доведу ее до того, что она убежит от меня для себя, как это сделал я?

20 января 1970 г.

Димитрий БОБЫШЕВ

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

ПЕРО И КИСТЬ

Возьми щепоть от Бога, и тогда-то
в честном овале, в черепном яйце
напечатлеешь, осолишь лице,
и крест на нем проступит брусковато,

как бы ни миловиден был раскрой.
Но - чуть - и троеперстие разъято.
Меж двух - уже зияние (гиата):
отсыновлен от большего второй,

а среднему они опора оба.
Орудие художества, пароль
еще не выбрав: кисть или перо,
тому свершилась перьевая проба.

И чем иным бы выписалась кисть,
когда б не геральдически особо
(и только ли, как водится, до гроба?)
они перекрестились и сошлись!

Здесь дружная спружинила интрига,
и цветовой удар ввергает в криз:
по склону промуравленному вниз
упруго кувыркающийся тигр.

И пиршество среди густых куртин,
где неподвижно безуханны игры
тюльпанов огнецветных! Это - Игорь
Тюльпанов у распахнутых картин.

Предметов благодарственные очи
горят повсюду. Всё же он один
средь замыслов, слуга и господин,
слуга и господин своих отточий...

Один, – на сходе выверенных тайн, –
казнит и красит миг живой, проточный...
В подробностях древоточащей порчи
умильно просит каждая деталь

у кисти: – Будь и в прочном – быстротечной!
Выпаливая в лёт павлиньих стай,
стань пристальной, поди пересчитай
свинцовые зазубрины картечин.

В напластованья отрешенных глаз,
в с атласом перламутровые встречи
впиши отливы, тем хмельней и терпче,
что синева по золоту прошлась.

Но там, где цвет идет на свет, на трепет,
пожалуй, даже кисть дает отказ...
И только зоркое перо, кружась,
жизнь самоё на тех полях затеплит.

Тепло касаясь, пузырьковый мыс
листу на загрунтованные степи
сквозь лона перепонок в полом стебле
передает, предписывает мысль.

Навершие парит, себя наведши
и плоское вперяя око ввысь.
Здесь, как ни изумрудно изумись,
древнейшее становится новейшим,

расплавчато-лазоревым. Но пусть
любой из нас заплакан и невечен.
Живем не мы, – немые наши вещи
вбирают хищно опыт, вкус и пульс.

А чудо ангелического слога
и радужные звуки свежих уст,
и самобытие мазка, боюсь,
даются только за чертой итога.

....
Но этот минус перекрестят в плюс
перо и кисть щепоткою от Бога.

февраль 1978

привал интеллигентов

Сквозь редкие осечки да седины
следя свой облик, зеркалом сердимый,
земную жизнь пройдя за середину

и находясь вполне среди своих,
не убоимся, именитый стих
друзьям примерив, сим утешить их.

Когда из инфернальныя долины
чрез пахотных полос, терновых линий,
освобождаясь от отнюдь не пиний,

отнюдь не пиний, но осин да пихт,
уже не слыша окриков тупых
прожекторных топтыг-неторопыг, -

поэту, погубляемому речью
(феномен как типический отмечу),
проделали они свой путь навстречу,

тогда случился общий передых
для всех для них, усталых. Впереди
ему еще осталось перейти

туда, через нее, наиострейшу
и самую бездонную из трещин,
перед которой равно все трепещем,

а им пригубить жизнь, наоборот,
в дальнейшем предстояло... Соберет
хозяюшка на стол; забудем торт

за решкою съедобных поперечин!
Ее пирог хорош, не переперчен.
Под это дело выпить нам теперь же!

И - по второй! Под знаменитый тот
тост №2 "За тех, кто там", кто ждет
отметить, может быть, и наш черед...

Скорее - закусь! Сладостная пытка -
тушить огонь надежного напитка,
по жилам расскакавшегося прытко,

горячим борщецом, палящим рот,
и пряным жиром, что, скворча, течет...
Пусть в лавках ни черта. Двойной почет

хозяйке. И – за видимость избытка,
и – за нее саму! И не забыта
полудуша, любимица пиита.

За то залетной умнице хвала,
что только половину увезла.
Пока. Вот и бутылку спрохвала

(добро бы кто другой, но мы-то, мы-то,
интеллигенты, соль земли, элита!)
приговорили. Видимо, омыта

Россия водкой. Но не добела.
Склонясь лицом до уровня стола...
...Меж тем рука по чашкам разлила...

страна скользит к подстольной катастрофе.
...четверократ подорожавший кофе.
Вениамин и Лидия Иофе!

Вы балуете гостя, столь воспла-
мененного, что – чуть, и он – до тла...
Но, други, нет, натянем удила!

А если что и есть в заветном штофе,
к тому припасу повернемся в профиль;
мы лучше корни, как весной картофель,

в российской почве крупно заклубим.
Есть опыт счастья, если кто любим.
И опыт боли из таких глубин,

откуда выбираться по-кротовьи.
В земельной тьме, в полуболотном торфе
войти с огнем в смешение крутое –

вода и воздух наготове. Им,
стихиям нашим, да и нам самим
для вящей полноты необходим

и опыт этих опытов... И – опыт
в одном пути сплести все петли, тропы...
А, кстати, и пора... Судьба торопит!

Мы забуримся или мы взорлим?
И сладок отдых, да не вечно длим;
и много входов с выходом одним...

Рок – не запрограммированный робот,
но чуткий, мощный зверь. Забывши робость,
как весело порой его потрогать!

Он тянет лапу... Гляньте!.. Острит коготь!

октябрь 1978

* * *

"Мрак то бархатен, то лаков", –
нежная, уже видна
не строка и не жена
фразою из полу-знаков,

полу-отсветов; она
яснится, двоясь. Однако,
с бликом облик одинаков,
явленная нам – одна.

(Заново, того не зная,
мысль мою вочла в себя
чуткая, совсем ничья
умница, красавка злая –

чудом). И при чем тут я!
(Разве что, высвобождая,
я ее отъял от края
радужного бытия).

Вылистнула здесь, расклята,
райская страница две
прописи: "Люби и верь".
Выкатила в жизнь покато

яблочной ланитой весть.
(Божия, ей-ей, цитата).
Ведайте ее, читайте
замысел певучий весь!

В прорези никак не взглянет –
вскользь или в уклон слегка;
только в уголку белка
дико ослепляет глянец.

Тень, зубчато-глубока,
тонет в нем и, с ним играясь,
гладями туманит грани...
Жарок окаем зрачка.

Вечное с минутным обок
("верить и любить") легло,
окороновав чело
венчиком кавык и скобок...

(Видимо, сперва сошло
яркое перо от облак:
лунно-перламутров облик,
вписанный затем в гало).

И – во взгляде – взгляд! И сполох
тихо полыхнул впотьмах,
выблеснул во всех углах
глаз – полудуховный порох.

И, что от листа врасплах
тянется – туда – к воспорху
птащию, в воронках полых
буков отряхая прах, –

вымахал прозрачный взмах, –
пусть и не в самих глаголах –
метой ногтевой на голых,
белых и живых полях!

январь 1978

Димитрий Бобышев родился в 1936 году. Живет в Ленинграде. Окончил Ленинградский технологический институт, работал инженером, редактором на телевидении. В России почти не печатался. В издательстве ИМКА-пресс только что вышла книга его стихов ""Зияния".

Алексей ХВОСТЕНКО

ПРОДОЛЖЕНИЕ

* * *

Поэзия - святая пустота! -
Голодный блеск в глазах пустого слова,
Незыблемая паузы основа,
Крик вопля слез,открывшего уста.

Поэзия - пустая колыбель! -
Весенний путь растаявшего мрака.
Земли кипеньем будущего злака
Ложится звук в больничную постель.

Поэзия! Разбитый и больной,
Сквозь шум воды твой госпиталь молчанья
Я отыскал. И вот, как дар признанья,
Пьян горьким умыслом ветхозаветный Ной.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Какой мы видим смысл влаги,
Когда в поток, несущий пену,
Бросаем траурные флаги -
Грядущей жизни перемену?

Какой мы видим смысл пены,
Летая трупом над волнами,
Когда небес открыты вены
И тучи рыщут перед нами?

Какой мы видим смысл флага -
Потока с траурной каймою,
Иль детским лепетом бумага
Победу плачет над собою?

В каком же смысле перемены
Постылой жизни сеют просо,
Иль влагой волн над флагом пены
Встают под знаками вопроса?

СТИХИ ДЛЯ ПСИХОАНАЛИТИКА О РУССКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

Река-река плывет, и спереди
Видна трава, видны мосты
И громкий сон трамвая-Верди,
С утра заползшего в кусты.

И всякий знойный итальянец,
На немца холку вздернув шляпу,
Выводит блеск и плеск на танец -
Тот, что сверкал в Бетховен-папу.

Но что же? Русский был лукаво
Забыт иль завистью укушен?
Нет! - Мандолинную рукаву
Певец зовет к себе на ужин.

Поет он ей: "Прощай, прощай,
О ты, мой месяц над пригорком!" -
И мышку вынув из плаща,
Оркестр кладет ее в каморку.

Какое дикое гуденье
И барабана пенье русских,
Тромбона тренье и скрипенье
В кривых руках,на запад узких.

Но нет, не музыка, река,
Но ряд струи твой лезет в будку!
Когда встаешь на каблуках,
Заметишь тонущую шутку.

Спасать ее? Вот это дело!
А дирижер? - он будет дуться,
Имея в пальцах складок тело,
Он мог бы к нам и повернуться,

Чтоб оглянуться и заметить:
Вот мы - несем реку в портфеле!
И певчих птиц придав планете,
Звезду колеблем еле-еле.

Гляди на это представленье,
О дирижер, фантастик, скряга,
Как мы, ручьем теряя пенье,
Поем без устали "Варяга".

Но, но, река, потише! Ваши
Уж слишком хлопаются уши,
И Гендель-Бах стоит на страже,
Отважно Мусоргским укушен,

Иль ненамеренно повешен,
Стремясь в сибирскую келейку? -
Из срубов маленьких скворешен
Пускаем в воду канарейку!

И мы уж видим речки спинку,
Картечью встретив иностранца,
И напугав морскую свинку,
Пришельца складываем в ранцы.

ЭЛЕГИЯ

Есаяну

Наступил на нас мороз -
Говорить не можем слова.
Как подумаешь - тунгус
Ждет богатого улова.

Звезда полярная - медведь.
(Кометы хвост ему назначен!)
Как хорошо в снегах лететь,
Когда весь мир переиначен.

Когда подумаешь - узбек
Песок кладет себе на брюхо,
А ты летишь наискосок
И перевесть не можешь духа.

Когда, качаясь, дерева
Идут вдоль темного забора,
Ты улетаешь в Ереван,
С усмешкой глядя на помора.

Помор! Зачем тебе вода?
Зачем ты плаваешь на льдине?
Смотри - еще летит куда
Твой бог обугленный и синий.

Смотри - еще бегут они,
Твои последние олени,
Но Арарат зажег огни,
На верх снегов отбросив тени.

убежище

Теперь кому еще ползет
Длительная пауза?
Видишь - дедушкин кисет
Висит, болтаясь у пакгауза.

Чему его нутро привязано,
В руки дадено кому,
У лабаза чем обязано
Пустотелому куму?

Поезд пуза посинелого
Внукам кажется - тюрьма.
Предок был! Он ел его
Корабельные корма.

Это, право, чем не варево
Опрокинутого времени,
Молотком стучится зарево
По лысеющему темени.

Кто там, кто там землю топчет,
Собирая горсть угля?
Это ты? Ах, свято, Отче,
НО кормящего огня.

Свято дно, и свято труб
Обгорелые бока.
Только, вот, не просит труп
Черных крошек табака.

ВОЛОХОНСКОМУ

Если дерзкой кто рукою,
Сняв покров прельщенья наша,
Обнажит протекше время,
Мы проклятья налагаем.

А.Радищев

Окажется,в который раз
Мы зрим нелепую замену

Соблазна дня, и каждый час,
Упершись глазом в голу стену,
Являем свадебный урок
Своей жене. Средь разных ног
Мы дышим часто поневоле
И ждем оказии греха,
Хоть в вялой ритмике стиха
Или заминки в протоколе.
И всякий раз, сбирая дань
В кругу друзей, мы тянем руку,
В которой веселится лань,
Рассеивая нашу скуку,
В ту щель по очерку окна,
По краю мутного стекла,
Сверяя пальцами размеры
От поднебесья до земли,
В суставах прячем корабли
И Бога чтим как признак веры.

И то не покидает нас
Сухого воздуха виденье
На уровне прекрасных глаз
Любой затеи. Появленье
И видимого через стол
Дано бесплатно. Светлый кол
В конце блестящего забора
Как бы залог такой судьбы,
А дым прикованной трубы
Подобен впечатленью бора.
И если скрыто что за ним:
Трава ли то от семя пола? -
Мы тайну бережно храним
За частоколом частокола.
И только в нас цветущий сад
Увидит душ чужих парад,
Не скрывших легкого волненья
И не нашедших сразу тень.
И нам уж точно будет лень
Разбить содеянные звенья.

продолжение

Зверь нехорош, звериная душа
Для музыки желала выхода и зренья.
Ему молчать, но он огнем упал.

Он пал в огонь, в пропавшие коренья
Прошедшей осени. Олень его рогат,
Как лета брат медведицей берлоги.

Зверь нехорош, но ужасом богат,
Прощальным ужасом, золою пепелища.
Он ищет выхода, он отыскал порог,

Он вышел вон и, отрыгая пищу
Богатого обеда, полон сил,
Искал куда, зачем излить отраву.

И зверь над зверем весело парил.

дракон

Лес вечен шорохов, холодная земля
Полна пустыней летнего приплода,
В ней бродит сок, и плотная природа
Лежит над бездной темного угля.

Но вот огонь, сквозь плоть его пройдя,
Потоком трав прольется к небосводу,
И змей, крылом раскачивая воду,
Из двух стихий создаст начало дня.

Он мертв был так, как умирал всегда,
Но в третьем зеркале дерев парила стая,
В нем трепетом листвы укрыта нагота,

И мантией роскошной горностая
Одет дракон. В его устах пылая,
Проснулся год, и с ним пришла весна.

праздничный сонет

Итак, последний день трудов,
Последний выдох сатурналий,
Вином растительных регалий
Силен прольется в семь потов.

О праздник влаги, пир готов
Последним вздохом сатурналий.
И ждут вакхических сандалий
В открытый ливень сотни ртов.

Пусть сад покинули плоды,
Но глины темная поверхность
Полна таинственной воды,

И дом трудов стоит, как крепость,
И кифаред, забыв про ревность,
Поправил звонкие лады.

SONETTO COLLO CODA *

Лист выходит в область неба,
Корень ищет тьмы ночной...

В.А.Жуковский

Нет, не строка, не умершее слово
Язык проглотят. - Говорит листва!
И черный корень кончиком хвоста
Ей преподаст незримую основу

Глагола первого: "Расти из тверди снова!
Венцом творенья будь над головой куста!"
"Ничто" твой будет смысл, и дерзкого лица
Сияет лик растения земного.

"Никто" зовут тебя, твой шелест еле слышен,
Другие травы, преклонив цветы,
Глядят на ягоды созревших рано вишен,

Роняя знаки букв из вечной пустоты...
Цветенья языки, стеблями легкой крыши,
Как черепицы маковок просты.

***

Но "Нечто" просит пить, и "Некто" алчет пищи,
И тело распластав безводного песка,
Из чрева дерева птенец голодный свищет,
И требует язык съедобного куска.

* *СОНЕТ С ХВОСТОМ - итал.*

МОЛИТВА

Позови меня князем
Я есмь драгоценная грязь
Ярким оловом раухтопаза
Напои меня - буду твой князь

Опрокинь меня в воды
Настой в изумрудной реке
На глазах у толпы
Расколи в совершенной руке

Обнажи мой скелет
Под крылами взлетающих лап
Сквозь алмазный глазок
Войдет умирающий раб

Первый вздох после жизни
На гранатовый вздох водоем
Дай увидеть вина
В потрясающем кубке Твоем

УЛИСС

Что за езда без колеса?
В квадратном небе солнце ищет мерин
По глади вод скольженьем плавунца
Никто его движенья не измерил

На бешеном скаку конь требует перста
Взыскующего к скорости возницы
В пыль тонких ног уложена верста
И лошади тропа над миром снится

Какой осел желал стоять столбом
Над дымом угасающего спорта
В тень ездока лежит упершись лбом
Его погонщик. Лишена аорта

Привычного для пульса тела сна
Глаз просит пить как линза телескопа
Под топот рук побредив полчаса
Горит вино во лбу пустом циклопа

Так что ж скакать иль плыть в кромешной тьме?
Но крепости любви уже разбиты стены
Забудь свой дом, Улисс, в лукавой наготе
На берег вымысла зовут тебя сирены

пейзаж в зеркале

поверхность зеркала смутить должна
сурового солдата перед боем
в нем виден весь ландшафт, что за плечами
улегся в сверток ржавого железа
спокойно, как приказчик на кровать
хозяина, покинувшего город
в надежде робкой выиграть момент
и обыграть соперника на скачках

в нем отраженье темного пруда
его камыш чуть упираясь в раму
не дополняет, а скорее точит
простую вязь подгнившей древесины
волненьем воздуха, охотника рукой
следящей за полетом диких уток
и хаотичным танцем мошкары
среди стеблей, окутанных туманом

ПРЕДЧУВСТВИЕ ОСЕНИ

Танцует лето в отдаленьи,
Охот предчувствуя потраву,
Поет барсук в уединеньи
Над норкой сладкую отраву.

Свистит. Ну как остановиться!
В объятьях зелени незрелой
Орех в тени листов круглится,
Чтоб затвердеть в скорлупке белой.

А с ним толпа его знакомых
Все так же медленно и странно
Внимает гулу насекомых
Над толщей зарослей пространных.

И вот, пока тяжелым вздохом
Свет дня готовится грозою,
Прекрасный гриб над царским мохом
Стоит, умывшийся росою.

И ельник, ельник в темень длится,
Готов к осеннему покою,
Барсук спешит уединиться
Под истощенною землею.

Над незаметным входом в недра
Висит дыханья легкий столбик,
И тень возвышенного кедра
Дождям свой поручает облик.

* * *

Р.Г.

До воздуха границ
Добраться не легко,
Любовь моя, но здесь
Смеюсь я далеко.

Я плачу, видя птиц,
Снующих в небесах,
Любовь моя, но здесь
Их крылья на весах

Взлетающих страниц,
Как страсти произвол.
Любовь моя, но здесь
Я слышу их глагол.

В стране привычных лиц
Не знаю одного,
Любовь моя, но здесь
Всё вместе далеко.

* * *

Собирается ветер, он рухнет, обрушится сразу
О круженье, о вихрь, о вопль невидимый глазу
Это долгое О, этот вой под лавиною света
Эта бездна плывущая в зеркало ровного лета

Опускается ночь, упадет, оборвется круженье
Темным водам луна возвращает свое отраженье
И внезапное А перекатится лавой стенанья
Над застывшей волной опрокинутым эхом молчанья

Начинается осень стремительным сердца распадом
Травы стонут от ужаса, с небом соседствуя рядом
Только длинное И и услышит как падают листья
И смолистым вином наливаются алые кисти

* * *

О музыка - движение начал
О чудный гимн - начало мирозданья
О тростника чуть слышное дыханье
Ты слышишь - камень в камень постучал

Ты слышишь шелест - плеск воды о камень
В ветвях гул ветра - вереска песок
Цикуты щебет в зарослях осок
И полдня вой окрашенного в пламень

О музыка - последний вздох причин
О трубный крик развернутого неба
О сладкий запах поданного хлеба
Возьми кусок и в бубен постучи

Аркадий РОВНЕР

СИСТЕМА

Моей маме хотелось, чтобы я был художником,и три раза в неделю я ходил в художественную школу. "Костя, - говорила она устало и жалко, - учись, старайся, я на тебя всю жизнь положила". Два моих вечера занимали плавание и археологический кружок. Остатки вечеров я проводил в мамином институте, где она до полуночи корпела над микроскопом, а ее сослуживцы решали мне задачки и проверяли упражнения.

Ни художника, ни археолога из меня не вышло. В школе меня дразнили и мучили, в художественной - не замечали. Мамы я стеснялся, отца не знал - он не жил с нами. Я был некрасивым и неловким, на моей подстриженной под машинку голове нелепо торчали уши, и я сто раз на день краснел от смущения.

С Яшей мне было просто, наверное, потому что он краснел, заикался и виноватился даже больше моего. Он кашлял, болел - мы учились с ним с первого класса, - и бабушка - он жил с бабушкой - возила его в Елоховскую церковь.

- Бог живет в горах и оттуда посылает молнии и громы. Его нельзя увидеть, но он может протянуть руку и достать кого захочет, - рассказывал мне Яша на уроках ботаники, пока мы рисовали в тетрадях лепестки и пестики маков, а учитель у окна в золотом улье, забывшись, тер переносицу перепачканными мелом пальцами. Яшин цветок получался большим и красивым с уверенной линией лепестков и живой сочной чашечкой, мой же был чахлым и кривобоким.

- А здесь в классе - тоже может? - спрашивал я, пугаясь, и видел: входила в окно огромная золотистая из солнечного сияния рука и, обняв учителя, осторожно поднимала его в воздух, а он, не замечая ничего, продолжал тереть пальцами переносицу.

- Это тайна. Однажды он уже приходил,но его поймали и сбросили в яму.

Когда было время, мы шлялись по городу. Шли от Герцена по бульвару, присаживались во дворике рядом с согбенным Гоголем, через Никитские мимо "плешки" добирались до Трубной. Иногда с нами ходила Аленка - мы смеялись, не переставая. В конце девятого класса весной Яшу выловили в Сокольничьих прудах и похоронили где-то в Переделкино. Алена ходила три дня зареванная. Я все собирался туда поехать.

* * *

Мы с мамой и сестрой жили в маленькой комнате на улице Фрунзе. Комната была в скатерках, салфетках, занавесках,ковриках. В углу на тахте мурлыкала перед телевизором менингитная Дарья,заламывала руки и кривлялась. Время от времени она, цепляясь за мебель, пробиралась на цыпочках к холодильнику и, стоя перед открытой дверцей, ела ложкой из банки сливовый джем и, перемазавшись, ползла назад на тахту, вертя головой.

По воскресеньям к нам приходил дедушка и за чаем ругал на чем свет моего отца, разрезая торт из "Праги". Еще он ругал совдеп, Сталина, колхозы, снабжение и волосатых. "Я бы их собственными руками передушил!" - восклицал он и показывал, как бы он это сделал сухими ручками с приплюснутыми пальцами. При этом Дарья возбужденно взвизгивала и опрокидывала чашку. Мама виновато суетилась.

Волосатые тогда только появились на улицах, выделяясь среди одинаково подстриженных пешеходов в черных пальто и с тяжелыми продовольственными сумками в руках своими старательными лохмотьями с каким-нибудь беспомощным жестом на одежде - вышитой веточкой, цветком или детским значком, - что еще сильней подчеркивало угрюмость фигур. Я вглядывался в их прикрытые длинными космами мясистые лица, пугаясь мрачной невыразительности и бывалости облика.

Дедушка был принципиальным человеком. Он отсидел свое за химию (Сталин говорил, что химия нам не нужна, а дед придерживался иного мнения) и при Хрущеве вышел. Отказался от сына - моего отца - за то, что тот бросил нас с мамой. Волосатые его особенно донимали. "Я понимаю, - говорил он, поднимая ложечку, вымазанную кремом, - они продукт социального разложения, но тогда им следовало бы публично самоуничтожаться - это хотя бы принесло общественную пользу".

* * *

Павел перешел в нашу школу в девятом классе и принес с собой атрибутику системы - одежду, волосы и наркотики. Это был худющий вихлявый юнец с сальными волосами до подмышек: без фаса - один профиль. У него была кошка вегетарианка, и сам он был вегетарианцем. Кошку он вначале морил три дня голодом, после чего она съела соленый огурец.

Говорил Павел медленно, гнусаво, будто упрашивал. Гнал телеги, показывал дырки на венах. Однажды принес в школу пакетик: героин, де, несет продавать грузинам за сотню. Рассказывал, как

трахаются. Я все надеялся,что он сведет меня туда, где трахаются. Ходили к нему разные персонажи, уводили во двор разговаривать, и они растворялись.

Потом он пропал из дому на две недели, и в школе появилась его мама (тоже вихлявая и тоже с профилем), проскочила, прижимая к животу сумку, в кабинет директорши. Там ее уже поджидали участковый Кузякин и историк, он же секретарь парткома,Вась Васич Кошечкин. Стали копать и кое-что узнали - след тянулся за Павлом еще из его старой школы. Как только он объявился,его сразу из школы и вытолкали.

Тогда Павел врубился, что это я на него донес. Поймал в подворотне и говорит: "Сейчас тебя резать буду". Прижал меня в угол - с ним была его команда - и издевался: "Не бойся, расстегни пальто, это не больно". Офелия пожалела меня и говорит ему: "Отпусти его". Но он долго не пускал. "Скажи, - говорит, кивая на Офелию, - что она самая красивая, тогда может быть отпущу". Я сказал, и он меня отпустил.

Добежал я до дому, заперся на все замки и задвижки и стал писать записку. Написал, руки у меня дрожали,буквы шатались, что Павел хочет... Мама утром нашла записку на кухне,побежала к директорше, вызвали участкового, втолкнули меня в кабинет, и там я рассказал Кузякину и Вась Васичу все, что знал и о дырках,и о героине, и обо всем. Знал, что закладываю, что всю жизнь буду мучиться потом, и все же рассказал.

Я думал, после этого мне конец, но вышло по-другому. Он увидел меня в скверике, подошел и предложил покурить косяк. Покурили и разобрались. Через день Павел привел меня к Офелии.

* * *

- Ну и хорош же ты, милок. Ну, да ладно, кто старое помянет. Проходи,гостем будешь. Ого, да ты не с пустыми руками! Знаешь, куда идешь - со своими запасами прибыл. Подожди, я сейчас чайку поставлю. Вот и поговорим по душам, познакомимся за чайком-то. Да ты по стенам не глазей - это я так больше для новичков навешала. Ходют всякие,говорят Офелия,да Офелия,а посмотрют: баба как баба и некрасивая к тому же. Я для страха навесила это. А здесь все мои авоськи - волосатики, Божьи птахи. Видишь,их сколько у меня. То-то, смотри не обижай меня, а то все как один встанут - 33 богатыря чредой и с ними дядька их морской. Ты Ариеля-то своего видел? Вон он, лапонька, вот он мой пионерик. Хорош! То-то же. Офелия знает, кого опекать. Я баба вострая - мне палец в рот не клади. Но и бояться меня тоже не надо - я вовсе не этого хочу. А то у вас мужиков уж и поджилки трясутся. Бабы вы все,а не мужики. Ну-ну, не хорохорься. Ишь ты, тронуть его нельзя. Да не надо мне доказывать, на что ты способен. Нешто у меня глаз нет? Что я институтка, что ли? Да мужик, мужик, вижу. Дай-ка я тебя покормлю, пока моих авосек нет, а то куска до рта донести не успеешь, как они все до крошки подберут. Прямо саранча какая-то! Я перед их приходом всю еду прячу, не то потом в доме хоть по коробу скреби, по сусекам мети - пусто. Да что тебе рассказывать - ты ведь Павлов приятель, стало быть,в курсе волосатых повадок.

Приземистая, широкогубая в крупных очках и с разбросанными по плечам черными прядями, Офелия сидела на диване и густо дымила, далеко относя маленький мундштучок, в котором криво торчала сигарета, - коротенькая юбочка и прозрачные чулки навязывали представление голых и похотливых ног.

- Ну, давай я тебе сначала свою галерею покажу. Это вот Юра Заложник, это Чернорубашечник, а это я, и это я, и это. Видишь, какие откровения! Это тебе, милок, не соцклассицизм. Здесь нельзя: "это неправда, так не бывает". Или: "я этого не видел, значит это плохо". Если не видел, то смотри, что художник видит, и не учи его, а сам у него учись. Согласен? То-то. Я сразу вижу, что ты не чета Слугину. Тот чуть что в амбицию впадает. "Я, говорит, человек трезвый, я один знаю, где скрываются главные энергии". Чапаева цитирует, Василия Ивановича. А я-то знаю, что они во мне - эти самые энергии. Я ими управляю. Ну вот, опять заболталась. Пойду по хозяйству, а ты здесь осмотрись, голубчик.

Я ходил по комнате и рассматривал картинки на стенах, а Офелия распевала на кухне и стучала посудой - картинки были похожи одна на другую: розовотелые Офелии резвились на зеленых лугах, носились между пригорками. Мне все нравилось - комната, картинки и Офелия - хитрая, жадная, обтянутая капроном - все как-то сразу схватывалось и не раздражало.

- Но и их тоже ведь жалко, - как бы сама с собой разговаривала Офелия, разливая чай в огромные голубые чашки с мелкими трещинками, - кто их, дурачков, пригреет? Вот и ходят за мной, как за наседкой. Я им всем как мать: ругаться их отучаю, шью им рубашечки да штанишки цветастенькие, понятия им внушаю - кто что вместить может. Их жизнь ведь тоже не сахар - все их тыркают: и родители, и школы, и институты. Ты в психушках бывал? - то-то, - а они, сердечные, ведь не вылазят оттуда, закалывают их лекарствами, чтобы, значит, не отличались от массы трудящихся. А ведь не понимают, лапоньки мои, как важно быть похожими на всех, чтобы делать то, что хочешь. Авоськам моим это невдомек - вот и набивают себе шишки. А я, вот, такая же, как и все. Массы пьют водку - и я пью горькую, массы играют в картишки - и я подкидываю в дурачка. Ты как насчет преферанса - не играешь? а зря - большой смысл в картах скрыт.

- Привет, старуха. Я не рано? - На пороге возникла тощая длинноволосая фигура с дерюжной сумкой и в зеленом френче керенского покроя.

- Хай, Заложник, - кивнула Офелия, не глядя на него.

- Сегодня кто из наших будет? - безразлично поинтересовалась фигура, развязывая сумку.

- Кто будет, тот будет, - отрезала Офелия и повернулась ко мне, - вот так всегда - поговорить с человеком нельзя, ходют и ходют. А чего ходют, спрашивается? Хоть бы умного кого нашли, а то бабу. И у меня никакой из-за них личной жизни!

Длинноволосый вкрадчивым шагом прошел к дивану, по-кошачьи опустился на пол с Куртом Воннегатом в руках и стал демонстративно читать, по-женски заботливо поправляя рассыпанные волосы.

В коридоре раздался звонок, хлопанье дверьми, топот - в комнату ввалилась команда волосатых: Чернорубашечник, Леша, Бос-

тон - окрыленная Офелия носилась между ними, как богиня победы Ника. Заложник, отставив Воннегата, возился с проигрывателем. Потом пришла Алена и принесла жратву - я и не знал, что и она пасется при Офелии. Пустили по кругу косяк.

Взвилась и с гиканьем понеслась по холодным мертвым пространствам бездомная циничная музыка. Гордость,чувственность и обнаженная дрожь разрастались под колючим небом, тягуче засасывая в пропасти. И вдруг бесстрашно и гулко им возразил контрабас. И - появился воздух, хоть контрабас и не задавал тона, а только изредка, сомневаясь, спрашивал - это было сильнее свистящего разгула. Музыка сгущалась и тяжелела.

Волосатые курили по кругу, отбивая пятками наступление островитян. Музыка спиралью, змеей, шипя, обвивала, обволакивала, взвизгивала и замирала. У меня разболелась голова.

* * *

Я был стриженым, и меня все били или игнорировали, а когда я отрастил волосы, чуть прикрывавшие уши, то сразу стал заметной личностью. В школе все стали искать со мной дружбы. Девочки, проходившие раньше мимо, как будто я стул или шкаф, обнаружили вдруг мое существование.

Я шел по улице, и на меня глазели, со мной заговаривали,шипели вслед или испуганно косились. Мама плакала, а дед советовал сдать меня в исправительную колонию, кричал "Паразит!" и топал ногами. Несколько месяцев он вообще к нам не ходил. Потом не выдержал, принес торт и устроил разборку, разбившуюся о тупые выкрики разбушевавшейся Дарьи. На прощанье он сказал речь, из которой мне запомнилось: "бездумный выверт".

Весной мы с мамой поехали в Киев к бабушке. Бабушка лежала на штопаной крахмальной простыне и причитала: "Костик, подстриги волосы. Видишь - я умираю, прошу тебя, Костик, подстриги". Я не постригся, и мама не могла мне этого простить: "Бабушка,умирая, просила тебя подстричься, а ты не послушался".

Волосы у меня густые и рыжеватые, слегка вьющиеся. Сначала я расчесывал их на пробор, но потом мне сказали, что от пробора они редеют, и я стал носить без пробора. Когда шел по делу, засовывал их под воротник или заплетал косичку и прятал под ушанку. Приходилось часто мыть их и долго сушить. Дважды появлялись вши, хотели меня стричь, но я не дался. Сестра грозилась остричь меня во сне - пришлось пообещать, что разобью ее телевизор. Кружки и художественную школу я забросил. Мама и не заикалась больше о них, дрожала, чтобы я хоть школу кончил.

Я стал отличать волосатых от длинноволосых. Волосатые были мы, а длинноволосые - битники, урла или просто оригиналы, - к системе они никакого отношения не имели. Своих я узнавал, даже если не встречал их раньше. Был особый блеск белков, уклончивость и стремительность облика. И еще - сутулые спины, поднятые воротники, затравленность и брезгливость.

Волосы вытолкнули меня на подмостки - я вошел в эпоху шпаг и накидок. Из десятого класса я шагнул во Флоренцию Медичей, окруженный ореолом непохожести. И мои новые друзья были тоже вы-

зывающе непохожи, лепили каждый себя. Я вырвался из комнаты,где Дарья, телевизор, разборки, на улицу, и вот несусь, не знаю куда, и радостно оттого, что свободен. Пока не напомнят грубым шипением, издевкой. Тогда привычно огрызаешься. Отбиваться было легко, за плечами я чувствовал систему - наш мир, наш воздух.

Было несколько систем, но я ни к одной из них не принадлежал, всюду был партизаном. Прячась за спины стариков,я выкарабкивался с их помощью из моих комплексов. Выкарабкавшись, я увидел двусмысленность своего положения. Я уже тогда понимал, что дело не в волосах. Родители уступают детям,длиннее и короче бывают волосы, у длинноволосых отцов - коротковолосые сыновья, у коротковолосых - длинноволосые, каждое поколение брезгливо стирает с себя черты изолгавшегося предыдущего. Жизнь каждого суетлива и бездумна - "бездумный выверт".

Маленьким я часто думал: "Что бы со мной ни случилось - будет все то же, и нет никакой надежды проснуться". Все мое детство было беспокойным сном с полетами, падениями и кошмарами, и когда я повзрослел, ничего не изменилось. Когда он начался - этот сон, - я не помню. Мне кажется, я все время сплю и медленно лечу: одно сменяется другим. Я очнулся впервые в девятом классе, когда умер Яша, и вот с тех пор точно смотрю на себя со стороны.

Ничему нельзя верить - и радость, и печали, и даже боль - все приходит и уходит, а я смотрю и не могу оторваться. И ничто меня не интересует по-настоящему. Даже смерть не кажется мне страшной. Я знаю: умру - и случится то же.

В семнадцать лет я догадался: кайф - это выход. Я - под гипнозом, и не проснуться даже от смерти. Но возможны секунды полупробуждения - от музыки, от разговора, от дряни. Это как будильник по утрам - вскакивай и беги.

Цель системы - качать кайф. Кайф - надмирная работа. Системы растили мастеров кайфа.

* * *

Офелия создала свой стиль: в одежде, в трепах, даже в обкуриваниях. Авоськи следовали ей во всем неизменно и слушались ее. Вместе они составляли группу "Волосы". "Насаждайте волосы повсюду!" - был их девиз. Сами шили себе - ярко, маскарадно, перестали открыто ругаться матом и есть мясо. Изгоняли из речи слова-паразиты "здравствуй", "до свидания", "спасибо". Когда команда обкуривалась, то не гнали телеги, как обычно, а молчали либо рассуждали на высокие темы. Иногда приносили инструменты и играли на них, не умея, конечно.

Потрахаться любила Офелия. Трудно сказать, с кем она не трахалась в своей команде. Всем было двадцать лет или меньше,а она была значительно старше,лет двадцати шести. Ее муж по прозвищу Султан был самым известным гитаристом в Москве. О нем "Голос" передавал, что он в числе десяти лучших гитаристов Европы.

Когда Султана прихватили - у него нашли в рояле полторы тысячи ампул омнапона - Офелия была на суде. Там она все спихнула на него, и ее отпустили, а его признали невменяемым. Он лежал в

Сербского, а потом на Столбовой. Его никто не жалел, потому что он торговал омнапоном и заламывал бешеные деньги.

Между тем у Офелии начался роман с Павлом, который теперь мыл свои сальные волосы и перестал вихляться. Но глаза у него остались такими же мутными, и говорил он так же медленно и гнусаво. Офелия придумала ему новое имя - Ариель. "У меня срыв, - жаловался он уныло, - я с Офелией три дня не факался".

Алена однажды сказала: "Павел был урловым, и мы его к себе не пускали, а потом он стал Ариелем и сделался офелиным фаворитом, и теперь он наш, он - настоящий хиппи".

Когда Ариель шел с Офелией и встречал своих старых урловых друзей, он краснел, конфузился и старался их обойти, а они издали кричали ему: "Пашка, старый чувак, иди к нам!" Тогда он шипел на них: "Дураки, не в кайф, я теперь Ариель". Офелия говорила про него: "из всех людей я больше всего люблю бабочек и цветов".

* * *

О происхождении Пети Ветра ходили разные легенды. По словам одних, отец его был гебешник. Другие говорили, что папа его дворник, что вовсе не исключало первого предположения. Настоящее его имя было Петр Павлович Булдаков.

Это было время, когда пили дешевый портвейн в "Российских винах" напротив почтамта. Петю Ветра всегда можно было там застать, растерзанного и воодушевленного, в компании двух-трех приятелей. Тогда система была единой и не дробилась на подсистемы, а Петя Ветер был ее признанным атаманом. Он же был организатором демонстраций, в том числе самой известной - на психодроме. Как-то урловый человек по прозвищу Боксер воткнул ему нож в живот. Рану зашили, но Петр еще долго ходил потом в расстегнутой на животе рубашке, чтобы все видели шрам.

Стало подрастать новое поколение с новыми интересами, а Петя Ветер так и остался возле "Российских вин" с пионерами - распухший, с грязными волосами. Как-то я встретил его в Столешниковом, замызганного и заросшего паутиной. Он схватил меня за руку и стал жаловаться, что у него день рождения, что он один и не нужен никому и что он даже готов бутылку купить, если кто согласится распить ее с ним. Я согласился, и мы распили бутылку в парадном, а потом посидели на скамейке в Александровском садике. Он много говорил, рассказал, что пишет роман о московских волосатых и что на свете есть только три писателя - Достоевский, Булгаков и Петр Павлович Булдаков. Время от времени он брезгливо цедил: "резервация", при этом урлово сплевывая в сторону.

Стало хорошим тоном не звать его больше Ветром, а называть Булдаковым. А во втором поколении волосатых уже почти никто не слышал про него.

* * *

У Юры Заложника - светлые волосы до подмышек. Высокий, костистый, ходил он зеленом френче керенского покроя с расстегнутой верхней пуговкой и на шее крестик.

Он привел меня в "Ивушку", "Вавилон" и "Русский чай", где собирались волосатые. Согнувшись, ходил от столика к столику, шептал: "Чувак, у тебя не найдется вытерки, меня два дня трясет". Показывал на меня: "Это Костя-пионер". Ввел меня в сленг: "хомут", "косяк", "áскать", "паренцá". Первое означало милиционера, второе - закрутку марихуаны, два последних взяты из английского. Было много названий лекарств и психиатрических терминов.

Заложник считался теоретиком - ему приписывался текст: "Вы отняли у нас все - в школах заплевали наши мозги,в дурдомах закололи нашу память. Но у нас еще остались наша жизнь и право выбирать способ казни. Мы хозяева своей крови и можем делать с ней все, что хотим - отравлять ее наркотиками или поливать ею заборы".

Когда он клеил листовки с этим текстом возле Югославского посольства, за ним увязались хомуты. Он пустился бежать,а когда понял, что его все равно поймают, бросился на землю и заорал:

- Леша, отстреливайся!

Хомуты залегли,повытаскивали пистолеты.Его,конечно, поймали и рукояткой пистолета по голове приписали.С этой истории Заложник стал популярным среди волосатых.

О нем гнали телеги: шел он по Красной площади с букетом маков, а за ним шагали два милиционера и уговаривали:

- Юра, остановись! Юра, остановись сейчас же! Ты же знаешь, что только ты сойдешь с площади, мы тебя арестуем.

Но Юра дошел до центра площади, положил маки на асфальт и лег на них щекой. Собралась толпа, милиционеры стали ее распихивать, и тогда Юра очень медленно встал и ушел.

В другой раз он принес в метро пустую лимонку, доехал до площади Маяковского,дождался, покуда объявили "осторожно, двери закрываются", закричал страшным голосом: "Ложись!!!" - и запустил лимонку под ноги пассажирам. Лимонка закрутилась волчком,все попáдали, уши закрыли - поезд ушел, сам он снаружи остался - положили в дурдом.

* * *

Чернорубашечник темная, скользкая фигура, гнилой человек,непревзойденный мастер по стрелянию - он помнил всех, у кого когда-либо стрелял. Рядом с ним все стрелки были эпигонами. Он по лицу видел, что нужно сказать, чтобы человек раскололся на максимум. Ходил он по городу в рубахе со штампом психбольницы,приставал к прохожим: "Я диссидент, ушел из дурдома, пробираюсь на Кавказ к своим - дайте, сколько можете".

Настоящее его имя было Мафусаил. Маленький татарин, он, однако, говорил всем, что в нем еврейская кровь. Жил он с матушкой, глубокой старухой лет за восемьдесят. В Ленинграде у него была дочка от какой-то девочки - он к ней иногда ездил.

Чернорубашечник не брезговал никаким кайфом: был пьяница, шмыгался маками, закидывался любыми снотворными. Любил поражать контрастом между урловой внешностью и разговорами об астрологии, поэзии. Писал плохие стихи и рисовал миниатюрки.

Рассказывал, что как-то он сел играть в поезде с зеками, проиграл деньги, проиграл одежду, наконец, самого себя. Зеки сбросили его с поезда, он три дня пролежал один в пустыне,а потом пришла женщина - очень короткая, "у которой всё вместе", и она ему рассказала, что пингвины устроили заговор, захватывают страну за страной и скоро завоюют весь мир.

Он приехал с коротконогой Пингвинихой в Москву, прописал ее у своей матушки - и они стали председателями пингвиньего человечества.

* * *

Леша был похож на красивую девочку лет пятнадцати, и потому его звали Лушей, Бетси, Матреной - прозвищ у него было много.Он жил на Лосиноостровской с мамой, тощей, зеленой, с вечным окурком, измазанным помадой. У Леши с мамой был уговор - она в его комнату не входит, а он - в ее. Комната Леши была вся в картинках, а под потолком висел магнитофон без футляра - один мотор - и все время крутил.

Лешин папа, персональный пенсионер, проживал отдельно от них в доме за "Ударником". Папаше было шестьдесят девять лет, когда Леша родился. Он был участником второго всероссийского съезда чего-то - один из тех, кто стал невидимкой и выжил - может быть, просто стукачил.

Леша всегда что-нибудь проповедывал. Темы менялись,а он снова и снова проповедывал. Он был в группе "Волосы" и целыми днями доказывал, что проповедовать, да и вообще говорить, глупо и вредно.

Приятеля Леши звали Бостон. Он был маленький, щуплый без двух передних зубов. Бостон благоговел перед Лешей,заходился перед его картинками: "Ну, это ты, Леша, в кайф, это ты здорово!" Слабосильный Бостон разговаривал обычно на полусрыве,кричал,ругался, грозил проломить всем головы. Как-то, зажмурившись,прыгнул на лешиного обидчика - еле оттащили. Настоящее же его имя было - Саша Матросов.

Бостон носил шапочку с расшитым на ней цветным словом "мат". Когда корреспондент "Тайма" однажды снимал его и записал фамилию, то у него в блокноте получилось: "мат-розов".

Бостон - человек с флэтом, но жил конспиративно - милиция охотилась за ним за тунеядство. Звонить ему нужно было через код: четыре - вешаешь, три - вешаешь, два - вешаешь, после этого Бостон снимает трубку. То же с дверью. Код периодически менялся.

Бостону снились необыкновенные сны. Однажды он убегал по рытвинам от участкового майора Кузякина. Участковый Кузякин долго его преследовал, размахивал пистолетом и кричал: "Врешь, не уйдешь!" Наконец Бостон оторвался, спрятался - там была яма - и столкнул Кузякина в яму, и даже завалил камнями. И вдруг видит: Кузякин лезет из ямы и кричит: "Врешь, дурак, - Кузякин бессмертен!"

Другой раз ему приснилось, что дом его окружен и в комнату к нему вламывается толпа, и тогда он начинает подниматься по

лестнице, неизвестно откуда явившейся посреди комнаты, он все лезет и лезет, проходит потолки, крышу, а лестница все не кончается, и наконец он выбирается на второй этаж, и с этой мыслью, что он на втором этаже жизни, он просыпается.

Как-то Бостон уехал покупать дрянь, раздались условные четыре звонка в сочетании с условленным стуком, ворвались хомуты: "Где Бостон?" Бостона не было, Лешу и еще троих повязали. Лешу тогда избили так, что он неделю потом мочился кровью, и отвезли в дурдом. Бостона, когда он вернулся, тоже положили в дурдом,и это было хорошо, так как против него начиналось дело за изнасилование малолетнего. К нему привязались соседские дети, стучали в дверь,не давали покоя. Он выскочил, снял одному из них штаны и всыпал. Только дурдом спас его тогда от срока. И меня тоже в дурдом упекли перед Никсоном.

* * *

Меня положили в экспертное отделение для урлы. Время было позднее: спать ложились. Вошел я: сидят,телевизор смотрят,в шахматы играют, забивают козла. На стене желтая прошлогодняя газета, посвященная Женскому дню. Палаты без дверей, чтоб никто не запирался. У больных опухшие рожи с одинаковой длины щетиной на голове и щеках. В окне - пустырь и ТЭЦ. На горизонте - корпуса новых районов.

Сначала я боялся, что меня будут обижать,но старожилы успокоили: ничего, живут люди, а ежели ночью душить начнут - бей куда попало.

Население дурдома состояло из дураков и из тех, кто косил на дураков: восемнадцатилетняя урла отвиливала от армии. Ко мне привязался шпион Заурядко:

- Как ты думаешь, что это? - обводя рукой,показал вокруг.

- Дурдом.

- Это школа переподготовки разведчиков, - заверил он меня авторитетно. - Я сейчас из Америки. Меня переподготовят и во Францию пошлют. Вообще я работаю на семнадцать разведок. Ты смотри, никому не говори это. Если скажешь, помни - я чемпион Союза по боксу, так что и урыть могу.

Там жили два старика, Санин и Монин. Когда они засыпали,то храпели в унисон: один вдохнет, другой выдохнет. Санин пугал Мониным:

- Он тебя может ночью разбудить и позвать играть в шахматы. Если будешь поддаваться, он тебя стулом по голове, а если выиграешь - тоже.

Я сказал, что не умею в шахматы.

- Ну, не знаю, тогда сестру зови, минут через сорок прискочит - дожидайся.

Монин же вскакивал и визжал:

- Где моя бритва? Где?

Санин отмахивался:

- Да на месте она - в прогулочной за плинтусом.

Голубой и католик Бехтерев был худ и печален, с хрупкой улыбкой на лошадином лице. Он обещал, что через неделю обратит меня либо в голубого, либо в католика.

Один дурак говорил, что может любую радиостанцию заглушить, садился на пол и сосредотачивался. Другой носки воровал - больничные полуноски-полугольфы - и завязывал их бантиками на своей кровати.

И еще там был дурак, получавший медали от Голды Меир, Сталина и Наполеона. Вся его куртка была в значках. Он ходил и звенел ими. Однажды у него отобрали медали, врач решил - опасно, может расцарапаться, - и он повесился. Несколько дней готовился, приноравливался, как повеситься, - и повесился в уборной - не на простынях, не на полотенцах, а на веревке, которую подобрал на прогулке и сберег. Очень трудно было за что-нибудь зацепиться в уборной, но он все-таки вышустрил.

Сначала мне давали таблетки, но когда накрыли меня на том, что я их под язык закладываю, стали колоть. Я ходил распухший, смурной. По ночам мои ноги и руки разрастались и становились слоновьими. Язык плохо слушался меня и производил неожиданные звуки.

О Дыркаче говорили, что он умел проводить через себя лекарства и выводить, ничего не принимая. Как-то жлоб санитар устроил ему лошадиное испытание - дал выпить бутылку чернил, чтобы проверить, владеет ли он своими органами. Дыркач выпил и не отравился. С тех пор его оставили в покое, и он сидел на кровати, подобрав ноги, лицом к стене, даже на прогулки не ходил и ни с кем не разговаривал - кроме меня.

- Ты что сидишь? - спросил я его однажды.

- Ищу щель.

- Какую щель?

- Между сном и бодрствованием, - ответил тот и накрылся одеялом.

Я сразу понял, что он не дурак и не косит на дурака - следовательно, из двух основных дурдомовских категорий он выпадал. Кто же он? Я твердо решил расколоть Дыркача.

Когда все ушли на ужин, я подсел к нему на кровать. Разговор был похож на перекидывание шаров: раз - два.

- Что такое сон?

- Ступень.

- А не сон?

- Другая ступень.

- А где щель?

- В центре мира.

- Как к ней выйти?

- Будь.

- Что значит быть?

- Быть достойным.

- Какой может быть внешняя реализация?

- Не имеет значения.

- Как найти учителя?

- Он найдет тебя.

- Но что такое сон? - спросил я снова.

Статуя шевельнулась, Дыркач отбросил одеяло, в глазах его появились стремительность и упругость.

- Это гипноз, - сказал он, откидываясь и прислонившись к стене, - и нельзя проснуться. Шок действует, как будильник. Проснувшись, ты на мгновение видишь и можешь выйти из круга. Но нельзя вечно кататься на одной и той же лошадке. Надо сменить систему. Старый шок во второй раз действует вполсилы, а потом и вовсе отказывается работать. Спящий привыкает к дребезжанию, будильник больше не будит. Тогда начинается поиск новой системы. В конце концов - все системы бессильны перед сном.

- Что же делать? - спросил я, боясь, что он больше ничего не скажет.

- Надо найти друга и искать вместе с ним. Если посчастливится - найдешь. У двоих больше шансов проснуться. Но и двое впадут в сон, если нет третьего, чтобы будить двух заснувших.

- И тогда?

- Группа друзей, - продолжал Дыркач, понизив голос, отчего слова звучали еще резче и категоричней, - группа людей может договориться будить друг друга. Какое-то время это будет работать, пока все они не заснут окончательно,видя во сне,что они не спят, что борются со сном и помогают друг другу. Мало кто догадывается искать человека, который может спать или не спать по своему желанию.

- Но как узнать пробужденного? - прошептал я.

- В редкий миг ясности дается увидеть такую возможность и успеть решиться. Ты должен отдать за этот шанс все,и тогда появится надежда. Ты сможешь увидеть свою ложную личность - главное препятствие. Ты должен сам распознать ложное "я" - тогда ты вступишь в работу. Ну, будет с тебя. - Дыркач закончил так же стремительно, как и начал. Подобрал сползшее одеяло и превратился в истукана, закинув голову и отвернувшись к стенке...

Когда Никсон уехал, меня выпустили из дурдома и мама повезла меня домой на автобусе. Резкий уличный свет, гам и скрежет так меня оглушили,что я стал просить ее отвезти меня обратно в больницу. Мама держала мою руку, смотрела в окно и плакала.

* * *

Мы отправились с ребятами бродяжничать. Ехали автостопом по двое с уговором встретиться. В Бельцах мы набрели на интернат для слепых детей,сказали завхозу: мы студенты-ботаники, изучаем маки и другие лекарственные растения. Та засомневалась - "директор в отпуске, не могу взять ответственности", - но все же поселила.

Время было роскошное: мы сидели князьками в спортзале,аборигены носили маки, дети - бутерброды, мы открыто готовили отвары, мазались, а вечерами ходили бесплатно на ужин. Но вернулся из отпуска директор, и нам пришлось распрощаться с интернатом.

Тогда мы устроились в общежитии сельскохозяйственного института. Сказались артистами из Москвы, поджидающими труппу. Директорша сомневалась, спрашивала документы, боялась неприятностей. На прощанье все же не удержалась и попросила автографы.

Уехать пришлось из-за Чернорубашечника. Он круто подсел на маки и превратился в типичного наркомана из медицинских учебников. Он ездил в паре со своей Пингвинихой - короткой, толстой и говорящей басом, - она Чернорубашечника очень любила и опекала. Утром они шли резать маки - он лежал, а она резала, потом они шли домой, и он мазался. Он был жаден, старался всех обкроить, клянчил вторяки. Вмазавшись, падал на пол, и непонятно было - умер он или нет. Пингвинихе он разрешал мазаться только вторяками, да и то она долго перед этим его просила, чтобы он позволил. Весь день он спал, вечером просыпался, вмазывался вторично, ходил, ругался, скандалил, клянчил, орал на Пингвиниху - та безропотно все сносила. Ночью он вдруг врубался пойти на хлебозавод просить хлеба - и шел, купался голый в парке.

Львов был краем непуганых идиотов. За нами ходили толпами местные хипы, смотрели в рот, повторяли каждое слово. Однако урла, почувствовав конкуренцию, искала реванша, грозила заставить нас вымерить городской мост спичечным коробком.

В Ужгороде в первую же ночь мы познакомились с человеком, который обещал нас устроить: "Если ничего не вышустрите, приходите к автобусной остановке. Я вас устрою". Я нашел парадняк, но Чернорубашечник потащил нас всех на остановку, там рядом отделение милиции оказалось. Нас сразу всех захомутали: "Я вас устрою" заложил. В милиции я сказал, что учусь на факультете журналистики, пишу дипломную работу о жизни простых советских людей, что у меня на почте перевод, что почтамт закрыт (обыскав, нашли 16 копеек и удивились, как можно путешествовать с такими капиталами), что я знаю английский язык.

- Ах, так - ну мы тебя сейчас проверим!

Привели мужика лет сорока с большим отвислым животом. Он говорит:

- Скажи - как это, к примеру, по-английски будет: я хочу есть?

Я сказал. Лицо у того вытянулось, он подошел к дежурному и шепнул:

- Действительно знает.

Решили проверить сумки. Там были три ампулы глюкозы, машинка и целлофановый пакет с маковыми головками. Я стал вытаскивать вещи, перечисляя вслух:

- Это мой шприц. Это моя глюкоза.

- Ага! Наркоман!

Я очень обиделся:

- Какой я наркоман! Я больной человек, у меня гастрит: когда я не могу есть, я колю себе глюкозу. Если не верите - вот у меня дырки. - На локтевом сгибе у меня всегда были дырки от уколов.

Они говорят:

- Ну, ладно-ладно, ты не обижайся. Но это (на маки) - это, наверное, наркотики?

- Какие же это наркотики! Это маки. Я пью их от желудка,когда у меня болит живот...

Когда нас отпустили, эксперт по английскому языку вывел нас на крыльцо и сказал мне, виновато топчась:

- Ты, парень, не обижайся, но если ты наркоман, то лучше брось - вредно для здоровья.

- У-у, битлоганы! - обозвала нас перекошенная от ненависти старуха, когда мы на другой день уезжали из Ужгорода.

* * *

Рассказывают историю, похожую на телегу, но правда. Жил человек по прозвищу Слон. А в России растет много маков, и с ними можно делать все, что угодно. Однажды он выбрался на глухую станцию резать маки. Только нарезал, сварил опиуху и начал мазаться - пришли хомуты, повязали его и стали издеваться:

- Шиз! Дегенерат! Волосатик!

Тогда Слон встал в позу и заявил: я зарегистрированный наркоман, мне врач прописал наркотики, но мне их не хватает, и я режу маки. Будете надо мной издеваться - скажу папе. Милиционеры испугались, позвонили в больницу, приехал врач с тремя ампулами омнопона. Вмазали ему все три ампулы и с честью выпроводили, только, говорят, в город к нам не езди.

Обычно начинали со снотворного, с какого-нибудь димедрола - полпачки, пачку, две. Я стадию димедрола не прошел и очень этим гордился: от него тяжелая тупость. Была смешная история в Киеве: парень вошел в аптеку и спросил димедрол, а ему говорят: да ни, нимае, усе хипы поилы.

После димедрола начинали есть седуксен, эанокрин, ноксирон, а также все снотворные барбитурного ряда: барбамил, фенабарбитал и другие - одним словом, барбитуру. На этой же ступени начинали курить дурь: план, паль, анашу - грубо просеянный гашиш (пыльца с конопли) - и марихуану (листики протертые). Вся старая система прошла через барбитурную стадию и застряла на седуксене.

Димедрол - это антиаллергетик с побочным снотворным эффектом. Если в больнице дают антидепресант, то от него бывают сильные судороги, потому нужен и циклодол как корректор. Но если циклодол есть отдельно, то бывают яркие галлюцинации. Ноксирон же едят, как седуксен, - закидываются от пяти и больше. Тогда они перестают усыплять и начинают действовать по назначению.

Однажды - я тогда уже учился в институте - мы вместе с Аленой наелись седуксена, ходили и блаженствовали. Она украла из столовой пять яиц - я спросил: зачем? - она сказала: подожди - увидишь. А когда мы вышли, она стала бросать яйца в институтскую стену и, бросая, приговаривать: вот зачем! вот зачем!

Вся Рига остановилась на циклодонной и эфедринной стадии. Циклодонщиками были все старики: солидные мужчины лет сорока.

В рижских аптеках не было циклодола, зато с кодеином было хорошо. Все ездили в Ригу с циклодолом и обменивали на кодеиновые таблетки - колеса, калики.

Была парочка Юра Циклодол и Володя Седуксен. Их прихватили, и они стали "калики перехожие", видно пошли по лагерям, потому что в дурдомах их не обнаружили.

Тот, кто проходил седуксеновую стадию - если проходил,потому что застревали на всех этапах, - переходил к кодеину с ноксироном, и тогда проявлялся подлинный смысл ноксирона. Если на пять кодеинин брать одну ноксиронину, то кайф получался красивый и чистый, как китайская гравюра.

Однажды надо мной жестоко пошутили. Маковый сезон закончился, дырок новых я еще не вышустрил, а старые закрылись. Тогда я пошел к знакомому врачу - тот мне дал фентопил. Я вмазался в задницу - я от кого-то слышал, что если вмазать в мышцу, то выходит красивая кодеиновая таска - и поехал на день рождения к Алене. И вдруг спина моя ушла назад, а шея вперед - меня всего скрутило.

Все вокруг загалдели:

- Волосатый! Волосатый! Припадочный!

Столпились, одни мою голову держат, другие - спину. А у меня язык вываливается, я его пальцами стараюсь запихнуть обратно в рот. Пришел хомут:

- А-а, наркоман!

Однако публика за меня вступилась:

- Ты, что, не видишь - человеку плохо. У тебя, милиционер, сердца под шинелью нет!

Приехала неотложка, повезли меня. В неотложке у меня снова язык вываливаться стал. Врач говорит: "Что с тобой - наркотиков наглотался?" Я: "Нет". Посмотрел врач зрачки и говорит: "Проверь, ты не обмочился?" - "Нет". - "Потрогай!" - "Да нет же!" Тогда он говорит: "Закрой глаза и попади пальцем в нос". Я сделал, что мне сказали, и попал в грудь. "Дайте я еще раз попробую". Попробовал опять и - в живот. Врач пожалел и дал мне седуксена. Стало легче: крутило, но язык не вываливался. В больницу не повезли, отпустили домой.

Около дома встретилась знакомая урла:

- А, хипарь наш идет - ишь, наркотиков наглотался,небось не сладко?

- Ох, не сладко.

И те не стали бить.

* * *

Где-то между седуксеном, кодеином и циклодолом начинали шмыгаться - курение дури продолжалось на всех ступенях. Пройдя низшие ступени, человек выходил к благородным наркотикам, а все остальные отсекались. Оставались - дурь, опиаты и кокаин.

Опиаты - это кодеин, морфин, фентопил,ну и конечно, самодельный опий из маков. (Фентопил - венгерский препарат,его дают с дреноперидолом перед операцией, чтобы больной не волновался).

Есть несколько технологий для получения самодельного опия. Все зависит от того, воруешь ли ты маки или вольготно режешь - когда свои маки, то много времени. Свои маки можно использовать несколько раз прямо на корню, не срезая. Проводишь надрезы - один основной и несколько беспорядочных - и идешь к другому маку, а потом, когда надрезал много, возвращаешься к первому и осторожно бритвочкой снимаешь загустевшую капельку. Капли белые, желтые, розовые - очень красиво!

Если же воруешь - выдергивай цветок с корнем. Сам цветок не имеет значения, главное - это головка. Лучше всего, когда лепестки опали и остался голый бутон. Уносишь его в безопасное место, бритвой срезаешь головку и оттуда выдавливаешь несколько капель молока. Собираешь на стеклышко или на ватку, пока все стеклышко не будет покрыто капельками или не пропитается ватка. После этого жаришь над газом аккуратно (потому что стеклышко лопается), пока слой не покоричневеет. А ватку заворачиваешь в папиросную бумагу - золотце - и греешь, пока она не потемнеет тоже.

Если любишь жесткий приход - круто обжариваешь, если мягкий - слабо. После соскабливаешь корочку в пузырек из-под эфедрина и заливаешь кипяченой водой - кубик или два. Кипяченая чище - меньше шанс заражения крови. Если же попадет грязь, бывает заражение крови - трясет, а кипяченую воду можно в любом доме попросить.

Заливаешь и кипятишь. Кипятишь обычно три раза. Поднимается, как молоко. Тогда встряхиваешь и кипятишь второй раз. Третий раз. Потом наматываешь кусок ватки на иголку, всасываешь через ватку в шприц и - готово к употреблению.

Обычно маки выращивают на приусадебных участках. Однажды я набрел на участок, одна половина которого была в маках,другая - в конопле. Вышла бабка, заголосила:

- Москали пришли, все отбирают!

Я ей:

- Бабка, а зачем тебе маки?

Она смутилась, говорит: то да сё.

- Для пищи, что ли?

- Да, - говорит, - для пищи.

- А конопля для чего?

- Да для того же.

В другой раз мужик вышел и говорит:

- Не дам вам. Мне они нужны для того же, для чего и вам, - и показал всю руку исколотую.

Ходила легенда о городе под названием Не-в-кайф-обломовск. Где-то он находился между Москвой и Ленинградом, или Ленинградом и Таллином, или между Новгородом и Псковом. В этом городе одни пивные и аптеки: пивная - аптека - пивная - аптека... Шофер всегда высадит в центре города, и долго потом из него выбираться. Там всюду растут маки и конопля, но маки декоративные, а конопля будто нормальная, но как ее нарвешь и посушишь и покуришь, голова начинает болеть. Бежишь в аптеку за кодеином: в аптечных окнах большие надписи: "Всегда в продаже кодеин без рецептов". Но когда съешь кодеина, оказывается, что в таблетке ко-

деина почти нет, а одна гадость, от нее тебя сразу начинает полоскать. Как только тебя начинает полоскать, так тут же все пролетарии на тебя сходу набрасываются, обливают пивом из кружек, бьют, крутят руки и отправляют в деревню Короедово по тропинке, заросшей крапивой и лебедой, а где эта деревня - никому не известно, и что там делают - неизвестно, но оттуда никто никогда не возвращался.

* * *

Система дала мне идею выхода из круга повторений, но не научила, как удержать кайф, сделать его постоянным. И не потому, что кайф - это радость, нет. Кайф - это правдивая жизнь и долг, а все остальное - ложь.

Трудно возвращаться - домой к Дарье, мычащей перед телевизором, к проповедям деда, к отводящей глаза маме, в комнату в скатерках, занавесках, оборках - чувствовать усталость и ничтожность. Трудно оставаться в системе, которую перерос.

Я взял из системы все, что мог. Я видел ее расцвет и разложение. Ее плоды гуляли по улице Горького и проспекту Калинина, торчали на "плешке" и "психодроме", сидели в "Аромате" и в "Ивушке", стреляли у перехода на проспект Маркса. Юра Заложник переходил от столика к столику и клянчил "вытерки", Бостон шил штаны и придумывал телефонные коды, Чернорубашечник раскалывал на пятаки своих и чужих, Ариель ходил с Офелией, Леша поливал Офелию, а Петр Павлович Булдаков по-прежнему ошивался возле "Российских вин", объясняя пионерам, что в России есть только один писатель - Петр Павлович Булдаков, который потрясет человечество своими мемуарами, когда они будут написаны.

Аркадий Ровнер (1940 г.) окончил в 1965 году философский факультет МГУ. С 1974 года живет в Соединенных Штатах, преподавал в университетах, работает над диссертацией по восточной патристике в Колумбийском университете. Пишет стихи, прозу, статьи, печатался в "Новом журнале", "Аполлоне-77", сборнике Питтсбургского университета "Русская религиозная философия XX века", "Оккультизм и Иога" и др. В 1975 году напечатан сборник рассказов "Гости из области", воссоздающих неожиданный ракурс московской жизни - перипетии духовного поиска, ситуации встречи с учителем, испытаний и помощи на пути. С 1978 года издает русско-англоязычный философский и литературный журнал "Гнозис", работающий с идеей синтеза. Публикуемый отрывок "Система" - глава из недавно законченного романа "Калалацы", первая часть которого печаталась в "Гнозисе" 3-4.

Алексей ЦВЕТКОВ

ПИСЬМА НА ВОЛЮ

ИЗ КНИГИ СТИХОВ

* * *

зачем луны румяный овощ
поет усталым голоском
и от семьи какая помощь
в большом запое городском
там гегемон как некий голем
живет единым алкоголем
с радиоточкой и котом
но он страдает не о том

в окне свирепствует европа
сквозные улицы пусты
уже какого-то укропа
готовы целые кусты
немногословные собаки
едят скелетики салаки
прохожий занялся грехом
на детской девочке верхом

напрасно девочка умрет
кирпичный дым над миром замер
на крестовину ставни запер
труда чрезмерного урод
портвейна временный правитель
и пьяный кот его приятель
с радиоточкой молодой
рекордный помнящей удой

* * *

как я выгляжу серьезно
отражаясь от воды
все лицо мое серозно
вроде узника орды
то ли жизненные соки
скифский холод прихватил
то ли таллиевой соли
с угощеньем проглотил

крепко спит мое либидо
как в торосах колыма
знать была ему обида
от чрезмерного ума
просыпаюсь в сильном горе
прямо в ванную ползу
где лицо мое нагое
опрокинуто в тазу

тяжко жить голуба люций
без внимательных подруг
от младенческих поллюций
до приаповых потуг
то ли резвого мальчонку
для острастки завести
то ли с горя на мошонку
нож кухонный занести

* * *

уже и год и город под вопросом
в трех зонах от очаковских громад
где с участковым ухогорлоносом
шумел непродолжительный роман
осенний строй настурций неумелых
районный бор в равнинных филомелах
отечества технический простой
народный пруд в розетках стрелолиста
покорный стон врача-специалиста
по ходу операции простой

америка страна реминисценций
воспоминаний спутанный пегас
еще червонца профиль министерский
в распластанной ладони не погас
забвения взбесившийся везувий
где зависаешь звонок и безумен
как на ветру февральская сопля
ах молодость щемящий вкус кварели
и буквы что над городом горели
грозя войне и миру мир суля

торговый ряд с фарцовыми дарами
ночей пятидесятая звезда
на чью беду от кунцева до нары
еще бегут электропоезда
минует жизни талая водичка
под расписаньем девушка-медичка
внимательное зеркало на лбу
там детский мир прощается не глядя
и за гармонью подгулявший дядя
все лезет вверх по голому столбу

вперед гармонь дави на все бемоли
на празднике татарской кабалы
отбывших срок вывозят из неволи
на память оставляя кандалы
вперед колумбово слепое судно
в туман что обнимает обоюдно
похмелье понедельников и сред
очаковские черные субботы
стакан в парадной статую свободы
и женщину мой участковый свет

* * *

какие случаи напрасные везде
недоумения пехотные окопы
и нет у лошади советчика в езде
ни у неясыти наставника охоты

бывало паузу в песчанике проешь
себя же в задницу коленями толкая
но остановишься и некуда промеж
раз по бокам фортификация такая

врубают стерео в моторе ток силен
мослы текинские в старорежимном ворсе
окликнешь кореша из сумерок семен
и ждешь уверенный а он григорий вовсе

совиный выводок молочный коридор
стожары высветили лопасти ушные
что за умора что за камень-конемор
не описать какие случаи смешные

все передвинуто не помнит прошлых мест
под током трещина считает обороты
а тело теплится кромешный камень ест
и жить дрожит и держит ножик обороны

* * *

пока переживать созданию не больно
наследным недорослем после дележа
безмолствует оно и думает невольно
взволнованную речь на привязи держа
в свистящем воздухе пасется мышь слепая
подводный крокодил мелькает на волне
но в центре трех стихий по камешкам ступая
уже не вовсе зверь еще не бог вполне
кругом торжественные ангелы и гады
мигают нимбами и пресмыкнуться рады

помедлит возгордясь на разводном мосту
тюльпан затеплится в петлице вицмундира
где время празднует на пристани мортира
с цветком на лацкане с безмолвием в мозгу
любезный воздух мой и ты моя вода
и гад заоблачных ненужное летанье
невидимых камней подземная война
все передано мне в удел и пропитанье
который на мосту от радости стою
то речь проговорю то музыку спою

так думает оно пересыхая в шепот
а ночь его сестра как неизвестный негр
с подследственных небес свергает звезды в штопор
и магменный язык зовет из древних недр
но существо не замечает эту гостью
и переходит мост постукивая тростью

* * *

в тесноте нефтеносной системы
не имея товарной цены
деликатные птицы свистели
аккуратные травы цвели
в середине иного куплета
бронебойные шершни вокруг
простирали к начальнику лета
шестерни одинаковых рук
лопасть света росла как саркома
подминая ночную муру
и сказал я заворгу райкома
что теперь никогда не умру

в пятилетку спешила держава
на добычу дневного пайка
а заворг неподвижно лежала
возражать не желая пока
ей понятно устройство системы

реактивное небо над ней
а кругом духовые секстеты
подгоняли движение дней
но земля ликовала уликой
в трансцендентном просвете окна
и одной осторожной улыбкой
никогда повторила она

* * *

пока страна под мерином худым
разводит ноги до кровавых пятен
мы до инцеста любим отчий дым
и труп отца нам сладок и приятен

сограждане содомляне орлы
закладывайте мерина в поездку
не то как раз президиум орды
поставит в кулинарную повестку

пленарный завтрак всех колен и рас
содружество портвейна и солянки
трубит оркестр прощание славянки
с евреями по счастью в этот раз

державный смотр охочим иокастам
играй в штанах могучий кладенец
пока славянка стонет под оркестром
и красного в стакане по венец

* * *

в итоге игоревой сечи
в моторе полетели свечи
кончак вылазит из авто
и видит сцену из ватто
плашмя лежат славяноруссы
мужиковеды всей тайги
их морды пристальные босы
шеломы словно утюги
повсюду конская окрошка
евреев мелкая мордва
и ярославна из окошка
чуть не заплакала едва

кончак выходит из кареты
с сенатской свитой и семьей
там половецкие кадеты
уже построены свиньей
там богатырь несется в ступе
там кот невидимый один

и древний химик бородин
всех разместил в просторном супе

евреи редкие славяне
я вам племянник всей душой
зачем вы постланы слоями
на этой площади большой
зачем княгиня в кухне плачет
шарманщик музыки не прячет
плеща неловким рукавом
в прощальном супе роковом

* * *

невесомости местный повеса
в стратосферу свободный прыжок
кругосветный шиповник прогресса
огоньками пространство прожег
подо мной жестяные коробки
городов световая икра
этот вздох этот воздух короткий
покидать мне пока не пора

там где ветхая осень пожару
подвергает орех и ольху
только медленно падать пожалуй
остается вещам наверху
над шиповником дальнего крыма
после принятой дозы вина
звуковая сигнальная рыба
просвещенному глазу видна

перелетные лопасти клином
бортовые огни на корме
и кому в этом времени длинном
в неизбежном признаться уме
как ненужный предмет говорящий
осмотревший орешник горящий
я сорвусь безусловной зимой
в этот год в этот город немой

Алексей Цветков покинул Советский Союз в 1975 году и в настоящее время живет в США. В последние годы опубликовал несколько подборок стихов в русской зарубежной переодике, а также книгу стихов "Сборник пьес для жизни соло" в издательстве "Ардис".

Елена ЩАПОВА

ПЯТЬ МОНОЛОГОВ ДЖОАНА ХАЙЦА

Какая удивительная жирная дверь? -

подумал Джоан Хайц и, размахнувшись, со всей силой ударил по ней ногой.

В длинной и узкой комнате стояла длинная узкая кровать. Тишина была настолько навязчивой, что Джоан кашлянул, и в ответ
что-то черное зашевелилось на длинных веревках, которые
были протянуты по всему потолку.
Приглядевшись, Джоан увидел, что это были черные прозрачные чулки, которые висели в великом множестве и имя которым было соблазн.

Но сейчас, не наполненные мясом, они походили на тонких призраков, что пугают, когда светит яркое солнце, своими странными идеями о неизвестном.

Раздвинув тонкую, кое-где чуть влажную паутину, Джоан вышел на середину комнаты и произнес следующий монолог:

первый монолог джоана хайца

Я жил тридцать семь лет среди нарисованных мною полотен, и я видел только яркие краски и черные пятна на грязном полу,

и сотни женщин засовывали свои любопытные головы в двери.
Но я говорил им - Захлопните двери!
И они захлопывали бритвенные двери, да так быстро, что их окровавленные головы подкатывались к моим картинам.

Я брезгливо брал их за слипшиеся волосы и складывал их головы в корзины для бумаг.

А когда солнце опускало свой жирный зад на то, что называется миром, приходил ко мне неудачливый медбрат Володя и уносил эти головы в старых грязных портфелях.

Что делал он с ними?

Конечно, вываривал мясо, а черепа расставлял по полкам.

Они заменяли ему книги и статуэтки и даже миску для супа.

Этот русский Володя очень странный товарищ.

Но вчера я увидел ее в желтом платье с зеленой подругой.
Я лишь только подул на нее, и она убежала с испугом.
Куда?
Я нашел ее след на картинах Шарло и Бравуро.
Я смотрел очень пристально в эти большие глаза.
Я люблю ее, как лишь могут любить умерших.
Я убью ее, как убивают живых.

Джоан закончил странный монолог
И, возведя глаза под потолок,
Сжав узкий рот,
Из узкой комнаты бежал.

второй монолог джоана хайца

Джоан Хайц сидит на прозрачном кубе, в руке держит прозрачный чемодан.
Все совершенно-совершенно реально,
и вспоминает
тяжелое детство, две операции на сердце и печени, свою мать, сделанную из горя, и отца из огромного мяса.

второй монолог джоана хайца

Вчера я плыл на длинном корабле
По улице, лиловой от сирени,
Я звал ее, я в странном был волненьи,
Весь поиск, весь надежда и любовь.

Я видел мальчика, похожего на кошку.
Он был кастрирован и бегал от людей.
Они ж в него бросали яйца,
И тухлые, и свежие, различные по весу и природе.
Там были яйца страусов и змей,
И черепашьи тоже были яйца.
Там были яйца и царя зверей,
Умерших королей и президентов.
Там были яйца мертвых континентов.

А сколько было крошечных яиц...

Они наверное убьют его попозже.
Но мне какое дело - я ищу ее.
А ночь совсем, совсем уж поседела.
Мне нужно спать хоть час,
иначе не найду.

третий монолог джоана хайца

Я спал.
Наверное, как будто стало тише
в моей больной упрямой голове.
Кузнец работает над сломанной подковой.
И все-то норовит он сделать новой
то, чему починки нет.
Но все же это странное свеченье.
Я вижу, вижу странный свет в окне...

О, хищный свет ползет все ближе, ближе,
сквозь щели, сквозь оконное стекло,
он вполз сюда,
он хочет моей смерти.
Но нет, еще не время, я не нашел ее!

И быстрым движением Джоан Хайц спускает черную штору.

- Но где же мне ее искать?
В саду под пьяными кустами
иль на базаре, под тоннами антоновских плодов,
иль, может, прячется она у ишаков,
что выстроены плотными рядами,
что машут хрящеватыми хвостами

и землю бьют тяжелыми ногами
и воду из арыков пьют.

- Но нет, я хитр, искать-то надо здесь,
в молочной комнате, в стеклянном чемодане.

Я в детстве так нашел свое призванье
- чудесный карандаш графита.
И я стал знаменит,
и карта была бита,
но мать моя рыдала от чего?

От счастья! так ведь сильно, сильно плачут,
а после был салат нежнейших авокадо
и платье - карусель.
И дочки Аминадо.

четвертый монолог джоана хайца

Устал я здесь, болит спина и шея.
Я не нашел, неужто не найду?
В какую же страну мне ехать с топором,
Где женщины, заместо их младенцев,
В тончайших кружевах и полотенцах
Качают на руках тяжелые машины

И колыбельную о птицах им поют.

Неужто там она гуляет в серебристом
и вся звенит-звенит в зеркально чистом...

И напевает тонким голоском
о том, что сделает когда-нибудь потом.

Послушайся, приди ко мне сама.
Мы поиграем в гордые слова,
И я куплю тебе большой-большой колпак.
Ведь мама и меня растила так.

пятый и последний монолог джоана хайца

Сюда идут.
Я слышу их шаги.
Но не открою ничего, хоть тресни.
Теперь я счастлив и нашел ее.
Теперь вся жизнь стоит на твердом месте.

Она моя, мазурка и духи,
ее глаза - летающие мухи.
Я платье задеру ей до зари
и буду целовать испуганные руки.

Она моя -
ее нашел я там,
где свален был ненужный старый хлам.
Она лежала на чудесных волосах.
Она спала и видела мой страх.

Я подошел и вытер ей лицо.
Она мне улыбнулась, как лисица.
И я надел ей тонкое кольцо
И со щеки поднял ее ресницу.

А после я купил ей молока
И груш, и слив, и свежего вина.
О Боже, как же барабанят в дверь!
Ее хотят отнять теперь,
Когда я полон счастья.
Но нет уж, нет.

Хватает топор и отрубает голову старой грязной кукле цвета фламинго.

Да здравствует же светлый цвет!
Я победил засаленный ваш мир.

Открывает окно и бросается вниз.
Влетевшие санитары смотрят на куклу с отрубленной головой.

Виктор ТУПИЦЫН

ДВА ПРОЛОГА
КОМЕДИИ ДЕЛЬ АРТЕ

ТРОЙКА, СЕМЕРКА, ТУЗ

Я с Музою не игрывал уж год,
с колодою рука дружней, чем с лирой.
Вл.Ходасевич

ВСТУПЛЕНИЕ К ПРОЛОГУ

О, первый снег творения, - люблю!
(дыхание на миг остановлю):

в исподнем
повседневное сегодня
кавдорским таном ломится во двор, -
звенит небес фаянс, хрусталь, фарфор, -
пушнина бредит стужей новогодней,
поет перо в тоске по журавлю -

(дыхание на миг остановлю):
О, первый снег творения, - люблю.

Действие происходит во дворике полуразрушенного особняка среди свалки гипсовых копий античной скульптуры. Вечер, дождь, облака... Голоса за кулисами, в спальне графини различаются так же отчетливо, как и на сцене.
В толпе героев и олимпийцев - Герман (сих статуй мрачный соглядатай).
В руках у Германа голова Посидона, в котором он видит сообщника.

ГЕРМАН: ...Пейзаж. Свинцовый карандаш:
о праздник выдумок!

(падает в лужу, ниц перед олимпийцами): - Разгневанные обнаженные,
подайте -
душе, припавшей к вашей наготе!

(встает совершенно мокрый): - Брр, как холодно воде в воде...
...Когда угаснет
натюрморт светил,
Я буду Р а,
я буду рад зарыться в ил
или мел,
передавать из уст в уста
места,
одновременно с вокруг
и с уличным знакомством... от Матфея -
в самом себе я больше не сумею,
с самим собой мне больше не резон.

(пожимает руку Амфитриону - единственное, что от того осталось): - Приятных снов тебе, Амфитрион!..

(в то время как Герман совершает паломничество к останкам гипсовой Гипсипилы, в спальне, за кулисами - Лиза-Лизе-Лиз и графиня комментируют соответствующий киклический сюжет):

ГРАФИНЯ: Припомни, Лиз, каприза из -
Лемнóс, едва Мирины близ
явилось стадо племенных минийцев.

ЛИЗА *(со значением)*: - С лица Творца воды не пить, -
на падаль падкая, идет на убыль удаль.

ГЕРМАН *(со сцены)*: - В краю низкопоклонных трав
пасись, млекопитающая утварь!

ГРАФИНЯ: - Порой мне кажется, что я живу в реке,
часами стоя на одной ноге,
как цапля,
не знаю, право, сон ли это, явь ли.
...Кстати, моя бабушка была птицей,
летала над древней Грецией,
питалась корицей.

ЛИЗА: - Она была курицей?

ГРАФИНЯ: - Воровала овалы на греческих улицах,
и поплатилась за это:
ее отнесло ветром на полтора метра правее утра,
с тех пор - для нее наступил вечер,
она пудрила пудрой лицо и плечи
и вела жизнь, полную вычур.

ЛИЗА: - А мой дедушка - был ящер, п т ѐ р о...

ГЕРМАН: - Голова из фанеры!

ЛИЗА: - Дурак! - завр, зуав, гренадер, кирасир
императорской гвардии,
носил мундир
р о г о в о й,
состоял в партии, но не в той...
имел хвост и пару копыт,
был убит
в сражении за карликовый идеал и ...нам
завещал,
чтобы никто из нас в обществе не икал в бокал,
а также не играл (смотрит на графиню),
не играл в карты, п л ю с ...

ГРАФИНЯ (*громовым голосом*): Т Р О Й К А, С Е М Е Р К А, Т У З ! ! !
(*в эту минуту за кулисами появляется Герман, в руках у него голова Посидона*)

ГЕРМАН: - Прошу прощения, графиня,
но я стрелял не в ту графиню,
позвольте повторить, вот - пистолет!
(*потрясает Посидоном*)
ГРАФИНЯ: - Увы, мой друг, прощенья нет -
тому, кто целится не в то, -
не в то единственное сердце,
и посыпает раны перцем
не той, которая - Судьба,
какая низкая стрельба!
Ступай домой, не морщи лба,
не вижу боле интереса,
закончена и эта пьеса.

ЛИЗА: - Герман падает в кресло, на губах его - пена,
лицо цвета Темзы,
Луары
и Сены...

К О Н е Ц

Занавес поднимается, на сцене появляются два Германа, они прощаются:

ПЕРВЫЙ: - Всего вам доброго, графиня!

ВТОРОЙ: - Приятных сновидений, Лиз!

ВАННИ ФУЧЧИ или МОНОЛОГ ВТРОЕМ

Не хотите ль бифштекс из сердца,
...не к этому случаю сорванного...

(I-ое – *Ростан*, 2-ое – *из "Скорбных песен"*)

вступление

Хочу певца схватить за голос,
поймать горящего за пламя,
хочу покойника за возраст
и знаменосца взять за знамя,
хочу у пса погладить верность,
обнять за милостыню нищих,
хочу влюбленного за нежность
и палача за топорище,
хочу фрегат поднять за снасти
и за волну потрогать море,
хочу счастливого за счастье
и несчастливого за горе,
хочу в день казни на рассвете
с галерки птичьего полета
лорнировать искусство смерти
на карликовых эшафотах.

Каладриус – птица альбинос. Врачи прописывают ее смертельно больным. Если Каладриус отвернется от умирающего, то бедняга наверняка обречен.

(Из средневекового Бестиария)

Действующие лица: Доктор, Пульчинелла (оба за сценой) и Я (на сцене). (При получении ответа на вопрос - героям рекомендуется затыкать уши). Роль Доктора исполняет Маркантонио Романьези (Венеция).

Доктор - в адвокатской мантии
Пульчинелла - в маске дзанни.

Круг действия - Нескучный сад, Венеция, барроко парков, фонтаны, оперенье льва на знамени Святого Марка...

Утро. Сцена Зеленого Театра, по которой движется Я, читающее стихи. За кулисами появляются Доктор и Пульчинелла, они слушают Я.

Я: - гарцует время на лошадке вечности,
грудному самозванцу чистят перышки,
и в пыльной альбе девочка сомнамбула
выкрикивает птичьи имена...

ПУЛЬЧИ: - и клички насекомых. Дамы в яблоках, -
за ними на пуантах - "Ванни Фуччи,
зверь из Пистойи, лучшей из берлог",[x]
когда судьба в руках у ног,
любая тварь немного мотылек, -
не так ли, милостивый государь?
...Мм-да. Открывает рот овца,
но не слышно ни словца.

ДОК: - Ничего мне не надо, ничего мне не надо...

ПУЛЬЧИ: - Кроме?

ДОК: - кроме этого сада и пепельной музыки
вербы...

ПУЛЬЧИ: - Не хотите ль
бифштекс из зебры?
или... блюдо из сердца,влюбленного в вас...
представьте себе... кровью налитый глаз -
красный, как помидор, -
перед вами бык!

ДОК: - Вы, должно быть, тореадор
или мясник...

ПУЛЬЧИ: - Не совсем,возвращаешься в пу́рпуре -
цвет королей...

ДОК: - с корриды? - Нет? Из мясной лавки?

ПУЛЬЧИ: - увы, как будто один дуралей
об меня умер, присох как пиявка,
и никак, никуда его, честное слово!

ДОК: - Мм-да, гениальное мясо священной коровы,
я где-то читал... завтра у нас
представленье...

ПУЛЬЧИ: - Колесованье трамваем.

ДОК: - Знаем, знаем...
Мой-то, подлинник, - был привиденьем...
и в Эммаус - на белом осле...

ПУЛЬЧИ: - Он!!!

---

[x] - *Данте, Ад,* XXIV

ДОК: - А кто же?!
Слово в слово, секунда в секунду...

ПУЛЬЧИ: - О Боже...
Левантинец корабль,
над зверинцем разинутых рукоплесканий,
впереди только вечность меж чашею и...
и устами...

Я: - Натуральный обмен
вер,верб, мер и пределов...

ДОК (*прерывая*): - Я сегодня все утро следил за лицом
Пульчинеллы.

Я: - Ну и что же?

ДОК: - Бело, как известка.

Я: - Не уверен, по-моему - все же из воска.

ДОК: - Нет гарантии, мысли играли в пятнашки,
я с этюдником... в роще соленых фисташков...

ПУЛЬЧИ: - Что за вздор вы несете,послушайте вы,
привиденье?!

Я: - О Небо, как прозрачно привидение,
когда оно впадает в меланхолию...

ПУЛЬЧИ: - Опять не из той оперы,
как говорится, поднимает хобот слон,
но, увы, не слышен звон.

Я (*обиженно*): - Бегемот разинул пасть, -
негде яблоку упасть!

ДОК: - Вылетает прекрасная улица веером птицы,
по трансепту за царственным мчится
покойником жеста...

ПУЛЬЧИ: - и взгляда...
Вы тень отца Гамлета - полные уши яда...

ДОК (*продолжая*): - на всемирную рею подвешено чувство полета...

ПУЛЬЧИ: - но тот, у кого на шее петля,
первым крикнет с реи: "Земля!"

Я (*с акцентом*): - Когда Я будет старым,Я будет
притворяться узбеком.

ПУЛЬЧИ: - Снимите, снимите с меня паука,
мне дамы еще не дают сорока.

Я: - Открывает рот паук,но увы - не слышен звук.

ДОК: - Вот именно: сыграем мы как пауки
Шопена в тридцать три руки.

ПУЛЬЧИ: - Вы болван,уважаемый призрак,
синьор Романьези.

Что называется, - горб для верблюда
любимое блюдо...
Кстати, у меня была вчера
горечь в области бедра.

ДОК: - Гарпунеры в тело белого кита
метко выстрелили черного кота.

ПУЛЬЧИ: - Когда киту море надоедает, -
кит его выпивает...
впрочем, если б не цапли,
когда бы не рыбы,
я б выпил по капле
всю реку, а вы бы?

ДОК: - И я бы, Ванни Фуччи, полдень близится,
а вместе с ним придет лотошник с бубликом,
мифологический, откормленный уродец,
дудóшник бедствия,
рогатая скотина!..

(*пауза*) ....

ПУЛЬЧИ: - Скучно,
сýмчатые на уме собаки.

ДОК: - Скучно,
полные уши яда...

ВСЕ (*хором*): - П о л н ы е у ш и я д а . . .

Пролог окончен. Занавес поднимается: на сцене, спиной к почтеннейшей публике - Каладриус...

Я: - Какой сегодня
ангел - день!
(*смеется и выходит в правую дверь*)

К О Н Е Ц

Коктебель, 1972

НОВЫЕ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «РУССИКА»

АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО.
Три книги: **Нечистая сила. Дети.**
Пантеон советов молодым людям. 304 стр. **$7.95.**

Русская лирика.
Маленькая антология от Ломоносова
до Пастернака.
Сост. *Кн. Д. Святополк-Мирский.*
Париж, 1924.
Переиздание с предисловием *проф. Г. Струве.*
236 стр. **$6.95.**

МИХАИЛ КУЗМИН.
Нездешние вечера. Стихи 1914—1920.
Петербург, 1921.
Переиздание.
Обложка по оригинальному рисунку
М. Добужинского. 136 стр. **$5.95.**

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «РУССИКА»

МАРИНА ЦВЕТАЕВА.
Избранная проза в 2-х томах.
Предисловие *И. Бродского.*
835 стр. **$30.00**

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ.
Собрание стихов.
Париж, 1927./Переиздание. 184 стр. **$5.95**

Неподцензурная русская частушка.
221 стр **$6.95**

МИХАИЛ КУЗМИН.
Сети. Первая книга стихов
Берлин, 1923.
Переиздание. 208 стр. **$5.95**

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ.
Стихи о России.
Берлин, 1922.
Переиздание. 50 стр. **$2.25**

ГОТОВИТСЯ К ИЗДАНИЮ

МАРИНА ЦВЕТАЕВА.
Стихотворения и поэмы в 5 томах.
Предисловие *проф. Ю. Иваска.*
Биографический очерк *В. Швейцер.* Ок. 1500 стр.

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ.
Крыса.
Подготовка текста и коментарий *Р. Вруунa.*

Сборник стихов, составленный автором, впервые публикуется в полном виде с факсимильными репродукциями хлебниковской рукописи.
Ок. 108 стр.

To order, please send a check or money order to:
RUSSICA BOOK AND ART SHOP, INC.
799 Broadway
New York, N. Y. 10003

Please add $ 90 for postage and handling for the first book,
and $.35 for each additional book.
New York State residents please include 8% sales tax.

Гелена БУРЯКОВСКАЯ

РАССКАЗЫ
ИЗ ЖУРНАЛА «37»

Гелена Буряковская - львовская писательница, родилась в 1944 г. в Запорожье, с трех лет живет во Львове. Окончила Львовскую консерваторию по классу фортепьяно. Начала серьезно относиться к своим писательским занятиям два года тому назад.

Гелена - автор сорока рассказов.

Мы задали Гелене три вопроса:

- Кого из писателей вы могли бы назвать своим учителем?

Она ответила:

- Кафку. Правда, мне кажется, что сейчас я от него отошла. От Кафки в моих рассказах осталось разве что только конструкция.

- А кто из русских писателей близок вам?

- Гоголь. Конечно, Достоевский. Остальные далеки, хотя я отдаю им должное и читаю с большим удовольствием.

- Вы не пробовали печататься в официальной печати?

- Бог с вами. Мне кажется этот вопрос нелепым.

Мы предлагаем вниманию читателей несколько рассказов Гелены Буряковской.

Из самиздатского журнала "37", Ленинград.

В ТРАМВАЕ

Я рванулась и, оттолкнув что-то стоящее на дороге, вцепилась обеими руками в поручень, подтянулась и втиснулась в крошечную щель, образовавшуюся в толпе на подножке трамвая. За спиной хряснуло, трамвай двинулся, народ взвыл. Я оглянулась. На медленно удалявшемся тротуаре, хрустя, раскалывалась старушка. Сначала отвалилась верхняя часть, затем боковые, затем нижняя. Под нижней частью я подразумеваю ноги. Ноги откололись вместе. Внутри оказалось пусто. Внутренности плотно присохли к отвалившимся стенкам. Внешняя сторона стенок была грязно-бурого цвета. После

пристального разглядывания я сообразила, что в молодости это было яйцо, которое от долгого употребления сверху потемнело, а изнутри иссохло. Ну да Бог с ней, старушкой. Сейчас я не желала задумываться над случившимся. Я опаздывала и нервничала. Трамвай, противно дребезжа, полз по своему извечному маршруту. Его длинный чешуйчатый хвост мешал развить скорость, цепляясь за выбоины и неровности мостовой. Я уже писала куда следует, предлагая отрубить этот хвост, на что мне резонно ответили, что это категорически невозможно, ибо тогда он истечет кровью и остановится, навсегда. А так как у нас очень много народу без нижних конечностей,то приходится мириться с его медленным существованием... Для людей без ног в трамвае есть специальные приспособления. В дверях стоит аппарат,всасывающий их вовнутрь,а на потолке множество петель, в которые просовывают их руки и подвешивают. Петли различной длины и толщины, рассчитанные на комплекцию пассажиров. Для иных, не имеющих рук, но с ногами - из боковых стен трамвая выдвигаются стульчики с перильцами, чтобы они не сползали от толчков. А для людей без рук и без ног на полу имеются специальные выемки, в которых они сидят без особых для себя неудобств. Для людей со всеми человеческими атрибутами предназначена подножка, на которой они стоят, плотно прижавшись друг к другу, чтобы не вылететь на поворотах. Это очень неудобно, потому что иногда соседу приходит в голову начать любовное заигрывание, а оттолкнуть его некуда. В силу этого у нас в городе много незаконнорожденных детей. Очень много. Детей,зачатых таким образом, можно отличить по небольшим отклонениям от физической нормы. Констатирую это просто как визуальный факт, потому что отклонений от интеллектуальной нормы у них нет. Они двигают прогресс так же, как и все остальные. Их даже не дразнят. Да и вообще их гораздо больше, чем "законных"... Объяснить их несколько иной внешний вид науке не удалось. Пока медицина ограничивается гипотезами. Одна из гипотез: от сильной тряски части тела могут переместиться,а то и совсем выпасть,но эта гипотеза тоже весьма проблематична. Она предполагает массу вопросов, на которые нет ответов. Но это все ерунда. Тревожит другое, если это вообще повод для тревоги... "Незаконные" вступают в брак и производят на свет себе подобных, но с еще большими функциональными замысловатостями: у некоторых нет рук, у некоторых - ушек, а то и ног, у некоторых еще чего-нибудь нет, или выросло лишнее, уточнять не буду, и так видно. Правда наука ушла настолько далеко, что особенных затруднений нет. Я уже говорила обо всех устройствах и приспособлениях для удобства передвижения и жития их. Так что, если подумать трезво, так и волноваться не приходиться, но иногда эти мысли приходят в голову на досуге, особенно - когда гуляешь по городу или едешь в трамвае. А сегодня, сейчас, мне еще повезло с соседями по подножке...

свадьба

Опять все кончилось удивительно просто. Я захлопнул дверь перед самым ее носом. Захлопнул, нажал на спуск английского замка, набросил цепочку, на самом верху нацепил маленький,не вполне надежный крючок на железную петлю. Все, чем можно было удержать дверь на месте, я использовал, но все равно тревога не проходила. Особенно, если учесть, что мне может захотеться выпить чаю и я поставлю чайник на газ, а газ будет шипеть, а затем и чайник начнет, закипая, шипеть, и шипенья будет в два раза больше, чем при одном только газе. А потом я могу еще и насвистывать, потому что люблю свистеть на кухне, когда готовлю чай, и шума будет втрое больше, чем при одном тольке газе. А потом я могу захотеть просмотреть корреспонденцию и усядусь на свой любимый старый табурет, который скрипит, и еще шорох бумаги, значит шума будет впятеро больше, чем при одном только газе. А потом я могу еще открыть окно, поддавшись иллюзорному желанию подышать свежим воздухом, и городской шум проникнет в мою кухню. И будучи раздражен этим никчемным уличным гулом, я начну грубо захлопывать окно, и в этот самый момент, когда я буду занят своим раздражением плюс еще шум, описанный ранее, она различными ухищрениями откроет мою входную дверь и прокрадется в кухню и откроет кухонную дверь, и я не успею отпрыгнуть от окна к двери и захлопнуть дверь перед самым ее носом. И она войдет. И она сядет. И она начнет плакать. И она станет говорить:

- Ты совершенно забыл о моей маме, а ведь она тоже человек. Когда она была молодой, она ходила с зонтиком, и все думали,что она умеет читать, а ведь она и вправду умела читать, просто никто этого не знал. Несчастья падали на нее, как удары молота на наковальню. Ведь мой дед был жокеем и часто ездил в кузницу подковать своих лошадей. И однажды лошадь сбросила его, и он вывихнул ребро. С тех пор ребро у него торчало из-под рубашки, и все его били, думая, что это не ребро, а холодное оружие. И это далеко еще не все несчастья, которые сыпались как из рога изобилия на весь наш род. Когда-то очень давно один из моих предков умер, захлебнувшись парным молоком. И с тех пор у нас в роду никто не пьет молоко, потому что, обжегшись на молоке, и на воду дуют. А молоко мне необходимо. Если бы я пила молоко,я была бы белая с розовым румянцем. А так я очень худая, и мне больно сидеть на стуле. А ты увлекаешься румяными женщинами и не хочешь вспомнить о моей матери,которой дал надежду. Ведь когда ты увидел меня впервые,я была в белом платье. Ты смотрел на меня с интересом,и в твоем взгляде я прочла желание помочь моей матери избавиться от меня. И тогда я все о нас ей рассказала, и она послала меня к тебе и дала на счастье шелковый платок, чтобы с его помощью открыть все твои замки и взять тебя. И вот я прихожу к тебе много уже раз, и в каждый мой приход ты хватаешь меня за волосы и вытаскиваешь на лестничную площадку, и захлопываешь дверь перед самым моим лицом. А я хочу от тебя так мало.

Я только хочу одеть на голову венок из цветов, а один цветок из моего венка вставить тебе в петлицу. И чтобы ты взял меня на руки и среди всеобщего восторга понес к черной машине. И чтобы старые люди на всех этажах плакали и, глядя на нас, завидовали и вспоминали свою несуществующую молодость. И чтобы ты принес и посадил меня в черную машину, и чтобы с этого момента кончились все мои заботы и начались твои. Потому что только ты можешь продолжить... и обеспечить... и все прочее... счастье моей мамы и мое...

Я начал хватать стулья и тащить их к входным дверям. Это было противно, потому что они постоянно застревали в дверных проемах, а у меня не хватало терпения работать медленно. Конечно, если бы тут, сейчас, были она и ее мать, работа двигалась бы в три раза быстрее, и было бы легче забаррикадироваться. Я мог и вообще ничего не делать. Я просто дал бы указания, как целесообразнее воспользоваться мебелью для заграждения. Можно было бы их заставить притащить к входной двери стол из приемной. Даже лучше было бы сначала стол, а потом на него поставить стулья, а на стулья - что-нибудь тяжелое,чтобы труднее было сдвинуть их с места. Я мог бы даже полежать, пока они будут работать. А после того, как они закончили бы все это, они позвали бы меня пить чай на кухню, и я смог бы спокойно свистеть и открывать окно и раздражаться, не боясь, что она ворвется на кухню в самый неподходящий момент. Ведь она одна не смогла бы сдвинуть всю ту массу вещей, которую она с матерью навалила у дверей. А потом мы могли бы спокойно, наслаждаясь чаем, подумать о том, что же делать после того, как усядемся в черную машину...

трамвайная остановка

Меня всегда тянуло на трамвайную остановку. Я мог часами смотреть на подъезжающие трамваи, которые всасывали в себя массу людей и отъезжали в разных направлениях. Мне было непонятно, зачем люди едут, а не идут или стоят. Зачем они едут куда-то и какие у них могут быть дела. Я смотрел на этот копошащийся муравейник, скопом лезущий в дребезжащую коробку, и испытывал чувство брезгливости, представляя как они жмутся друг к другу, как пот их смешивается в мерзкую, дурно пахнущую патоку. Страх оказаться в этом скопище был сильнее меня, и я стоял на остановке часами, боясь приблизиться... Моя отделимость доставляла наслаждение избранности, и я часами смотрел на остановку, испытывая благодарность, смешанную с презрением...

А комната была наполнена вещами. Они жили своей жизнью, не желая моего приобщения к ней. Их отчужденность окружала меня таким плотным кольцом, что прорваться не представлялось возможным. Сопротивление было упорным, и что бы я ни делала, сродственной им себя не чувствовала. Моя навязчивость злила их, и тогда они царапали меня и больно били. Рвались из рук и стонали даже при легком прикосновении. Тогда я бежала на трамвайную остановку и

наслаждалась нехрупкостью человеческого существа, наслаждалась его грубостью и равнодушием ко мне, его мимолетным,безразличным любопытством. Садилась в трамвай и наступала на ноги, не боясь, что они треснут, толкала широкие, плоские спины. Наслаждалась реальностью плотской жизни и страшилась неудовлетворенного желания попасть в зыбкий мир моей комнаты...

Трамвайная остановка была моим спасением. Я садился на корточки и смотрел на ноги. На это множество ног. На эту толпу ног. Они были различны по форме и плотности. Это были не ноги, - это были отростки,которые двигались и жили сами по себе. Я боялся этих отростков. Я боялся этой колонии всевозможных отростков: от маленьких и тонких до больших и пухлых. Они толклись на небольшом отрезке плоскости,и я постоянно боялся,что они прервут невидимую черту,разделяющую нас,и хлынут,хлынут на меня и раздавят своей массой. И только в подсознании билась мысль: пусть это будут плоские подошвы, а не подошвы с тонкими каблуками. Затем они исчезали,вливаясь в дыру трамвая. Я вставал во весь рост, покрытый холодным потом. Вставал и шел, вглядываясь в ничего не выражающие лица, от которых ждать мне было совершенно нечего. Только на трамвайной остановке я жил, боясь за свою жизнь.

Страх за свою жизнь жил во мне постоянно, и я уже настолько сросся с ним, что относился к нему без должного внимания. Гораздо сильнее мучило сознание моего небытия. Находясь дома, в полном одиночестве, я терял ощущение себя как физического существа и превращался в какую-то выдуманную форму, выдуманную чьим-то изощренным умом или кому-нибудь приснившуюся. Возможно, я был чьей-то выдумкой, и кто-то прифантазировал мне мое тело,обладая другим. Я мучился своей несхожестью с окружающим и терял ориентацию в происходящем или существующем настолько, что в ужасе бежал из дому, отыскивая подтверждение своей принадлежности к этому миру. Таким подтверждением была трамвайная остановка.Глядя на людей, праздно шатающихся в ожидании, я ждал,что они начнут глазеть на меня, как на совершенно инородное им существо, подтверждая безвыходность моего одиночества, но случалось не так: я не вызывал в них никакого интереса или даже любопытства. Они обходили меня, если я стоял на дороге, и извинялись,если задевали локтем. И в их безразличии к себе я обретал реальность своего существования...

дорога круто поднималась вверх

Дорога круто поднималась вверх. Не дорога,но тропинка круто поднималась вверх. Да и не тропинка это вовсе была, а так что-то, непонятное, для других непонятное, не для меня. Это,собственно, была трава, чуть примятая. Эту примятость можно было увидеть только на расстоянии нескольких шагов, вблизи - трава как трава. Поэтому я шел и глядел вперед, а не как человек, который боится споткнуться. Да и споткнуться было не обо что. Все

в моей жизни шло гладко, разве что страх, а вдруг все рухнет? - если я вовремя не застрахуюсь. Итак,я круто поднимался вверх по чуть примятой траве. Впрочем, поднимался совсем не "круто". Поднимался вяло, медленно, и колени у меня дрожали под тяжестью мыслей и мешков. Мысли мои были о трех женщинах, к которым я шел. Мысли были не легкие, одушевляющие, не такие, какие бывают мысли о юных тоненьких девушках, которых еще не знаешь, а только надеешься. А мысли тяжелые, как водопад. Да и женщины были большие, бедрастые, голенастые, грудастые, губастые, щекастые, женщины в полном соку. Женщины, полные сока. Сока было так много, что порой казалось, что соку больше, чем мякоти. Я шел к своим женщинам, которые жили в трех пещерах. На каждую по пещере. Пещеры комфортабельные, обитые синтетическими коврами, чтобы без простуды все обходилось. Жили они там и скучали. Скучали бы. Каждый день, чтобы они не скучали и чтобы посторонние мысли, чреватые неприятными для меня последствиями, не посещали их головы, я таскал им мешки с косметикой. Я рассчитал, что если их занять заботой о собственной внешности, процент их побега будет сводиться практически к нулю. Но косметика должна быть, разумеется, самой разнообразной, чтобы они пробовали это все на своем лице и выбирали. Чтобы они вечно выбирали. Вечно. Если и не вечно, так до тех пор, пока мне это нужно. И они выбирают, а я таскаю. Таскаю вот уже восемь лет и каждый Божий день боюсь, что очередная партия будет повторением какой-либо из предыдущих и все тогда кончится. Они разбегутся как мыши. Но не это самое страшное. Любимых женщин найти не так уж трудно. Их хоть пруд пруди. Нелепое выражение, но почти всегда так бывает, что наиболее нелепое - наиболее точное. Так вот, любимых - хоть пруд пруди, не в них дело. Во мне дело. Я взялся доказать, что постоянство в нашем мире возможно. Что однообразие - тоже красиво. Что если вовремя втиснуться на эту узкую тропинку, то привыкнешь думать, что так и надо. А если не привыкнешь думать, что так и надо, то привыкнешь думать, что привык думать. А я почти привык думать, что так и надо. Правда, иногда, после дневных трудов, хочется все бросить, но я держу себя. Не распускаю. Я знаю, что это в человеческих возможностях. Я знаю, что единственное, чем наградил Господь Бог человека сверх всякой меры - так это терпением. А я - человек, и ничто человеческое мне не чуждо. И буду таскать свои мешки и свою идею, пока таскают меня ноги...

Я нашел способ

Я нашел способ обвести вокруг пальца эту хитрую машину. В чем заключается ее хитрость, я скажу в конце. А сейчас - все по порядку.

Началось это таким образом. Я устроился работать актером в один из ее театров. За мою работу, она (машина) обещала мне всевозможные вещи. Я терпеливо работал и ждал. Я ждал и работал. Я работал и ждал до тех пор, пока ко мне не приехала молодая жена

с молодым ребенком. Я ждал и работал, но теперь перестал делать и то и другое. Я пошел в радиокомитет за обещанным. Студия, где я должен был получить все сполна, находилась на третьем этаже. Все остальные этажи были заняты под конторы, редакции, машбюро, жилые квартиры. В этих квартирах жили люди с улицы. И вот я пришел в радиокомитет, в студию, где женщина на побегушках должна была со мной расплатиться. Я пришел в студию и увидел на ее дверях, на дверной ручке записку, написанную шариковой ручкой: "Я в студии". Я пошел вниз, сообразив, что студия не здесь. Навстречу, по узкой винтовой лестнице, поднималась женщина, очаровательная женщина средних лет в черных полуботинках с красными шнурками. В руках у нее было белковое пирожное. Я увидел,как по ее телу прошла плавная дрожь от черных полуботинок к белковому пирожному. Очевидно, что она разнервничалась, увидев меня. Я был в замшевой шапочке. Я спросил ее с натуральной улыбкой, где находится студия. А она дрожала, и тонкие шнурки бились о ее красные щиколотки. Белковое пирожное брызгалось белыми хлопьями, и вся лестница стала снежной. Мой черный пуловер тоже покрылся белыми хлопьями,но я сообразил, что это ничего. Ко мне приехала молодая жена с совсем еще молодым ребенком... ко мне приехала молодая жена и вычистит мой пуловер бензином. Женщина указала вниз, явно намекая, что там, внизу, студия. А внизу была квартира, и из-за ее приоткрытых дверей валило человеческим запахом. Я имею в виду тот запах, который издает человек,живя в собственной квартире.Я сделал вид,будто поверил,и быстро пошел вниз, но не в квартиру,а на улицу.Было очевидно,что и эта женщина с красными шнурками - женщина на побегушках. Я спустился вниз,тонко ухмыляясь. Было ясно как днем,что меня хотели заманить на человеческий уют и что-то со мной сделать,каким-нибудь образом обезвредить, чтоб ничего не давать и даже чтобы гвоздя не доверить. Насчет гвоздя я потому, что недавно режиссер сказал мне: "Принесите гвоздик для ключа". Никому не сказал, а только мне, потому что видел: молод я и подаю надежды... Когда я вышел на улицу, ко мне подскочила первая женщина на побегушках и, затолкав меня в лифт, спросила, где колонны с транспарантами, на что я опять тонко усмехнулся и развел руками. И она поняла, что меня не провести. Последнюю попытку сбить меня с толку я тоже выдержал с честью. Она тыкала ключом в дверь и старательно делала вид, что не может открыть. Потом с ехидцей передала мне ключ. А дверь можно было открыть мизинцем. Я и открыл мизинцем, то есть ключом...

Сейчас я лежу на собственной кровати, и мне все нипочем. Я понял, что только закон и закон, и нужно добиваться своего только дорогой закона и ни в коем случае не обходить его. Его обходят все, и никому в голову не приходит идти прямо, а не в обход. И вся эта машина рассчитана на то, чтобы ее обходили... Это и есть ее великая хитрость. А я ее раскусил и теперь имею собственную койку и могу на нее даже плевать. Вот, вот, и еще раз, и никто ничего мне не может сказать.

Владимир ЛАПЕНКОВ

РАМАН

странная смесь
дурак на холме здравствуй и прощай мир без любви девять восьмых песни беспечная езда заседание на вершине мира шестьдесят первое посещение большой дороги одной ночью больше делай что нравится сто пятнадцатый сон Боба Дилана блюз на бегу держите мою могилу в чистоте о чем мы болтали сегодня люби меня дважды как катящийся камень в ожидании солнца я унылый бродяга все время на сторожевой башне приятные вибрации почему мы не делаем этого на дороге ночное время верное время когда я умру и уйду грустная железная бабочка парад нежности лучше камень впадающий в грезы новый звук из подземелья

часть вторая

"Чаны", "чины, "прочны"... и другие признания шамана, записанные на магнитную ленту.

Без пролога: не дошедшая до наших дней исповедь Сакса фон Грамматика, написанная им самим.

Без почтения: исчезновение городского фольклора при 14-том посещении Большой Деревни.

Без подлога, но не без БУДДЫ: признание наркомфина в злоупотреблении промфинпланом (перепечано на машинке).

Вместо эпилога: бидструпный запах съезда и, до Заключения автора, - самопародия на роман "Крайняя плоть" (в 2-х частях).

Примечания:

№ 1) Портрет и автопортрет автора.

Приметы общие - талант, ум, недюжинность, симпатия к труду и слаборазвитым странам.

Особых примет нет.

№ 2) Второго примечания тоже нет.

"Когда наши меньшие братья расправляются на местах с западной заразой, мы не можем стоять в стороне,занимаясь самокопанием. Пусть враги погрязают в мастурбациях морали, пусть, я говорю, они ищут смысл жизни! Мы, оптимисты, твердо знаем,как плохо живется в Америке жидам и "черным пантерам". Озлобленные цинизмом солдаты вырывают зубные коронки из ртов мертвых патриотов... 60% военнослужащих США употребляют наркотики!"

(П.Н. Нисский, слесарь-фрейдист)

мания градостроительства
мания идолоискательства
Хер-мания

Кружок любителей рабочего класса, состоящий из
символистов, пресыщенных своим символизмом,
анархистов, пресыщенных своим анархизмом,
онанистов, пресыщенных своим онанизмом и прочая,
и прочая,и прочая.

Полет к Сатурну при помощи двух соковыжималок, или Импотентарий для двоих.

Пространное двадцать четвертое варево.

(Подхожу к чану, колдую, молюсь).

Но что это?.. Я не понимаю... Вглуби мерцают огоньки, глаза аксолотлей и рыб. В который раз меняются цвета. Смешалось наконец! Брызги, расходится туманная завеса... Кричите же, беснуйтесь, человечки! Вот пафоса апофеоз!..

Встает Великий Тритон...

Со следующей страницы начинается собственно роман.

РАМАН

Владимир ЛАПЕНКОВ

ПУТЕШЕВСТВИЯ ЮНГЕР-МАКА

глава первоя

ЮНГЕР-МАК СКОЗАЛ СВОЕИИ МАТЕРЕ - МАМА СКОЗАЛ ТАК ЮНГЕР-МАК ХОЧУ Я ПУТЕШЕВСТВОВА ПО РАЗНЫМ СТРА-НАМ СВЕТА АОНА РОЗРЕШИЛА А ПОТОМ НА ДРУГОЕЙ ДЕНЬ ОН ПОЕХААЛ ПУТЕШЕВСТВОВАТЬ ОН ЗОЛЕС НА КОРАБЫЛЬ И ПОПЛЫЛ ПО О КЕАНУ

КОГДА ОНИ ДОПЛЫЛЕ ТРИСТО МОРСКИХ МИЛЬ ТОГДА ОНИ УВИДЕЛЕ СТРАНУ --- КОПЕТАН КОРОБЛЬА УЖЕ ЗНАЛ ЧТО ЮНГЕР-МАК ПЛЫВЕТ ПУТЕШЕСТВОВА --- ОН ВЫСОДЕЛ ЮНГЕРА-МАКА В НЕЕЗВЕСНОЕ СТРАНЕ КОГДА ОН ВЫЛЕС ИСКОРОБЛЬА ЕМУ ЗОХОТЕЛОС ПОСПАТЬ ОН ЛЬОК НА ТРОВУ --- ОН --- ЗОСНУЛ АКОГДА ОН ПРОСНУЛСЬА ТОГДА УВИДЕЛ ЧТО НО ВЕРХУ УЖЕ --- СВЕТЛО ОН ВСТАЛ И УЗНАЛ ЧТО СДЕСЬ ЕСЬТЬ КРОМЕ ЛЬУДЕИ ТОЛЬКО СКОТ

ИОН ПОЕИМАЛ ОТ НОГО И ЗЛОШЕДЕИ И ФСКОЧИЛ НА ЕГО И ПОСКАКААЛ ПО-ДОРОГЕ

глава втарая

ОН ПРОСКОКАЛЛ 3 МИЛЕ НАКОНЕ АКОГДАА ОН СЛЕС СКОНЬА ТО ОН ПОЧУСТВОВАЛ ЧТО ОН ПРОГАЛАДАЛСЬА ТО ОН ВЫТОЩИЛ ИСКОРМАНА КУСОЧИК САЛА И ХЛЕБА ОН СТАЛ ПРОЖОРЛЕВО ЕСЬТЬ И КОГДА ОН ПОЕЛ ТО ЮНГЕР-МАК ПОШОЛ ЧУТЬ ПО ГУЛЬАТЬАКОГДА ОН НА ГУЛЬАЛСЬА ТО ОН УЖЕ ХОТЕЛ ПО ИСКАТЬ ЖЕЛИЩА КАК НОНЕВО СРАЗУЖЕ НА БРОСЕЛИСЬ --- КОНИ ОН ХОТЕЛ ИХ РОЗОГНАТЬ НО ОНИ БЫЛЕ ТАКИМЕ СИЛЬНОМИ ЧТО ЮНГЕР-МАК ВСЬОТОКИ ЗДЛСЬА

глава третея

КОГДА ЮНГЕР-МАК ВСЬОТОКИ ЕМУ УДОЛСЬ ОСВОБОДИЦА ОТ ЛОШЕДЕ ОН ПОБИЖАЛ ОТ ТУДА АКОГДА ОН ОСВОБОДИЛСЬА ОТ ЛОШЕДЕИИ И ЕМУ У ДОЛОСЬ ВСЬОТОКИ ПОПАСЬТЬ В ОДНО ЖЕЛИШЕ ТО ОН БЫЛ ТАК РАТ ЧТО ДАЖЕ ЧУТЬЛИНЕЗОПЛЯСАЛ ОТ РАДОСЬТИ НО --- ЭТО БЫЛО БЕСПОЛЕЗНО ПОТОМУШТО ЭТО БЫЛО ЛОШЕДИНОЕ ЛОГОВО НО ЮНГЕР-МАК - БЫЛ ОЧЕНЬ ХИТРЫИИ ОН СКОЗАЛ ЭЕИИ ВЫ ЛОШИДИ ЭТО ШТО ВЫ ЧТОНАМЕНЬА НЕОБРОЩАЕТЕ НИКОКОГО ВНЕМАНЕЯ И ТУТЖЕ ВСЕ КООНИ ФСКОЧИЛЕ СМЕСТА И ОДИН ИС КОНЕ ЗОРЖАЛ НО ЮНГЕР-МАК НЕСКОЛЬКО НЕ УДЕВИЛСЬА

глава четвеортая

НО ЮНГЕРУ-МАКУ ЗОХОТЕЛОСЬ ПРИИБЫТЬ ВДРУГУЮ ВСТРАНУ --- ИОН --- ПОПЛЫЛ НА КОРОБЛЕ ИОНИ ПОПЛЫЛЕ 55000 И НА КОНЕЦ П РИБЫЛЕ ВСТРАНУ ГЮРУЛЬСЕЕН И ЕВО ВЫСОДЕЛИ ВНЕЕЗВЕСНОЕИ СТРАНЕ ОН ОТ ПРОВЛЬАЕЦА ВГЛУПЬ ЭТОЕИИ СТРАНЫ И ФСТРЕЧАИТ 2 БОКИРОВ (БОКИРЫ ЭТО ТОКИЕ ЛОШИДИ)

ОН И ГОВОРИТ ЧТО ОН ОЧЕНЬ ХОЧИТ ЕСЬТЬ НО ЕГО ЛОШИДЕ НЕ ПОНИИЛЕ ПОТОМУШТО БОКИИРЫ НЕ ТОКИМ ЕЗЫКОМ ГОВОРЯТ НО ОН ХОТЬ И ИГОВОРИЛ НА ВСЬАКИХ ЕЗЫКАХ КОТОРЫЕ ЕМУ ТОЛЬКО БЫЛЕ ИЗВЕСНЫ НОЭТО НЕПОМОГЛО ОНИ ЕГО НЕПОНЕМАЛЕ

глава 5 пятоя

СТИХИ!

СОВЕЦКИ СОЮС ОН СЕЛЬОН
И УМЕОН ОН ХИТЬОР ОН
СОВЕЦКИМ ОФЕЦЕРАМ ---

СТИХИ ДЛЬАТОВО (ЧТОБЫНАМ) ПОТОМУШТО ПЕСАТЕЛЬ ЗБЛСЬА С ПУТЕШЕВСТВИЯ КОНЕЦ ГЛАВ ПУТЕШЕВСТВИЯ КОНЬЧЕЛИСЬ НО ЭТО НЕВСЬО ПРАВДА --- ХОТЬ КНИГА НЕКОНЬЧАЕЦА ПОТОМУШТО ВМЕСТО ЮНГЕРА-МАКА ПОЕИДЬОТ ХОТЬ Я ИНЕ ЗНАЮ ЧТО --- ПЕСАТЕЛЬ

КАНЕЦ

19р. - 30к.

КНЬИЖНОЕ ИЗДАТИЛЬСТВО
ПУШКИН ЗАЕЦ НА ГОРЕ
МАРШАК УСАТЫЙ ПОЛОСАТЫЙ

```
---------------
              /
6л. 8м.       /
/ до          /
     школы /
```

Естественное продолжение романа - с внучатым племянником Жоржа Садуля. Он был пьян и плохо понимал по-русски. Я на пальцах показал,что зову его к девочкам. Он почему-то принял меня за англичанина и сказал, коверкая произношение: "I will not to sleep with the bugger, I want to sleep on the table!"

Пресс-конференция - летучка

Вопрос. Когда же, наконец, начнется роман?
Ответ. А он уже давно начался.
Вопрос. Когда же кончатся эти бессвязные вступления?
Ответ. А идите вы на хуй!..

x x x

10 ДЕКАРЕЙ ПОДКРАДЫВАЛОСЬ К НАМ ЗЗАДИ.
ОТ 10 ДЕКАРЕЙ ОСТАЛОСЬ 5.
ПРОШЛО 5 ЛЕТ.

x x x

Лето. Или любое другое время года, какое вам нравится. Забираюсь на чердак, где среди хлама и пыли у меня есть свой стол с множеством выдвижных ящиков - почти столь же серьезный и мрачный, как фигура на известной картине Сальватора Дали. В одном из ящиков "Дневник Кощунств". Ведется в блокноте,на котором пометка - "изготовлено из отходов".

На выбор два эпиграфа:

"Произведение искусства ничего не означает, оно - существует".

Гюнтер Блёккер

"Когда подполз Данилыч, Клава поделилась с ним своим планом".

М.Прудников "Разведчики "Неуловимых"

19. 3. Сего года. Чем я похож на Маркса: ношу пышную шевелюру, изучаю английский язык, люблю рыться в книгах, не люблю существующий порядок. Чем я от него отличаюсь: я не еврей, родился не в Германии, "Капитала" не написал, не имею такого хорошего друга как Энгельс, но зато имею красивую девушку.

27. 3. Сего года. Вдруг вспомнил, что Шерлок Холмс был кокаинистом, а Сталин нет.

7. 4. Сего года. Размышлял о 20-тых годах. Представил себе, как сорокалетний Кафка развращает юного Мишу Шолохова в каком-нибудь отеле.

13. 4. Сего года. Сформулировал гениальный постулат: я - не Ницше! Всё сразу стало на свои места. Картина мира прояснилась. Чувствую себя легко, отдыхаю.

1. 5. Сего года. Советы начинающим писателям:

Совет № 1. Обзаведитесь бумагой и ручкой. Машинку купите на непропитые остатки гонорара. Достаточно. О таланте не говорю. Талант - дело искомое. У кого его нет?!

Совет № 2. Ни дня без строчки! Ни в коем случае! Каждый день аккуратно одну строчку, желательно без грамматических ошибок.

Совет № 3. Впрочем, день - выражение образное. Пишите исключительно ночью. С двух до трех свою строчку обдумайте, а к четырем успеете ее записать.

Совет четвертый и последний. Главное в литературе - это правда. Еще Хемингуэй сказал, что для того, чтобы стать настоящим литератором, необходимо честно описывать то, что хорошо знаешь. "Папа Хем" был безусловно прав, искренность - один из маленьких секретов нашего писательского мастерства...

В дневнике еще много записей, но он уже отброшен. Курю. Высовываюсь из слухового окошка. Взгляд скользит вдоль ската крыши, по водосточной трубе мимо грязных оконных стекол,тускло поблескивающих на солнце, туда, вниз, к земле... И разбивается о мостовую, обрызгивая прохожих... Резко отшатываюсь,чувствую,что покрываюсь испариной. Как глупо! Мне ничто не угрожает, но не могу справиться с животной радостью, что я здесь, а не там... Звуки улицы затихают. Стол передо мной отодвигается куда-то за пределы зрения, открывая рябую водную поверхность. Доска под ногами становится краем барьера детского "лягушатника". Я ежусь от холода, с плавок струйкой стекает вода. На берегу - подбадривающие меня мальчишки. Я впервые собираюсь нырнуть "головкой". Несколько раз я уже просил, чтобы кто-нибудь нырнул раньше меня.

Белобрысые, поджарые, с обгорелыми лопатками и тонкими ногами, чьи крики разносились над озером и принуждали вздрагивать читающую молодую женщину, они радостно взбегали на барьер и,не раздумывая, с грохотом пронзали воду вишневыми телами.

Страшно, но уйти я не в силах, завороженный зеленой плотью воды. В желудке медленно переворачивается что-то прохладно-сладкое, мягко покусывающее меня изнутри. Ну же!.. Всё во мне напрягается, еще немного - и я расползусь на части. Безумно хочется прыгнуть. Женщина отрывается от книги и притрагивается ко мне взглядом... Готово! Я падаю животом вниз и всплываю оглушенный неутолимой болью и все-таки освобожденный...

"Боже... как орут эти мальчишки... какие они все смешные неуклюжие почему у них такие тонкие руки и ноги... не верится что когда-нибудь из них вырастут настоящие мужчины способные защитить женщину или вынести ее на руках... хотя и взрослые-то парни подчас дурачатся как дети... но этот мальчик который приехал к нам утром совсем не такой не хам лет шестнадцать ему не больше... совсем ребенок... как он на меня смотрел во время завтрака... вернее не смотрел а наоборот отводил глаза хоть и старался казаться уверенным в себе но не выдерживал моего взгляда... отказался пойти со мной купаться голова вдруг разболелась... трусишка... надо будет спросить у его тетки почему он такой нелюдимый... неужели в городе у него не было девочки... может он только прикидывается простачком... но профиль у него красивый вот только пух на губе не к лицу... возьму его под свое шефство... интересно как он..."

...Он слез с самодельных качелей и углубился в рощу. Жирные мухи взлетали с нагретых солнцем листьев и, прожужжав над головой, уносились прочь. Путь ему преградили две растущие из одного корня березы. Чуть замшелые стволы, от которых исходил влажный запах вчерашнего дождя, колеблющийся полумрак под ветвями создавали интимный покой, которого мальчику недоставало. Он пытался представить образ новой знакомой, увиденной им за завтраком, форму ее головы, черты лица, цвет волос, но образ получался бесплотным. Быстрыми нервными мазками в воображении он рисовал ее груди, лепил бедра, но все это распадалось, лопалось,превращалось в беспорядочно мелькавшие разноцветные пятна, не приносящие наслаждения. Секунды его истекали, мальчик спешно представил себе тяжеловесную фигуру тетки с дряблыми обвислыми формами. Ему стало жутко, он дернулся, и его охватила ослабляющая болезненная дрожь. Мутило. Он опустился на землю, держась рукой за ствол дерева. Он не понимал что с ним. На глаза ему навернулись слезы.

"Господи... до чего я устала... нет конца мучениям... белье обед всё на мне... эта жиличка - вертихвостка никогда не поможет... скорей бы уж муж вернулся из города... да и с ним немногим легче... опять друзья выпивка рыбалка... а по ночам будет приставать ко мне как маленький... сколько можно..."

----- Минутку терпения! В данный момент главным для нас вопросом является:

А КТО УБИЙЦА?

Под подозрение автоматически попали - Хрыся и Марыся, киевлянки-лесбиянки, водитель автомобиля ГАЗ-59 Игнат Ф., мужчина холостой во всех отношениях, Виссарион Н., мужчина просто холостой, и наконец, майор военно-морской пехоты АБВГД, не чуждый любви к солдатам, коих немало прошло через его руки. Следствие поручено доктору Пандрычеку, известному поимкой преступника, спалившего Эрмитаж.

Итак, кто убийца?

Кто (?) убил и изнасиловал слепую собачку? -----

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ПИНГВИН ПОЮЩИЙ ХАРИ КРИШНА -
ВЕЧНЫЙ ВРАГ ПИНГВИНА РАСПЕВАЮЩЕГО Te Deum

x x x

Джеймс Олдридж - вестерн-кантри Максим Горький - звезда фольк-рока Всеволод Кочетов - Сверхзвезда	} —	Смотрите, как они летят!

x x x

...Вздутое лицо в зеркале с губой, перекошенной, словно в нее вшита гирька, принадлежит мне. И эта комната тоже моя - несколько десятков книг, магнитные ленты, джинсы, пожалуй, всё. Разве я унываю? Просто очень грустный блюз наяривает на гармошке Джон Мейелл. Иду на кухню и подставляю лицо под холодную струю воды, тихонько подвывая при этом. Мой завтрак - моя крепость. Мякоть булки, смоченная в чае, - отличный допинг для вымирающих хиппи.

НО ВЕРХУ УЖЕ - СВЕТЛО. Скоро ко мне должны прийти. "Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела".

Чуть влажный блюз - откровения губной гармошки...

x x x

потолок сырое бремя стелющейся тучи я бреду по скользкому коридору что стремительным потоком вспарывает тесноту стен клокоча кидая пригоршни брызг мне в лицо я касаюсь стены пальцами спящие обои на ощупь как замша а потом береста приведут меня в крохотную тусклую уборую где словно бы отдых под сенью но коридор засасывает и захлебываясь холодным я вместе с пальцами погружаюсь в беззвучную тину и
как будто впервые я осматриваю себя эту впалую грудь слишком нудный живот и обыденную притомленность за несложным убором пушка́ беспокойно влюбленные пальцы

Чуть влажный блюз. За окном - изморось и город кусками непрожеванной пищи. Кал цивилизации. Гарь на телах и одеждах. Гарь тел, облепляющая душу и мысли. Дети, играющие среди отбросов, в чревоточинах проходных дворов и в слепых тупичках - аппендиксах

окраинных лабиринтов. Несколько взрослых морлоков, тянущихся к жиже пивных. Калории кала.

НО ОНИ БЫЛЕ ТАКИМИ СИЛЬНОМИ...

Ничего. Скоро ко мне придут.

Чуть влажный...

белесый луг вымаранный противозачатием оголенный провод альбинос скорби мячик закатившийся в мусорную кучу груда использованной туалетной бумаги подступает к горлу эй я такой же как вы не бейте меня оказывается это не так больно и страх пропадает ну снимите же с меня это дерьмо диссертации отличная работа хорошая капуста автобус пришел из таллина где у меня столько друзей о ля ля веселые штаны к вьющимся патлам нет они не понимают меня приятель это просто атомная трава ты попробуй не могу не могу есть говно отпустить эту девочку мне самому не найти дороги домой выябываться я не стану привет ты не знаешь чабукиани как же солнышко мухи батарея пустых бутылок вот новость три красненьких или ничего липовые бумаги два-три дельных бугешника остальное лажня привет по морде учить

x x x

Я выхожу из уборной. Э-гей - о-о-о!.. Бегу по лужайке и взбираюсь на поросший травами "дзот". Палкой выковыриваю кусочки дерна и бросаю как можно дальше. Этого мне кажется мало. Бегом спускаюсь к реке и луплю палкой по воде, распугивая водяных жуков. Пытаюсь плевком попасть в одного из них, но куда там!.. Поворачиваюсь и задеваю ногой кусок ржавой колючей проволоки, торчащей из земли. Индейцы и ковбои могут заключить перемирие, их главный вождь тяжело ранен. Что если начнется заражение крови, думаю я, стойко перенося боль и только чуть-чуть пристанывая. А вдруг я умру... так же, как бабушка?. В своих играх мы постоянно убивали друг друга, но никогда не бывали убитыми. Быть мертвым так неинтересно. Теперь мы не стреляем из игрушечных пистолетов, но хороним что-то каждую минуту своего существования. Насколько легче тому, кто смотрит на всё сквозь призму любви к Иегово, Витлз или коммунизму. (Простите, вырвалось. Не об этом я хотел говорить.)

ДВЕСТИ ЛЕТ СПУСТЯ

"Раман" Лапенкова, опубликованный почти двести лет назад, произвел в свое время сенсацию. Автора сравнивали с Джойсом и Марселем Прустом. Отдельные критические голоса потонули в море похвал почитателей. Апологеты элитарного искусства начертали его имя на своем знамени. Но не прошло и 50 лет, как поток славословий стал истощаться. Политические перевороты, смены режимов надолго оттолкнули рядового человека от высокого искусства. Лапенков по-прежнему почитался в узкой группке интеллигентов, но его мировая слава сошла почти на нет. О нем вспоминали как о талант-

ливом представителе школы "черного юмора", интересном стилисте, но уже не видели в этом причины для обожествления. Около ста лет его произведения не переиздавались, и за это время вышло не более 15 переводов на другие языки. Совсем недавно Академия мировой культуры выпустила в свет полное собрание его сочинений, заново отредактированное, снабженное ценными пояснительными статьями и примечаниями. С новой силой разгорелась затихшая было борьба между сторонниками и критиками писателя, вновь загремело по всему миру его имя, вызывая тысячи разноречивых откликов, споров, суждений. Пожалуй, ни один художник в мировой литературе не вызывал столь непримиримых, буквально кровопролитных схваток. Да-да, это не шутка. Нашумевшее дело об отравлении Семена Навзикеева, главного редактора журнала "Семья и спорт", и убийство его малолетних детей в отместку за разносную статью в пятом номере за 2165-й год получило широкий резонанс среди европейской общественности. Безусловно, выходки обезумевших фанатичек никоим образом не могут ни отнять, ни прибавить что-либо к славе писателя. Сейчас готовится к печати толковник произведений В.Б.Лапенкова, составленный из статей филологов всего мира. Сборник должен появиться в начале будущего года и, несомненно, станет одним из крупнейших явлений в современной лапенковистике.

О чем же пишут именитые филологи, философы, психологи, историки культуры? С разрешения издательства "Умное Слово" мы приведем несколько выдержек из будущей книги. Профессор Мичиганского университета Уиллмор Драйдер пишет в своей статье "Лапенков, за и против":

"...конечно, многих критиков Лапенкова, как в годы его жизни, так и сейчас, отталкивала прежде всего чрезмерная усложненность его прозы, необычайно вольное обращение с традицией и читателем. Именно нежелание и неумение многих целиком растворить свою личность в личности писателя, отдаться всем его каверзам и эпатирующим выходкам создает ненужное противодействие и препятствует полному проникновению в глубочайший психологический подтекст его произведений, кроющийся за ширмой изящного эпатажа..."

Ему вторит известный иерусалимский психолог и педагог "аналитического хеппенинга" Рафаил Гейзман:

"Всякому серьезному исследователю творчества Лапенкова совершенно ясно, что столь уникальная фигура, вобравшая в себя дух и чаяния своих современников, не может казаться нам чем-то гладким и определенно положительным. Вся сила и страстность, вся противоречивость его исканий, все творческие метания, спроецированные на страдания и поиски человечества, вырисовывают нам образ мятежный, непримиримый, насыщенный яркими контрастами, а потому и далеко не исчерпанный простым признанием его гения или, тем более, отрицанием такового. Вдумчивость, беспристрастное размышление - единственный метод, с помощью которого можно разобраться в этом половодье лапенковской прозы, отделить истинное, вечное от случайного, наносного. Одним наскоком этого не добиться..."

Восходящая звезда итальянской школы эстетики, Бруно Капелуццо, называя "Раман" Лапенкова "языческой библией нового времени", пишет:

"Удивительное сочетание мифов о Прометее, Гильгамеше и подвигах Тезея предстает перед глазами внимательного толкователя. Главный герой, если можно говорить о таковом, ибо автор един в тысяче лиц, скорее ближе к Язону домедеевского периода. А та сцена в конце "Рамана", к сожалению, утерянном, где безымянная героиня на языке жестов представляется нам то персонифицированным Духом Добра, то философом Демокритом!?"

С ним вступает в полемику доктор Сарванашастра из Калькуттского университета:

"Большое влияние на рост Лапенкова как художника без сомнения оказала восточная культура. Буквально на каждой странице встречаются реминисценции и намеки на то или иное явление из жизни Востока. Само название произведения "Раман" наводит на мысль о связи с героем индийского эпоса Рамой, воплощением бога Кришны".

Крупный неоэкзистенциалист постфранкфуртской школы, профессор Борман Хонеггер, дает свой глубокий анализ произведений Лапенкова:

"...то и дело экстраполируя чистые апперцепции континуума лапенковской метаэтики, мы приходим к выводу о положении дизъюнкций и экспликаций эйдетической эталонной группы в его прозе. Ей ни в коей мере не присущи субституциональные фрустрации, что привело бы, напомним, к харизматическому гомоморфизму объектного катексиса и аутотентичной энтропии предиката. Мы верифицируем претанальные экспектации и приходим к модальному катарсису пограничной ситуации, что и дает нам полную ясность в этом вопросе".

И напоследок мы приводим выдержку из статьи московского кандидата Петра Сидорова:

"Смешны и жалки попытки некоторых крикунов от науки черпать из книг Лапенкова какие-то мистические фрейдистские мотивы для построения своих систем и гипотез, давно дискредитировавших себя и изжитых подлинной наукой. Так и хочется ответить этим горе-толкователям словами из Лапенкова: "Боже, как орут эти мальчишки!" Творчество Владимира Борисовича всегда было подлинно народным, питалось народными истоками, пило, что называется, из материнской груди пролетарской Родины. У писателя были моменты некоторого скептицизма и неверия, но в нужный момент партия и народ поддержали его, помогли развиться подлинно здоровому, негнущемуся, стоящему на страже подлинно народного искусства".

※ ※ ※

И возопи гласом велиим, и рече: благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего.

И родился от кузнеца Бориса у дворовой девки чад. И нарекли чада Владимиром. А престольный град исполнял в те лета похоти владык тьмы. Отрок же взрастал и крепляшеся духом, сподоблялся премудрости: и благость Божия была на нем. И бысть по шести летах

пишася достойны книги, что в корени древа нашего благодать возложат.

x x x

ОТ 10 ДЕКАРЕЙ ОСТАЛОСЬ 5.
ПРОШЛО 5 ЛЕТ.

2 стихотворения (хотя автор принципиально не писал стихов).

1. - посвящается работникам ГПУ -

"Полковник Жордан был бретер и вояка,
Полковник Жордан мог рычать как собака,
Полковник Жордан имел дачу и "ЗИМ",
Полковник Жордан был неотразим".

2. - (тот же эпиграф)

"Полковник Жордан был беспечным воякой,
К зиме приобрел себе дачу с собакой,
Достал он шофера и старенький "ЗИМ",
На дачу всю зиму был в "ЗИМе" возим".

Через некоторое количество страниц мы продолжим публикацию неизданных произведений под рубрикой "Lapenkov memoriam".

А сейчас - Часть 4 (с душком), в которой появляются ненадолго герои "Рамана", но тут же исчезают.

хвала гальюнам!

(сидя в пьяном виде с приспущенными штанами и слушая доносящуюся из Ниоткуда симфоническую музыку - эдакий Л.Блум-блум-чик пожилой ребенок с одним глазом но [зато] с двумя горбиками [спереди и сзади] словно самопародия черного юмора)

-- в жизни даже самых великих людей гальюн занимает по праву достойное место - бисмарк гете бетховен на стульчаке - сколько мыслей сколько блестящих открытий - иван четвертый не выпуская из правой длани скипетра левой скрепляет бумаги царской печатью - македонский в обширном гальюне крохотной македонии подперев голову придя в восторг от предстательных наслаждений высиживает планы захвата мира - буонапарте (в походном сортире близ ватерлоо) - да давненько не сиживал я с тех пор как был мальчишкой все войны походы египет россия доведется ль еще ах старая гвардия - гальюн-универсам гальюн-салон гальюн-салун гальюны палерояля рояли в гальюнах генералы в галунах нежные признания в голубой любви стук пишущей машинки бурные споры карбонариев гальюны для коновалов кардиналов ценителей гольфа и гляссе - о эти звуки - ИЗ ПУШКИ НА ЛУНУ - и физики и лирики подслеповатые гомеры старухи-процентщицы - все в его власти - а сколько заговоров интриг самоубийств кровавых преступлений и любовных стенаний - история молчит мой друг молчит -
радостный питерский рабочий войну протрубил в братских солдатских гальюнах его дед бегал в пургу через дорогу - долго не просидишь метель ишь как поддувает - а теперь народная власть дала ему отдельный унифицированный гальюн не нужно даже калош надевать пользуйся товарищ на здоровье - душа поет - конечно нет там

этих золоченых инкрустанций бара орфа и стравинского но пусть сидят - час их пробил - беспокойный алкаш этажем ниже громко говорит в унитаз спускает прокламации поносит правительство - его видно пробрало - ничего - мелкие недочеты на фоне всеобщего строительства -

чем плох гальюн - шокированные дамы затыкают уши теми же нежными ручками какими через пять минут будут дергать ручки водоспуска - вряд ли кто-либо жаловался на уединенность и тишину наших сортиров (пусть недовольные моей физиофилософией вырежут себе кишечник и яичник) -

так чем же плох гальюн - может быть в нем не хватает простора свежего воздуха - ерунда - выйдите наружу что вы видите - всё то же - страна в дерьме вся она такой же гальюн только побольше и маленький наш гальюнчик едва ли не единственное место где еще разрешена свобода слова -

(с этими мыслями ребенок перекинул через водяной бачок нитку сделал нетрезвой рукой петлю и оттолкнулся ножкой от края унитаза - тельце его закружилось в воздухе и горбики стали вертеться наподобие пропеллера)

Унитаз - опора нации... Но довольно, довольно!

Что может быть грязнее грязного пасквиля? Разве только еще более грязный... Ну, хватит, я сказал! Сейчас пойдет совсем другое.

Вот и джазмены пришли!..

Рэй Чарлз, Мадди Уотерс, Биг Билл Брунзэ, Ричи Хавенс, Джо Кокер, Джон Мейелл, Рамсей Луис, старик Сачмо, папа Дюк,Дэйв Брубек, Чарли Мингус, Паркер, Кристиан, Ллойд, Бёрд, Стен Кентон, Теллониус Монк, Оскар Питерсон, Джо Завинул,Кжиштоф Комеда,Джимми Смит, Фэтс Уоллер, Билл Эванс, Бадди Рич, Макс Роуч,Майлс Девис, Диззи Гилеспи, Бенни Гудмен, Эрик Долфи, Роланд Кёрк,Кларк Терри, Альберт Айлер, Херби Манн, Лео Райт,Джерри Маллигэн,Стен Гетс, Фил Вудс, Джон Колтрейн, Збигнев Немысловский, Юра Гольдштейн, Сонни Роллинс, Орнетт Колмен, Джон Сармен, Мэйнард Фергюссон, Док Северинсен, Джером Кён, Каунт Бэйзи, Чик Кориа,Вацлав Заградник, Кэннонбол Эддерли, Джо Венути, Стефан Грапелли, Жан-Люк Понти, Джереми Стэйг, Арт Татум, Дик Хаймен, Зут Симс, Пи Ви Рассел, Кид Ори, Лайонел Хэмптон, Вуди Херман,Эрл Скраггз, Джанго Рейнхардт, Вес Монтгомери, Рудольф Дашек,Лэрри Корриэл, Джон Маклауфлин.

Сейчас будет джем!!!

Самое короткое интервью.

- Скажите, пожалуйста, где вы черпали силу для создания такого монументального произведения?

- В сперме.

(Ну, это мимоходом, это не в счет).

МИР ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКА

Грэхэм Грин, получив гранки "Рамана", произнес историческую фразу: "Лапенков - это Черчилль в литературе".

ж ж ж

Натали Саррот сказала перед смертью журналистам: "Передайте мосье Лапенкову, что я умираю с его именем на устах".

ж ж ж

Джеймс Олдридж в знак протеста против издания "Рамана" в Англии уморил себя голодом.

ж ж ж

Микеланджело Антониони закончил фильм "Три новеллы о Лапенкове".

ж ж ж

Киностудия "ДЕФА" в сотрудничестве с известным японским режиссером Акирой Куросавой ставит многосерийный телевизионный фильм по мотивам "Рамана" Лапенкова. В главных ролях актеры Гойко Митич и Тосиро Мифуне.

ж ж ж

Профсоюз печатников Италии прервал трехдневную забастовку для издания "Рамана" на итальянском языке.

ж ж ж

Военный режим в Греции внес "Раман" Лапенкова в список запрещенных книг.

ж ж ж

Из космического центра в Хьюстоне прибыла поздравительная телеграмма в честь дня рождения писателя.

ж ж ж

Массовый падеж скота в Иордании.

(Из газет)

ж ж ж

по вертикали: американская фирма, выпустившая 14 миллионов значков с изображением Лапенкова.
по горизонтали: приток Нила - 5 букв.

Догадайтесь, что будет на следующей странице?!

легенда о лапенкове

Совсем недавно мы получили три новых книги с воспоминаниями о Лапенкове. Две из них написаны его бывшими женами, а третья - его закадычным приятелем, скрывшимся под инициалом Б. Этот Б. пишет в своей книге "Я знал Лапенкова" (на чёр. р. ц. 31 р.):

"Он был простым и ровным в общении, никогда не зазнавался, не кичился своим превосходством. Иногда можно было подумать,что перед тобой не Лапенков, а кто-нибудь другой. Парадокс заключался в том, что это был все-таки Лапенков. В моей библиотеке его книги с дарственными надписями хранились как святыни. Но я не критик и не буду разбирать достоинства этих книг,которые хорошо всем известны. Я попытаюсь рассказать,честно и без прикрас, каким я его видел в жизни. Владимир Борисович часто бывал в нашей семье. Мы говорили об искусстве, о политике, о спорте - не было предмета, который бы его не интересовал,о котором бы он не знал больше всех. Мои дети очень любили сидеть у него на коленях и нередко дрались за то, кому сесть первым. Обычно Лапенков приходил к нам к вечернему чаю. Мы пили, болтали, он был весел, непринужден, я не знаю лучшего собеседника. Время от времени Владимир вдруг замолкал, лицо его становилось задумчивым, потом он схватывал блокнот, а если его не было, писал прямо на салфетках и фантиках от конфет. Зная это, я заранее покупал горы конфет и бумажных салфеток. Но несмотря на мою предусмотрительность, запасов иногда не хватало, тогда он писал на скатерти, на обоях, на белье. Комбинация моей жены висит там, где теперь квартира-музей Лапенкова.

Дни, когда я дружил с писателем, были лучшими днями в моей жизни".

Вторая жена В.Б.Лапенкова, прожившая с ним целых полтора года, в соавторстве с журналистом Катушкиным выпустила книгу "Лапенков в моей жизни" (на чёр. р. ц. до 50 р.). Она пишет:

"Вовчик был настоящим мужчиной, лучшего я не знала. Мы любили друг друга до самозабвения в течение полутора лет, и мне лестно, что именно это время послужило ему материалом для создания знаменитого цикла готических рассказов. По ночам, лежа в постели, он читал мне свои последние вещи. Чтение нередко затягивалось до утра, и он не выспавшимся уходил на работу. Он трогательно заботился обо мне, постоянно спрашивал, не хватает ли мне чего-нибудь. Зная его восприимчивость,я всегда отвечала,что хватает. Как и у всякого великого человека,у него были мелкие слабости и недостатки. Например, он любил подолгу просиживать в туалете, говоря, что занимаётся в тишине сочинением, но когда я позднее входила туда, сочинениями там и не пахло..."

В последние годы книжный рынок наводнили дешевые издания вроде "С Лапенковым 80 дней", "3 раза с Лапенковым" и "Глядя из диспансера". Выгодно от них отличается серьезный труд седьмой жены писателя Каменотесовой-Лапенковой "TERRA Лапенковия", труд, который занял больше 30 лет (ц. на чёр. р. от 100 до 150 р.) Книга стала бестселлером № 1 и, несмотря на то, что она была выпу-

щена тиражом в 300000 экземпляров, моментально исчезла с прилавков магазинов. Позволим себе небольшую выдержку из этой книги.

"Всякий раз, когда я бываю в музее-квартире Лапенкова, - пишет автор, - я с грустью смотрю на вещи, принадлежавшие нам и ставшие теперь народным достоянием. Выцветшие от времени простыни навевают воспоминания о невозвратных счастливых днях, о горестях, о борьбе. Сейчас молодежь, живущая в прекрасных условиях либерализированного строя, не способна до конца оценить годы, когда человек с гордостью носил имя диссидента. Фильмы и книги, повествующие об этих временах, приобретают все более романтический облик, и не так уж много стариков помнят реальные условия жизни тех лет.

Несмотря на то, что обстановка квартиры соответствует исторической правде, здесь все-таки присутствует определенный глянец. Наша жизнь встает перед моими глазами, словно это было только вчера. Я вижу своего мужа, сидящего на неубранной постели, с толстой книгой на коленях, а на ней лист белой бумаги с первыми строчками "Рамана". Он всегда писал в таком положении, стола у нас не было. На кровати сидели приходившие друзья, на кровати мы устраивали немудреные трапезы. Изъеденный жучком шкаф, в котором содержались наши пожитки, портрет Боба Дилана на стене, старенький магнитофон, вот и все наше достояние. На стене же висит сетка с любимыми книгами, подальше от кровати, чтобы в них не забрались клопы, - и все же с кровати до нее можно дотянуться рукой. Вместо тусклой лампочки на заново побеленном потолке - лампа дневного света. Служитель музея оправдывает это непрекращающимся паломничеством иностранных туристов. Как сейчас вижу своего мужа в затертых вельветовых брюках, грязной майке и драных носках. Собираясь в гости, он надевал единственный костюм, который бережно хранился в шкафу до тех пор, пока его не сожрала моль. Из окна открывается прелестный вид на парк и старинную церковь, а раньше здесь был проходной двор, в грязи которого утопали машины. По-прежнему уборная отделена от нашей комнаты тонкой деревянной перегородкой (хоть и свежевыкрашенной). Соседи проходили туда через нашу комнату, к чему мы быстро привыкли, тем более что по ним можно было проверять часы. Два слова о соседях. Спокон веку, еще до рождения Лапенкова, здесь жили милиционер с любовницей, бывший уголовник и старик-старьевщик, собиравший по квартире мусор и сдававший его в утиль. Мой муж рассказывал, что начала этому он не упомнит: милиционер неустанно жил с одной и той же любовницей, уголовник считал себя бывшим, а старик варил купленную на вырученные деньги тухлую капусту и запивал ее политурой. Соседи также родились в этой квартире, здесь они выросли, состарились и умирали в запертых комнатах. По неделям гнили их трупы, но привыкшие к вони, мы не скоро это замечали. Не хочу сгущать краски и говорить, что мы жили в крайней нищете. Не совсем, иногда, когда у нас заводились деньжата, мы покупали у мальчиков, ловивших рыбу в Обводном канале, так называемую кобзду, приглашали друзей и закатывали пир..."

x x x

Выдержка из школьной хрестоматии за курс четвертого класса общеобразовательной школы:

"Владимир Борисович Лапенков всю жизнь страдал зубной болью. Желая избавиться от нее, он поочередно выдрал себе все зубы, но тогда у него стали болеть десна. Отчаявшись, он попытался отрезать себе голову, но сделал это так неудачно,что заболел и умер от заражения крови. Страна потеряла своего величайшего сына.

Ребята! Следите за своими зубами, своевременно посещайте врача,и вас не постигнет участь гения".

x x x

"В.Б.Лапенков не любил говорить о себе, он утверждал,что музыка его книг (по ошибке он называл свою прозу музыкой) сама скажет все, что нужно. Но как-то, за кружкой водки,он разоткровенничался и признался, что Александр Исаевич Солженицын однажды спас ему жизнь, прикрыв грудью от пули экстремиста,с возгласом: "Убейте меня, но Искусства вам не убить!" Впрочем,Александр Исаич еще долго здравствовал, так как выстрел был холостой".

Из сборника "По следам Лапенкова",
глава "Швейцары рассказывают..."

Гренландское изд-во "Чудовищная литература"

Ла - пенков! Суперстар!
Открываем мемуар.
Ла - пенков! Сверхзвезда!
А там - вареная кобзда.
Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л

Если бы мальчику, неохотно вышедшему из-под прикрытия смеющейся листвы, сказали, что через несколько лет, таким же июльским вторником, он в обществе двух равно ревнивых подруг будет ехать к приятелю, чтобы говорить с ним об Эуригене,Тертуллиане, Клименте Александрийском, Лиутпранде Кремонском и Бернарде Клервосском, пересыпая свою речь цитатами из Прокла и Экклезиаста, то призрак самоосуществления, предложенный грядущим свидетелем, лишь пронзил бы его еще одним неясным импульсом боли,но мальчик, огороженный неоконченностью лета, погружал свой страх в плотнозеленую дымь знакомства с сыростью рощи, где пряная одурь хвощей усиливала тошноту, соблазняла истомой безвременья, внесуществованья, пахучестью мягких ворсистых бугров меж деревьями,опутывала тишиной, но что-то (что именно?) отрывало его от вязкого зова земли, заставляло уйти, и выход из леса был схож с медленным постыдным раздеваньем, наполнявшим тревожно-острой беззащитностью каждую клеточку обнажаемого тела,

а мальчик понял, что его вело, только когда сел за колченогий стол, покрытый грубой клеенкой, открыл толстую тетрадку и, пролистав несколько страниц, четким почерком написал:

"Глава первая

Стояла осень 1652 года. В лесах у реки Св. Лаврентия охотились трое друзей-французов..."

...Читать я не мог - болела голова, и чтобы скоротать время,я стал сочинять про себя,чуть пожевывая разбитыми губами,всякую чепуху: стишки, названия ненаписанных произведений и т. д.

"Данилыч тянул виски "Белый Бокир" и пел благим матом на известный мотив: "Ты меня не любишь, не жалеешь, Клава!.."

Это из книги "Треск и суета партизанов". А вот еще книга: "Письма из города Кастратова" - дань эпистолярному жанру. Но лучшим моим произведением будет авантюрная повесть "Дромадер из дермантина" с множеством пикарескных отступлений. Начнется она посланием Великому Могнолу:

"Дорогой Могнол!

Посылаю тебе свои стихи. Будь так добр, пришли мне свой отзыв по адресу: Москва, радио, Тане Таракановой".

Вот эти стихи:

Гениальность - не порок, мой бог.
Самогонку пью как грог - продрог.
А Спартак - не Пастернак, а так.
Ах, растак вас перетак! - бардак.

(добавление Миши Тараканова)

Пробовал еще что-нибудь сочинить, но всё без толку - никто не приходил...

...Ищу себя на чердаке, в уборной, но там меня нет. Может быть, я сейчас краду у малышей игрушки - несколько вазочек для песка, совок, свистульку, еще что-то - чтобы спрятать все на просеке, зарыв в песчаную почву под телеграфным столбом, а затем пометить на самодельной карте крестиком - "клад"? Пожалуй, это было позже. Тогда где же я?.. Память бессильна. Стены не расступаются,я сижу на кровати,глядя через оконное стекло на двор, лицо совсем никуда не годится,в виске хозяйничает огненная мошка. В животе заурчало, и желудок сжало как тюбик, выдавливая из него боль... Боль стала мостиком, я разогнулся и вышел на берег. На посиневшей, покрытой пупырышками коже, выделялись жгуче-красные пятна - следы удара о воду. Алька поднял с земли мои сухие плавки и, вертя ими над головой, стал бегать вокруг и корчить гримасы. Ребята смеялись. "Ну, догони!.." Я бросился на него,но промахнулся, от бешенства слезы навернулись мне на глаза. "И не собираюсь. Сам отдашь". "Фигушки!.. Великий зверолов остался без портков!"

"Дай ты ему!" - посоветовала мне алькина младшая сестренка.

"Испугался?" - крикнул Алька, которому уже наскучило, что его не догоняют. - "Какой же ты индеец?"

Я наморщил лоб и процедил зло:

"Я не индеец". - "А кто же ты?"

Я еще больше нахмурился и кинул презрительно и гордо:

"Я - писатель, вот кто!"

За моей спиной пролился тихий смех. Я обернулся к женщине, закрывающей книгу.

- Подойди сюда, писатель.

Она все еще улыбалась и щурилась в стоячей колбе солнечного света. Я подошел, и мой взгляд приковали жаркие бьющиеся груди, еле сдерживаемые бледным купальником. Она чуть приподнялась, и груди, как кулаки боксера, обрушились мне на голову, целя в затылок и в висок...

...Я вновь обозреваю мусорные поля. Мусор-властелин. Он произрастает из грязи огромной ядовитой орхидеей, одуряющей и завораживающей... Что он высасывает из этой по-элиотовски трухлявой, бесплодной земли? Король-мусор украшает себя коронами из ржавых консервных банок, на его груди - ордена-объедки, кусок дырявого толя - его мантия, скипетр - скрюченная железная балка. Говорить ли о троне - зеленом вонючем баке, готовом вместить в себя всю вселенную?

Генерал-мусор командует строем обшарпанных петербургских домов. Мусор-любовник преподносит нам букеты из клочьев старых газет. Мусорные зефиры ласкают потных от игры в войну детишек с гнилыми палками вместо ружей.

"Эк куда хватил! А новые районы? А многоэтажные корпуса? А благоустроенные улицы? А повальное озеленение города?.. Ничего не желаешь видеть, кроме своей свалки!"

Что верно, то верно, отвечаю я сам себе, - смотрю на мир сквозь дырку прохудившегося ведра, слагаю гимны свалке, на которой живу. Розовые очки мои запотели, глаза в них еще больше слезятся.

Ну вот: только я собрался похулить благоустроенные районы намеком, что грязь, мол, заползает внутрь, как меня вовремя схватили за нечистую руку. Не блуди со скепсисом! Ну что ж, как говорится, виноват - исправлюсь. Начну жизнь сначала.

Ленинград - крупный промышленный, индустриальный и административный центр страны. "Окно в Европу". (Кто сказал, что "ставни захлопнуты"? Вывести и расстрелять подлеца! Так.)

Ленинград - портовый город, тут уж возражать не приходится: город-порт, так что кроме шмоток у нас бывает еще и рыба. В Ленинграде много также всяких колбас (по одному тому уже можно сказать, что Ленинград самый богатый город мира). Ко всему, Ленинград еще и город-герой. Он стал им по директиве правительства в таком-то году. Ну, что еще сказать о Ленинграде? Разумеется, о нем можно сказать очень многое. Например, в Ленинграде много живет населения, а ленинградские музеи могут поспорить с лучшими зарубежными музеями. Я не говорю уж о заводах. Что о них говорить?.. И если после этого наши враги возопят, что я талантливый сатирик, то я отвечу им как подобает: ни хуя вы, братцы, не понимаете в моих произведениях!..

Теперь слышу отовсюду голоса: Лапенков, мол, снова вырыл свой томагавк и вышел на тропу войны!.. Подлые брехуны! Вот я вас сейчас по мордасам одной увесистой штучкой!.. Что? Съели? Будет еще!

Но что за стук копыт в моей передней? Похоже, пришли мусора помочь мне устроиться на работу, устроить личную жизнь... Нет, показалось. Слава ИТэРУ! Ох, Лапенков! Куда зарвался? Заратустры на тебя нет!.. И опять в точку: где ж его достать - "Заратустру"-то?

Но тут мною овладевает грусть, я прощаюсь с читателем и на прощанье дарю ему такие стихи:

Когда струны лиры оборвутся
И голос мой затихнет навсегда,
Уйду туда, где на лугах пасутся
Тонкорунных фаллосов стада.

Переходим к следующему номеру нашей программы:

"Открытое письмо академику Сахарову"

(Из серии "Запишите на ваши магнитофоны")

"Терпел я, терпел, думал, может не стоит, да вот не вытерпел и решил тебе написать: может,задумаешься. Я, конечно, тебе не ровня, простой рабочий, кочегар, даю людям тепло,но ежели ты думаешь, что мы - это так, даже газет не читаем, то ты это зря. Я вот что хочу сказать: зачем ты народ поносишь,с фашистами спутался? Тебя страна академиком сделала, а ты?.. Вот что: ты это брось! Мы за мир, и ежели тебе это не нравится, ежели ты может хочешь на нас всю эту свору натравить, то фиг! Понятно? Дали бы мне автомат... да чего говорить, не маленький, сам понимаешь. Напоследок я тебе вот что скажу, по-нашему, по-русски: лучше ты, падло, не зарывайся, пиздюк поганый, а не то - сам знаешь!.. Так что с приветом,

Василий Скукин."

x x x

Но вот дверь резко распахнулась, и в комнату вошла молодая... Как же я не услышал шагов? Не могло этого быть. Еще раз, пожалуйста! Действительно. Или треск в башке все заглушает? Дверь бесшумно распахнулась, и на пороге показался молодой ирокез с томагавком в руке... Нет, конечно, нет. Никакой не ирокез. Она вошла, вся в роскошном ритме бедер, вынула из сумочки скальпировальный нож... Это я заговариваюсь, не обращайте внимания. Итак, наконец-то она пришла, я не один в безбрежном лесу. Пьер, весь замерзший, бродил по лесу и искал следы. Она вынула зеркальце, губную помаду, краску для ресниц, польские "тени". Залп был удачный, детина-ирокез в боевой раскраске замертво повалился на землю. Кусочек сюра, подумал автор и сник, так как она продолжала краситься, словно его не существовало. Но индеец лежал на земле и шевелился. Любовь, подумал автор и сник. "Что это значит?" - сурово произнес Одинокий Волк. "Крупный зверь", - прошептал кто-то из охотников. Близился полдень. И все-таки я люблю ее, печально подвел итог автор, но вслух ничего не сказал. Она достала сигарету, и он замешкался, давая ей прикурить. "Ветер доносит запах дыма, - сказал Язык Лосося, - там горит лес". Может быть, мне самому закурить, подумал автор, но не решился: слишком болели распухшие губы. "Ты подрался?" - спросила она. "...и огненную воду, - добавил офицер, - решайтесь!" О нет,устало произнес автор, ты же знаешь, я пацифист. "Бледнолицые! Уходите с нашей земли!" - воскликнул Высокое Облако. И Пьера помес-

тили жить в вигваме Красной Белки. Была весна. Жена Большого Хорька была страшно взволнована. "С тобой это не впервые", - строго произнесла она. Вот след медведя, вот убитая самка. Автору хотелось застонать, но - ЭТО БЫЛО БЕСПОЛЕЗНО ПОТОМУШТО ЭТО БЫЛО ЛОШЕДИНОЕ ЛОГОВО. Величавое солнце клонилось к закату. "В тебе нет ни капли..." Но вот вдали показались страусы. "Пить!" - прохрипел Антуан. "Ты же мужчина, - сказала она, - потерпи". И еще раз смочила ему борным спиртом ссадины на лице. "Ты что-нибудь ел?" Пьер, весь замерзший, бродил по лесу и искал следы. Вот след медведя, вот убитая самка. Я не могу, ответил автор,потом подумал: а все же я люблю ее, и тяжело вздохнул. Солнце скрылось за вершинами гор, и автор вздохнул еще глубже,но вслух ничего не сказал.

Глава одиннадцатая, повествующая о том, как к Автору явился Великий Маг и что из этого вышло.

Как известно, маги приходят вечером, но Автор об этом ничего не знал и шлялся по всяким омутам, а когда пришел домой и отпер дверь, то увидел Мага, сидящего на кровати и уплетающего апельсины, которые были куплены Автором на последние деньги для жены, лежавшей в больнице. Заметив, что хозяин вернулся,Маг молниеносно вытер полотенцем руки и поздоровался. О,это была встреча титанов, достойная пера живописцев и тех поэтов, с коими не смеет себя равнять безымянный историк. Но продолжаю.

- Я, собственно, к вам с чудесами, - сказал Маг, закуривая.

- Я вижу, - произнес Автор. - А как вы собираетесь начудить? Если исполнением желаний, то у нас тут в квартире водопровод засорился...

- Нет-нет, это не по моей части, - поспешно сказал Маг, - я работаю по предсказанию будущего и по вызову духов, всяких там умерших личностей, да кого угодно. С кого бы вы хотели начать?

- Даже и не знаю, - растерялся Автор, - ума не приложу. Полагаюсь на ваш выбор.

- Мне-то все равно. Но можно начать хоть с Юлия Цезаря или там с Ивана Грозного...

В комнате материализовались двое вышеупомянутых: Цезарь брился остро отточеным клинком, а Иван Грозный был какой-то облезлый и сосредоточенно зевал.

- Ну, задавайте вопросы, - сказал Маг, угощая гостей сигаретами.

- Что поделываете?

Грозный презрительно сплюнул и промолчал.

- Он сегодня не в духе, - сказал Маг, мановением руки убирая обоих. - Хотите вызову Иосифа Джугашвили?

И, не дожидаясь ответа, щелкнул пальцами. Перед ними появилась измученная грузинская женщина с огромным животом и отвислыми грудями. Она с тоскою поглаживала себя по животу, который бешено пульсировал, словно что-то внутри него в гневе пыталось вырваться наружу.

- Ошибочка, - сказал Маг, убирая и ее. - Что-то у меня сегодня не ладится...

- Да вы не волнуйтесь, - успокоил его Автор, - мне это, в общем-то, ни к чему. Попьем чаю?..

- Погодите, - сказал Маг, - я понял,что вам надо.

Он радостно гоготнул и вновь щелкнул пальцами. Комната преобразилась. На полу, усеянном облигациями государственного займа и билетами Спортлото, с уже проставленными на них выигрышными номерами, возвышалась кровать с балдахином,а на ней возлежал голенький мальчик с песьяком на глазу.

- Пардон! - крикнул Великий Маг,приходя в воодушевление: на кровати уже нежилась обнаженная женщина с роковым взглядом и без всяких лишних песьяков и раковых опухолей.

- Вот теперь все, что нужно! - улыбался Маг. - Не то что в прошлый раз, когда я создал женщину без бюста и вдобавок лысую. У этой никаких недостатков, а уж бюст - в избытке. Ну,как? - Он с надеждой поглядел на Автора. - Любуетесь?

- Любуюсь, - печально сказал тот. - Но должен вас разочаровать. Видите ли... дело в том... как бы вам объяснить...

- Вам что? Не нравится? - вышел из себя Маг, уничтожая красоты. - Какого черта вы мне морочите голову? Люди соглашались и за меньшее: за бесплатную путевку, за запасное колесо для машины... Вы, часом, не Вечный Жид?

- Не вечный, - отвечал Автор с грустной интонацией. - Но на что соглашались люди?

- Херней не заниматься, - сухо сказал Маг и выругался поволшебному. - Вы - мазохист? Взгляните сюда!

Он протянул руку, указывая в окно на двор.

- Прелесть! Всю жизнь так будете жить? Не завидую.

Автор развел руками.

- Не вижу способа...

Маг перебил его, сразу переходя на "ты":

- В общем, вот что: пеняй теперь на себя. Ежели что, то ты предупрежден. Прощай, гражданин Лапенков!

- Прощайте, гражданин Скукин.

- Что?.. Как ты догадался?

Автор потупил взор.

- Вы уж ТАМ нас гениев совсем за дураков принимаете.

Великий Маг оглушительно скрипнул зубами и вышел через окно.

x x x

Автор спал неспокойно. Едва заметные подергивания выдавали отчаянную борьбу, которую он вел во сне. Ловко накинутый аркан сдавливал горло, Великий Маг волочил его по Красной площади. Прохожие плевались зубными коронками, показывали языки. Тут же на Лобном месте вершилась расправа. Задастая богиня в красной мантии и с повязанными глазами держала в одной руке плетку-треххвостку, а в другой - початый пряник. Преступники, стоявшие с понурыми головами, подходили, откусывали положенную крошку от пряника и удалялись восвояси, а тот, кто стоял и сверлил глазами повязку на лице богини, получал удар плеткой, а затем палач в красной маске с двух-трех ударов отсекал ему голову романом "Как закалялась сталь".

- Этого вне очереди, - сказал Маг, выводя Автора на лобное место.

Неизвестно откуда появился маленький прыткий человечек в желтом смокинге, по всему видно - журналист. Он стал теребить Мага за штанину.

- А может мы его - того? Ко мне? Я ему почитаю свои вещи - пускай помучается?..

- Нет. Таких лучше сразу... Начинай! - крикнул он палачу.

Последние фразы Автор уже додумывал сознательно, очнувшись на середине сна, не желая упускать интересного сюжета. Но сюжет дошел до крайней точки: терять голову не хотелось, а иного выхода Автор не видел. Вполне приемлемое продолжение могло найтись вновь только в сфере "подпольного кино" сновидений, ведомого туманными мотивами свободного "хеппенинга". Автор закрыл глаза, мысль его сосредоточилась на плахе, словно в ней заключался ответ...

На листе бумаги нарисован человечек. Голова изображена кружочком, туловище - неровным эллипсом, руки и ноги - палочки с пятью ворсинками на каждой. Это Лапенков. Рядом портреты его закадычных приятелей - Генки, Альки и Женьки. Они также состоят из кружочков и палочек. В руках у них палочки потолще - мечи. Вокруг - пестроцветные деревья, дома с курящимися трубами, в густых кустах прячутся враги. Нет, это не кусты - враги побеждены в бою и справедливо исчирканы карандашом. Неподалеку - танки с предлинными зеббами. Тоже зачеркнуты.

Женька делает выпад, но я его отбиваю,
Деревянная шпага остра
И коварна, как жало змеи,
Пусть не "газель", но "танку"
Детство себе сочиняет.

Потерь среди нас нет, но есть приобретения. Например, у меня на указательном пальце вздулся огромный желвак. Лето кончается, поэтому я вскоре вернусь домой, в город, с перебинтованной рукой, с "ячменем" в глазу, с дурным настроением и страхом перед началом школьных занятий. Тогда на одном из уроков я вновь незаметно нарисую в тетрадке себя и своих друзей. Уже отчетливо проступают лица, мы становимся непохожими...

Почем килограмм воспоминаний? А кто торгует килограммами? Так тяжело найти свой собственный грамм, гран, грань. Хорошо если гран настоящий, грань не затерта в этом скопище чужих и чуждых граней. В раковине, с трудом вытащенной со дна, не жемчуг, а комочек грязи. Ей не грозит расставание с морем. Хорошо быть комочком, пусть даже грязи, он естествен, неуязвим, безбрежен в среде себе подобных. Бессмертен...

В плахе заключался ответ. Твердый, конечный, как восклицательный знак: точка отделена от линии коротким промежутком, как бы подытоживая самою себя. Она неплоха эта плаха, она восхитительно хороша, она совершенна. Кружочек расстается с эллипсом и с палочками, прошедшими свой жизненный путь. Торжество геометрии.

x x x

Автор проснулся вялый и потный. Ему снились очертания изломанных фигур, какие-то пятна и еще что-то, чего он не мог уже вспомнить. Он долго пил слабый чай, попробовал закурить, но во рту стало так противно, что он с отвращением швырнул сигарету в угол комнаты, где стояло ведро. Взглянул на себя в зеркало и остался недоволен. "Вот след медведя..." С такой рожей, конечно, никуда не попрешь. Больше придумать было нечего, он отыскал в бедламе ручку и вырвал лист из конторской книги.

"Портрет и автопортрет Автора"

Рост: полтора-два метра.
Лоб: густой, вьющийся.
Нос: прямой, орлиный.
Глаза: неразборчивые.
Зубы: о зубах ниже.
Шея: веселая, дружелюбная.

О зубах я обещал рассказать ниже, но ниже у меня есть и более интересные части. Например, ноги. Ну, что сказать о ногах? Их у меня ни много, ни мало... А впрочем, не все ли равно? Расскажу лучше об ушах. Уши, на мой взгляд, даны не для того, чтобы щеголять ими, а для слушания музыкальных произведений. Я отвечаю им преданной заботой, каждый день стираю их и выковыриваю серу, которая идет на спички. Спички, правда,не столько горят, сколько воняют, но ведь это первые опыты, к тому же об ушах не спорят.

Вот все, что я о себе хотел сказать. Передаю теперь слово своему другу Великому Магу, или, как я его любовно называю,Шарлатаниусу.

Василий Скукин, агент 02 с правом на юродство.

Я вот что хочу сказать: пора кончать с Лапенковым! Хватит. Размусолил тут сочиненьице, миф, видите ли, сочиняет! То есть пусть, конечно, но простите, где же тут литература? Кто станет читать эти полуграмотные вирши? Ну, я прочел. Даже понравилось. Да только зачем так выпячиваться? Кому это нужно? Для простого человека это белиберда, абракадабра, так сказать. А эстету это вообще ни к чему, он сам свое выпятить сумеет. Что ему Гекуба? Или вот пораженчество... Ладно. Я даже и не против. Пишет человек, пускай пишет, лишь бы не в рабочее время. Не нравится ему у нас жить, вот и пишет, сублимирует. Ему,может,так кажется,что до него никто еще так не писал, что форма у него о-ё-ёй, что стиль вдохновенный, гений, мол, да и все дела. Ежели ему теперь кричать, что так, мол, писать нельзя, что это ни на что не похоже, ему и в радость - это получше другой похвалы. А я иначе скажу: хорошо, скажу, пишешь, да не очень. И до тебя так писали. Детство вспоминаешь? Так и до тебя вспоминали. Свалка, говоришь? И без тебя знаем. В общем, брат, не выйдет из тебя гения. Да что там говорить! С ним порядочный гений и говорить-то не станет. Такие дела. Ты б мне лучше ответил, а на какую-такую гениальную зарплату ты своих детей кормить будешь? Молчит гений. Как йог молчит. Вы вот, может, тоже думаете: дурак, Скукин,кос-

ноязычен, Скукин. Напрасно. Я в кабинете-то иным языком говорю. А кто-то считает: Иудушка, Скукин. Ну, уж если я Иуда, - то Иуда Маккавей!..

В общем, пора кончать с Лапенковым! Пора.

КОНЧИНА ПЕРВАЯ

Нечто вроде эпиграфа:
"Глаголом жгу в чужом мозгу"

ХУДОЖНИК

(Эссе)

Проблема художественных натур - одна из труднейших и щекотливейших проблем в современном мире. Как вовремя опознать и обезвредить художника? Над этим вопросом поломали головы представители не одного поколения. Прошли времена, когда художника хватали по первому подозрению и лишали способности к творчеству при помощи замуровывания, четвертования или кастрации. При теперешних до нелепости гуманных законах столь простой и действенный метод исключен из практики здравомыслящей части человечества. Поэтому нужно не причитать об ушедшем золотом веке, пуская слюни, а засучив рукава, браться за дело в поисках новых возможностей борьбы. Сегодняшний художник - это уже не прежний мечтательный юноша, отрешенный от всего земного, которого легко было отличить от нормального человека и принять соответствующие меры. Сейчас ему свойственна умелая адаптация и защитная мимикрия. В этой связи не лишне отметить, что чем более изощряется методика преследования, тем более искушаются в хитростях ее объекты. Казалось бы, сражение обречено вестись вечно, с успехом 50 на 50. Но догматики просто забывают о том, что *полная* эластичность, приспособленность и неуязвимость превратили бы художника в его противоположность, то есть в человека нашего лагеря. Отсюда ясна необходимость конструктивного рассекречивания слабых сторон артистического индивида, которых у него, при условии его подлинности, не может не быть. Разберем несколько стержневых моментов в общей структуре врага. В первую голову, художнический темперамент определяется извращениями в области секса - однополая любовь, всевозможные изыски в постели, а кроме того - мастурбация - первый признак индивидуализма, преувеличенный страх перед импотенцией и прочие другие тонкости. Развратное и гнусное чудовище, художник падок на лесть, сочетает скрытую неуверенность в себе с повышенно громкой бравадой самооценок, завистлив, мнителен, болезненно переживает трудности адаптации, несдержан в эмоциях, нервозен, пуглив, быстро переходит от одного душевного состояния к другому, психически неустойчив, привержен к наркотикам, недоверчив, любопытен, сластолюбив, злопамятен, безмерно самолюбив, над-

менен,кичлив,неразвит физически, ленив, нечистоплотен,непостоянен в любовных связях, болтлив, непрактичен, пошл,циничен,лжив, ехиден, нелюбезен, непочтителен, корыстолюбив, нелоялен, глуп, вероломен, ради красного словца не пожалеет и отца,а также сотни и тысячи менее важных пороков...

Тупая неприязнь здесь бесплодна, только гибкая тактика приносит результаты. Художник, достигший зрелой поры,но не достигший успеха, озлобляется и начинает представлять серьезную угрозу. Наилучший способ его обезвредить - сделать его легальным, предоставить официальную аудиторию, обеспечить материально,дать доступ к публикации. Теперь у него есть квартира, он не беспокоится о куске хлеба,его не травят,а только дружески критикуют, направляют, советуют. Он весь на виду, его семья, если таковая имеется, полностью зависит от высокоидейной насыщенности его произведений. Художник уже понимает, в чем залог его благополучия, от чего зависит он сам и его семья, в нем уже нет негативного задора прошедшей юности. Больше того, те укоры совести,что не могут иногда не возникать, он заглушает выработанной в этой связи философией самооправдания, без которой ни один человек не уклонится от самоубийства. Трусость он назовет мудростью, проституцию - стремлением донести свою мудрость до читателя (зрителя), аморфность - гибкостью, низкопоклонство - чуткостью к веяниям времени. В довершение всего, он проникнется ненавистью к молодым талантам, которые, впрочем, могут вполне повторить его путь. Таким образом, былое ничтожество станет равноправным членом нашего общества и будет всемерно содействовать дальнейшему прогрессу.

Это лишь один из методов, и далеко не всегда он применим. Предположим, что перед нами еще незрелый и непокорный бунтарь, эдакий ниспровергатель всех ценностей. Ему думается, будто нет ничего в мире, с чем бы он не совладал,блага ему не нужны,а сексуальная неудовлетворенность прет у него из всех отверстий. Он жаждет общения, споров, похвал, он готов отстаивать свою личность в борьбе и ищет себе подобных. И он найдет их. В кругу жалкого отродья спившихся интеллигентов, рассуждающих за рюмкой о мировых вопросах, изредка намекая о ненаписанном, но гениальном романе. Когда такое общество перестанет удовлетворять юного художника, он кинется в какой-нибудь домашний кружок ценителей искусства, где его станут поучать за самую скромную плату. И наконец стопы его приведут в официальное лито, руководимое чутким конъюнктурщиком уже описанного выше типа. Если юнец не сомнется и не пойдет по стезе, которую ему предложат (о! совсем не настойчиво!) в данном месте, он будет обречен на одиночество. Некрепкое здоровье нашего друга и врожденные порочные склонности не позволят в течение долгого времени бороться с миром один на один. Или-или, как говаривал покойный Киркегор. Впрочем, только один из тысяч таких уродцев способен понять, что путь в одиночестве единственно верный путь, даже если на него не хватает сил. Но на деле все произойдет иначе. Сборище фанатиков от искусства заглотит еще одного дурачка. От этого сборища так пахнет лавандой профессионализма, елеем избранности, миррой добродетели, а главное, от него исходит отсвет этакой тихой угнетен-

ности. Только мы, мол, несчастные труженики пера, понимаем друг друга, сохраняем и привносим культуру. Ох уж это злое современное общество! Но что делать? Живем себе потихохоньку, да знай пишем чего-нибудь...

Понятно, разумеется, что тут и есть кульминационный пункт борьбы против всякого не в меру строптивого бунтаря. Нам почти не приходится вмешиваться в эту борьбу, она идет своей дорогой, саморазвивается, не брезгуя никакими достойными приемами,и всегда приходит к логическому результату. В кругу расфуфыренной бездарности и кичливой косности юный художник будет неминуемо раздавлен, так и не стяжав венца мученика, а талант его отравят и уничтожат. Мы ни в коей мере не станем пачкать об него руки,мир продажных мудрецов и оргиастирующих тупиц, дополненный блестками так называемых творцов, неизбежно придет к *самоуничтожению.* На этом мы и заканчиваем наш краткий обзор на самую животрепещущую тему - как опознать и обезвредить художника.

КОНЧИНА ВТОРАЯ, НО НЕ ПОСЛЕДНЯЯ

Пусто Прусту-Златоусту!
Не простим непростоту,
Буржуазной проститутки
Построений пестроту.

(*Из ни к чему не относящихся эпиграфов*)

Известный Путешественник, возвращаясь из Китая, проезжал по Неизвестной Стране. Бричку трясло на неровной пыльной дороге. Путешественник, завернувшийся в дорожный плащ, зевая, осматривал пустынную местность. Вдали показалась цепь невысоких красновато-багровых гор.

- Где мы заночуем? - спросил Путешественник у кучера и сплюнул набившуюся в рот пыль вкуса и цвета ржавчины.

- Тута должон быть городишка, - отвечал возница на языке туземцев, - в аккурат вон за той горкой.

- Не Распадобад ли? - вновь спросил Путешественник,говоривший на всех языках, которые ему только были известны.

- Он самый, Распадлодат ихний.

Смеркалось. Прохладный ветерок овевал морды лошадей и путников. Парило как перед дождем. Путешественник поежился,и словно в ответ на его мысли из-за горы показался город. "Так это и есть цитадель культуры?" - подумал на своем языке странник. Они заночевали в трактире, а утром Путешественник нанес визит мэру. Мэр города, некто N, был полный человек приятной наружности, с ухоженными бачками, к тому же покровитель искусств и вообще чем-то отдаленно напоминал гамадрила.

- Иностранец в нашем городе - это событие! - всплеснул ручками господин N. - Жаль, жаль, что вы не приехали к нам раньше. Вы бы такого навидались!.. Увы, городок захирел, пустует, почти все разъехались. Кто умер. Но большинство все же уехало, не выдержало захолустной жизни. Печально. Но я обязательно покажу вам

все, что осталось от лучших времен. Музеи - ну, словом, всё. Вы ведь надолго?

- Нет. - Путешественник состроил скорбную мину. - К сожалению, вечером я отбываю дальше. Соскучился, знаете ли, по цивилизации.

- Вот так и все, - вздохнул мэр. - Поглядят,посмотрят и вот уж их нет. А каким грандиозным город казался вначале!.. Да. Ну, давайте пройдемся по улицам. Кое-что у нас еще есть.

- Вы видите? - продолжал мэр, когда они вышли на разухабистую, поросшую бурьяном дорогу. - Вот здесь был кинотеатр имени Айвазовского, там и сейчас фильмы показывают. Тут музей изобразительных искусств, но мы зайдем сюда позже. Да, немногое осталось от великой эпохи... Вы, верно, читали в газетах о том славном периоде, когда в нашей стране велась бескровная война против нигилизма в искусстве? Вопрос был поставлен ребром: хочешь быть ниспровергателем, гением, наконец, - будь им. Хочешь остаться цельным человеком - пожалуйста, будь так любезен, оставайся. Никакого принуждения. В основном оставались. Тому же,кто объявлял себя ни на кого не похожим, предоставлялось прекрасное место - новый строящийся город Распадобад. Архитекторы, Распадуев и Гробиус, сделали все, чтобы самозванные гении могли здесь жить и творить в свое удовольствие. И главное - добровольно. Настаиваешь на своей гениальности - поезжай,согласен быть как все - оставайся. В Центре сразу стало спокойно, а сюда кто только ни наехал!.. Вот будем на кладбище, покажу вам наших знаменитостей...

Между тем, минуя ряды полуразрушенных домов, они подходили к кладбищу.

- Вы спрашиваете о правах здешних жителей? Не беспокойтесь, права́ здесь те же, что и ТАМ: право на труд, на кино и на женщину. Еще раз подчеркну добровольность. Никто тебя не принуждает идти на лесоповал, но и ты (простите, вы) не принуждайте давать вам не заработанную пищу.

Мэр задумчиво пошевелил челюстями.

- О чем я говорил? О свободе творчества?.. Истинное творчество всегда свободно, но у нас оно свободно вдвойне. Все жившие тут художники не зависели от издательств, как кое-кто на Западе, они могли сочинять все, что угодно (тем более, что угодные произведения в цене), придумывать любые чудачества, критиковать любые устои, не оставляя от них камня на камне... - Он мельком взглянул на дома. - Они могли услаждать своими вещами соседей или же отсылать их в Центр, где для этого существует особый отдел. Короче, культурная анархия, рай для свободного художника...

Путешественник споткнулся и резко дернул ногой, попавшей в расставленный силок. "Черт подери! В чем дело?"

Неподалеку стоял вигвам, струйка дыма говорила, что он обитаем.

- Не удивляйтесь, - поспешно сказал N, - это силок на птиц. Здесь живет бывший профессор истории П-ского университета Гипертоник Б.Д. Он окончательно порвал с прошлым и весь в осуществлении руссоистских идеалов. Вам обязательно нужно с ним познако-

миться. Романтика наших дней... Но вот и кладбище. Осторожнее, это святыни!...

Вырытые ямбы поросшего хореем кладбища заждались оставшихся поэтов. Всюду на могильных плитах виднелись полузатертые и свежие эпитафии.

- Кого там хоронят? - спросил Путешественник. Мэр пригнулся, чтобы лучше видеть, лицо его вытянулось, он стал напоминать муравьеда из Пекинского зоопарка.

- О! Это великий артист, Б-ский Р.Р., - восторженно сообщил он, выпрямляясь и вновь превратившись в гамадрила. - Замечательный был человек! Увы, отсутствие публики и излюбленных напитков сделало свое черное дело. Выводится наш брат гений, а пополнения что-то не видно. Как говорится, такова она "се ля ви" жизнь. Но не будем о мрачном, взглянемте-ка лучше на наши музеи...

- Стыдно вас огорчать, - сказал Путешественник, - но мне захотелось прибыть в другую страну.

- Как жалко, - сказал мэр Распадобада, чуть не плача, - Гипертоник Б.Д. так мечтал о встрече с Юнгер-Маком...

- Здесь все так ясно, - сказал Юнгер-Мак. - Неизведанные страны манят меня...

Конец четвертого оргазма.

между актами

Пока Юнгер-Мак и Лапенков отсутствуют, один в Неизвестных странах, другой - неизвестно где, позволим себе развлечь читателя небольшой вариацией на тему изящной словесности.

см. или не см. след. стр.

ТУРГЕНЕВ И НЕКРАСОВ

Когда Иван Сергеевич Тургенев подошел к дому Некрасова, Николай Алексеевич уже ждал его в парадном подъезде, коротая время с размалеванной вислозадой девицей самого молодецкого вида. Писатели облобызались.

- Ванюша, родной! - воскликнул Некрасов. - Не забыл еще дороги?! Сколько мы с тобой не видались?.. Пойдем скорей ко мне. Ты, верно, озяб...

- Что за прелесть эти русские женщины! - сказал он, когда друзья поднимались по лестнице. - Вот где скрыт талант народный, не задушенный "крепью".

- Сначала выпьем, - продолжал он,отдавая слуге шубу и трость Тургенева. - Ты прямо из Парижа?

- Нет, - покачал головой Иван Сергеевич, - я уже побывал в Спасском и в Москве.

- Москва-старушка! Скворцы Замоскворечья!.. Как там Александр Николаич? Все пишет?.. Ну, по махонькой!..

Они чокнулись.

- Я за то пью, - произнес Некрасов, - чтоб вы там за границею нас не забывали и Русью не брезговали. С Богом!

- Миколка! Где огурчики? - сказал он, отдышавшись. - Обленился, скотина! Да бутылку вина похолодней! Или мы с Панаевым вчера все заприходовали? Ты на меня, - обратился он к Тургеневу, - за старое-то не злобишься? Дурно, брат. Время было жаркое, сам понимаешь: Добролюбов, то да се. А сейчас - лучшие люди - кто за границей, а кто... Про Писарева уже знаешь? Тюрьма ему впрок шла. Так, брат, расписался, что только держись: и Пушкина прохватил, и вам, барчукам, досталось. А вот к воле человек непривычен оказался. Не успел и до моря добраться, как утоп. А ты говоришь: Париж!..

- Эй, Миколка, подь-ка сюда! - крикнул Николай Алексеевич, изрядно отхлебнув из бокала. - Вино-то теплое, сучья твоя морда! Да ближе, ближе... - И отвесил слуге знатную оплеуху. - Так-то проникновеннее будет.

Тургенев поморщился.

- Уж без меня бы, Коля. Я как-то отвык.

Некрасов прищурился.

- Знаем вас, расшаркались там по паркетам. Все флоберничаете. Ничего-то в вас русского не осталось. Впрочем, я не о тебе. Выпьем!

Это была эпическая картина, восклицает Историк. Два великих человека вот так, запросто, сидели друг с другом за столом и выпивали! Густые усы, кучерявые бороды, мощные лбы, особенно у Некрасова, который уже облысел, все это впечатляло даже неподготовленного зрителя.

- Похвастаюсь своим чистописанием, - произнес Николай Алексеич после пятого бокала. - Я ведь поэму пишу, по словечку ее собираю. Дай, думаю, Русь растормошу. Да ты послушай:

И добрая работница,
И петь-плясать охотница
Я смолоду была...

Или вот:

Чего орал, куражился?
На драку лез, анафема?..
Иди скорей, да хрюкалом
В канаву ляг...

- Дальше не помню. Башка трещит... Да ты-то, ты-то как? Все молчишь?

Но Тургенев не любил говорить о себе.

- Я давеча был у Ивана Александровича, он жалуется на то, что в "Искре", как раньше в "Свистке", очень уж неумно наступают на некоторых представителей интеллигенции, тех, кого вы называете "постепеновцами"...

- У Ивана Александровича? - Некрасов вытянул губы и издал смешной звук. - У этого индюка с Моховой? Маразматик жалуется? Старая крыса. Я знаю, он заодно с Катковым. Я ему еще набью морду, узнает Некрасова!.. А про "Свисток" ты мне не говори! В нем слава России. И сейчас мальчишки-газетчики, завидев меня, кричат: "Дедушка, голубчик, сделай мне "Свисток!" Вам, либералам, этого не понять...

Он заплакал, но тут же вскочил и сказал:

- Я тебя знаю. Ты меня презираешь. - Взгляд его сделался безумным. - Но народ меня не забудет! К топору зовите Русь!!!

Он кинулся к стене, опрокинув бутылки, и схватил охотничье ружье.

- У-у!.. Всех расшибу!!!

Здесь доселе ловко прятавшийся Историк получил прикладом по голове, и окончание достославного происшествия кануло в Лету, хотя по некоторым, возможно недостоверным слухам, Некрасов был убит в завязавшейся перестрелке.

НОВЫЕ АНЕКДОТЫ ИЗ ЖИЗНИ ПУШКИНА

Как известно, Пушкин очень не любил старых евреев, зато молодых еврeек, напротив, любил очень основательно. Как-то раз один еврей сказал ему: "Нехорошо, Александр Сергеич, стариками-то брезговать!" "Да больно вы мне нужны!" - нашелся Пушкин.

x x x

Незадолго до смерти Пушкин решил сменить свою фамилию на фамилию жены. После чего он прожил еще много лет и написал романы: "Обрыв", "Обломов" и "Обыкновенная история".

Когда правая рука Пушкина окончательно приросла к члену, он стал писать зубами. Друзья удивлялись и считали эти стихи подделкой. Все ведь знали, что левой-то руки у Пушкина не было!

x x x

Когда Пушкин и вовсе сошел с ума, он решил отправиться на Северный полюс. Родные отговаривали его от этой затеи, доказывая, что там даже чернила замерзают. "Насрал я в ваши чернила!" - отвечал Пушкин.

x x x

Однажды Пушкин выколол себе оба глаза и пошел просить милостыню на дорогах. Прохожие улыбались и говорили: "Ох,уж этот Пушкин! Вечно он что-нибудь придумает!.."

x x x

У Пушкина был лохматый пес по кличке Шпиндель. Друзья часто путали его с Пушкиным, на что поэт сильно сердился и однажды облил своих детей керосином и поджег.

x x x

Мать Пушкина не особенно любила Пушкина, а сам Пушкин очень любил своего отца, Сергея Пушкина, а дядя Пушкина тоже любил отца Пушкина, а самого Пушкина любил еще больше. Даже бабушка Пушкина любила всех этих Пушкиных. Потому о них и говорится в истории: семья Пушкиных!

Но ближе к "Раману"!

глава первая

Эпиграф 1

Упейся книгою моею,
Уешься, коль охота есть,
И коль ты брюхом крепок, смею
Я предложить еще прочесть!

Эпиграф 2

Я лиру посвятил...

Эпиграф 3

"Раман" Лапенкова - настольная книга шизофреника."

Оноре де Бальзак

Эпиграф 4

Я памятник себе воздвиг,
Не трожь рукам! -
Получишь в дых!..

Эпиграф 5 *Я памятник воздвиг, он тверже медных лбов,*
К нему не зарастет тропа ортодоксалий,
Его не сокрушит упорный стук жлобов
И дух коммунистических фекалий!

Эпиграф 6 *"Раман" Лапенкова - нательная*
книга диссидента."

Лапенков

А теперь все хором: "Марш русских диссидентов"...

Глава первая (еще раз), в которой (наконец-то!) будет все, что надо: герои, описания природы, намек на интрижку и даже некоторое подобие сюжета, а главное, здесь почти не будет Лапенкова. Если это, конечно возможно.

ИСТОРИЯ МОЕЙ ГЕНИАЛЬНОСТИ

Гениальным я стал, конечно, не сразу, а немного погодя. Случилось это так. Будучи еще просто талантливым, я шел по улице, по которой сновали прохожие, одетые во множество пальтов. Стояло ласковое дождливое утро, и вышедший на панель милиционер Загадкин запросто подмигивал светофору, который все время мигал. В это время беглая лошадь бегло пробежала по *троттуару*. Она куда-то спешила, а на ней сидела толстая дама и неопределенно жевала конфекты. "Смелей!" - крикнул ей человек с лицом Шопенгауэра, торопящийся в инвалидной коляске по своим делам. Бледно-розовые птички осторожно какали на темно-серого бандита, который зачем-то ударял бабушку известного художника Семенова киркой по голове. Бабушка скончалась от переутомления. Тогда профессор Селедкин быстро засунул руки в карманы спортивных шортов и изменился до неузнаваемости. Рядом, стуча палкой, переходил дорогу Даниил Хармс, *ослепленный* удачей, пока на него не наехала "Скорая помощь". В ней со всеми удобствами устроился фотограф Кукушкин, написавший "Гамлета". Здесь его нагнал приземистый старичок с тростью и одышкой в зубах и с романом Набокова вместо фамилии. Мне стало так противно, что я пошел на Неву и дал ногой под зад Володе Горбунову, пускавшему по течению кораблики и слюни. "Ничего-то вы не поняли в романах Щедрина!" - крикнул он, высовываясь на Большую землю. Я хотел было ударить его в катаракту, но передумал, так как вдруг понял, что стал гениален.

x x x

Отчетно-ревизионная комиссия по делам психбольниц обследовала ряд санаторно-трудовых лечебниц Заполярного края. Ею была выявлена новая тенденция в жизни и деятельности постоянных обитателей этих мест, своего рода завсегдатаев психоделизма. Так, пациенты оздоровительного лагеря им.Берии, насчитывающие в своих рядах полтора десятка Че Гевар, девять Фиделей Кастро, семерых братьев Кон-Бендитов, двух Рудольфов Дучке и одного Хрущева, стали проявлять неуклонное желание считать себя Лапенковыми. По-

чти все названные здесь личности обменяли свои "ergo" на имя упомянутого фюрера интеллектуализма или антиинтеллектуализма, что в сущности одно и тоже. В популярном лагпансионате им.Мусы Джалиля наблюдалась та же картина. Лапенковыми стали бывшие Наполеон Бонапарт, Ричард Никсон, Муссолини и некто Иван Голышов. Причем, по данным медицинской экспертизы, Наполеон и Никсон оказались настоящими...

(Из газет)

наша почта

Почитатели таланта Лапенкова, неудовлетворенные теми скудными сведениями, которые он сообщает о себе в своих книгах, бомбардируют редакцию письмами с просьбой ответить на те или иные вопросы. В частности, читательница из Великих Лук задает нам интересующий ее вопрос весьма интимного характера. Отвечаем вам, Марья Кузьминична:

- Доподлинно нам неизвестны его размеры. В воспоминаниях современниц эта цифра колеблется в пределах полуметра. Кто был прав, сейчас уже трудно установить. Каждому ясно, что не сантиметрами меряется гениальное. Поэтому хочется думать, что величина сия менялась в зависимости от обстоятельств, и все писавшие об этом предмете были правы по-своему.

Школьники из поселка Жохово, Ярославской области, спрашивают, какие отметки получал Лапенков в школе.

- Судя по воспоминаниям самого писателя, до второго класса он учился очень хорошо, а потом, цитируем: "...я взялся за учебу всерьез, и она пошла у меня совершенно фантастически...", то есть еще лучше. Владимир Борисович окончил даже несколько средних школ, из них пять экстерном.

Знатный дояр совхоза "Великий Пост", скрывшийся за инициалами К.А.Л., интересуется, любил ли Лапенков животных? Отвечаем:

- Лапенков, конечно же, беззаветно любил родную фауну, не исключая гадов и насекомых. Но особенно сильно он любил правительство. Приводим выдержку: "...правительство люблю я *особою* любовью".

(Еще раз про Лапенкова)

"избранные места из телефонных разговоров с друзьями"

(Редакция благодарит за магнитозаписи, любезно предоставленные ей архивом ГБ.)

"В книгах философов я долго пытался найти свой путь. Глупец! Я не понимал, что "путь" давно уже выбрал меня и свернуть с него можно было, лишь свернув себе шею."

x x x

"Я удивил своим вопросом девиц, страдающих отсосом."

ж ж ж

"Самым смешным в построениях Маркса было то..." *

ж ж ж

"Перефразируя Киркегора, скажу..."

ж ж ж

"Самое интересное у женщины - это..."

ж ж ж

"Ох, уж это "общество потребления"! Нам, слава Богу, потреблять нечего и не на что."

ж ж ж

"Записывайтесь в доноры для клопов!"

ж ж ж

"Писательское дело - нехитрое."

ж ж ж

"Нужно ли далеко ходить, чтобы занять 30 сребренников?"

Глава осьмая, в которой Автор делится своими впечатлениями о Европе и попутно дает советы жителям Нового Свету.

В русской поэзии стало уже традицией рифмовать Европу с одной не слишком благородной частью тела, именуемой изредка тазом. Но при моей склонности ни во что не верить, не потрогав предварительно предмета руками, я решил все же взглянуть на Европу, так сказать, с птичьего полету, то есть изнутри, посему и предпринял столь опасное, длительное путешествие в 55 000 (уподобляясь своему герою), чтобы изучить быт европеоидов и, как я уже говорил, потрогать Европу руками.

Ну, Европа, как многие наверно знают, омывается с севера Северным Ледовитым океаном, с запада - Атлантическим и с юга, почему-то, Средиземным морем. Ну, страны славянского порядка меня интересовали опять же не слишком, и я попросил высадить меня

---

* - Многоточием отмечены купюры - *Автор*.

для начала в Германии. Ну, а где Германия,там и Берлин. Попервости берлинцы приняли меня не особенно резво, их удивило, что я сразу полез на берлинскую стену, но узнав, кто я такой, все в момент заулыбались и разрешили мне погулять по стене,расписаться на рейхстаге и даже разбить палатку в Трептов-парке. Мне показали переводы моих произведений на немецкий, но они мне не понравились: я плохо вышел там на фотографиях и даже один ус кверху. Слухи о моем появлении распространялись со скоростью звука и даже еще быстрее, где бы я ни появился, меня уже ждала теплая встреча,а жители Гамбурга даже преподнесли мне ключи от города. Такой оборот дела меня как-то смутил, не люблю я этой официальщины! Я пытался поначалу объяснять, что путешествую инкогнито,частным образом, но европеоиды народ настырный, их не переубедишь: забросали, конечно, цветами и прочей чепухой. В самолете, когда я летел из Германии в Париж, со мной находился не то какой-то известный киноактер, не то кто-то из битлов. Он страшно злился, что не у него одного берут автографы, и даже подошел ко мне и пропищал: "А ты кто такой?" Ну, я, известно дело,хрясть ему без разговоров по зубам и сразу книжку в морду сую. Он увидал мою фамилию на обложке, так чуть не обклался, даже зубы подбирать перестал. Впрочем, все обошлось, зубы у него были все равно не свои, и он быстро их опять приладил. А на аэродроме ему вновь не повезло: он оказался на пути кинувшейся ко мне восторженной толпы, так что, боюсь,ему там не только зубы поломали. Но в Париже я решил сразу это дело пресечь: или, говорю, пусть меня поклонники не донимают, или я сразу улечу назад. Помогло. Но французы, таки, по-своему вывернулись - стали в тех местах,что я посетил, памятники ставить, а самые места, если мешали, сносить. Хотели даже Лувр снести, но я настрого запретил - есть и в Лувре на что посмотреть! Был я и в "Максиме", отведал впервые в жизни национальных русских блюд,а переводчик,приехавший со мной из России, так и вовсе объелся икрой, думали, что умрет,но выкарабкался, хотя и пришлось его отправить домой на диету. В общем, Франция мне понравилась, страна веселая и непринужденная, правда, несколько шумная, но тут уж я сам отчасти виноват. Из Франции я завернул в Испанию, где приглядывался к нравам испанцев. Они охотно делились со мной своим житьем-бытьем,фруктами и корридой. Мне полюбились их простые замашки, и я пообещал черкнуть об испанцах пару слов в одном из будущих рассказов. Испанцы дружный народ и хорошо говорят по-испански. Если бы не жара, я остался бы в Испании подольше, но надо было еще посетить Италию с римским папой. Папа ждал меня в своем Ватикане, мы вместе отобедали, после чего удалились в анфилады, где на два часа затянулась наша беседа. Папа много жаловался на Америку и так меня расстроил, что я решил тотчас по прибытии туда задать американцам хорошую взбучку. Но на пути у меня была еще Англия. В Лондоне со мной хотела встретиться английская королева,но я схватил в этом дурацком лондонском тумане жуткий насморк и не желал в таком виде появляться перед Ее Величеством. Королева сильно обиделась и лишь позднее, когда открылась истинная причина моего поступка, она меня простила, и мы вновь возобновили дружескую переписку. Злые языки утверждают, что наша дружба не столь

уж планонична, но сам намек настолько гнусен, что я даже не собираюсь отвечать на попытки некоторых грязных мерзавцев бросить тень на честь английской королевы. Но пора было и в Америку. Я приказал заложить почтовых, хотя премьер-министр уперся как баран и ни за что не хотел меня отпускать, то в парламент зазывал, то предлагал торговать. Я сказал, что, конечно, понимаю его британскую настойчивость, но мне и взаправду пора, так что кланяйтесь от меня британцам.

Новый свет, о котором сейчас пойдет речь, ничем таким особым от Старого не отличается, разве малость поновее. Приехал я туда и сразу в ООН. Это что ж, говорю, получается, сукины дети, как это вы Америку распустили? Так я, понимаете, разволновался, что еще немного, и я бы там все раскрошил. Мне говорят, а мы тут не при чем, они сами виноваты, пожалуйте, батенька, в Конгресс. Доберемся и до Конгресса, говорю, а сам прямехонько в Белый Дом. Прихожу к президенту, а его Дома нету. Сижу в приемной, секретурок ихних разглядываю: ничего, думаю, есть и в Америке бабы. Скоро, спрашиваю, президент-то придет? Погодите, говорят, он еще в Конгрессе заседает, скоро будет. Есть мне время ждать, говорю, - и в Конгресс. А там говорят: он уже Домой ушедши. Я опять в Белый Дом. Долго, думаю, они со мной в прятки играть?.. Там ко мне какой-то здоровый мужик выходит и по местному обычаю три раза меня по спине бьет, а потом за дверь выкидывает. Тут уж я совсем озверел, теперь, мать-перемать, уж спуску не ждите! Как стал плеваться, так весь Белый Дом заплевал. Ну, смотрю, они уже с повинной выходят. Сам президент с хлебом-солью да сенаторы на подхвате. Ошибочка, говорит, вышла, недосмотрел. Ладно, говорю, на первый раз прощается, сейчас не об том разговор. А давай-ка, милок, сюда к ленчу всех своих главных капиталистов зови, а я уж с ними сам потолкую. Сказано - сделано. Собрали их в холле всех как есть, даже Рокфеллер, толстая свинья, приполз. Я уж к тому времени немного отошел и по-хорошему: вы что ж, говорю, ребята? Так нельзя. Рабочих обижать, ну куда это годится? Вон и Папу расстроили. Давайте лучше мирно договоримся. Смотрю - стыд их взял, у половины слюнявчики уж мокрые. Сам Рокфеллер подходит, ревет белугой. Я-то вижу - слезы у него кибернетические, да хрен с ним, хоть такие! Исправимся, говорит, дайте срок. И деньги мне эти самые сует. Нет, ребята, не за деньги я! Не все, говорю, деньгами-то купить можно. Имеющий уши да услышит. Ну да хватит на сегодня. Они меня поняли, вздохнули с облегчением и весь вечер по кабакам водили, стриптизы да всякие штуки показывали. К ночи я махнул в парк, переночевал на скамеечке, а утром мы с президентом в машине на митинг поехали. Народу тьма, пол-Америки собралось, а кто не собрался, тот к телевизору цветному морду приткнул. Но только мы, понимаете, на трибуну взгромоздячились, гляжу - какой-то тип в толпе из оптической винтовки целится. Я прыг в сторону, и он в президента попал. Что тут поднялось - не описать, кто-то даже предложил помочь президенту, а один полицейский стал палить в воздух из "мелкашки", словом, страшно все разволновались. Затем один из сенаторов, тот, что потолще, спросил, не пойду ли я в президенты? Ну уж нет, говорю, идите вы в баню! Меня жинка ждет.

Ну, тут президентово тело оттащили, я подхожу к микрофону и вроде как прощальные слова говорю. Вот что, братцы-американцы! Уезжаю я от вас. Знаю, натворите вы тут, черти полосатые,делов, но ведь я ж вам не нянька. Скажу только: живите по совести, друг дружку не забижайте, президенты тоже жить хочут,а главное, бросьте кошельками размахивать словно черт знает что. А в общем, добавил я напоследок, ну вас всех в задницу! С таким напутствием я отбыл восвояси. Вот так, поездив по Европе, я вернулся к своей... сами понимаете, Пенелопе.

ВТОРАЯ КНИГА

(Будем надеяться, никакого отношения к первой не имеющая)

не взрыв но всхлип -

две белых лошади гонятся за мной, две белых лошади гонятся за мной, и вот - еще один несчастный на земле!..

Мое сердце перестало биться, и руки мои похолодели...

Пусть моя могила будет чистой!

Проследи, дружище, чтобы никакие засранцы не закидали ее своим дерьмом. Я вижу - они уже спешат и тяжело дышат, их руки полны теплого дерьма. Зачем вы ввязались в эту историю,ребята? Лучше бы умыли руки. Зачем поливать грязью кого-то, кто умер целую вечность назад - вчера?

Вчерашний смысл вчера утратил смысл. Та́к, кажется?..

Таков конец жизни всякого человека, всякой маленькой вселенной, всех реализованных и нереализованных возможностей. Память нам подсказывает, что конец - отправная точка.

Вернемся к началу.

В начале было нечто. Я вижу смутно в молочной пелене Времени, как бессчетные стаи нитеобразных существ устремляются по Реке Жизни к дельте. Одно из миллионов этих существ отмечено Его печатью. (Если взгляду моему доступна ретроспекция, то обладание оптическими достоинствами микроскопа тем более не причина для хвастовства.)

Итак, отмеченный Божьей печатью удалец переходит из дельты в устье и в новую дельту. А дальше? Не взрыв, но что?..

Между этими двумя моментами, между завтрашним рождением и вчерашней смертью, и пролетела, проползла моя жизнь. Ни длинная, ни короткая, ни веселая, ни грустная. Так, какая-то... Сама по себе.

Самый смешной парадокс Истории: мог бы и не родиться, а вот - живу, и даже умер. Бессильны властвовать собою. Этому не научишься, живи хоть сто веков. Кстати, о Вечности. Заглянем ей

под юбку... Фу! Почтенная мадам не слишком чистоплотна... Кого здесь только нет?! Гении, как мандавошки, переползают друг через друга в теплых испарениях дешевого "Шипра". Пьяный в хламину Шекспир мочится на академическое собрание своих сочинений. Легкой струи вам, маэстро! Тут же Кант, как всегда в онанистическом угаре. Далее и вовсе знакомые лица - "блатники". "Здорово, Володя! И ты к нам?" Ну нет, поскорей бы на воздух!.. Адюльтер не состоялся.

А на нет и судна нет. Ходи под себя.

Но этого периода я в своей жизни не помню. Ни в начале,ни в конце.

В начале было Слово. Но что это было за слово, одному Богу известно. Возможно, "лошадь". Возможно, "мама". Но не "синхрофазотрон" и не "Сталин". Слова, которыми я овладевал, чтобы общаться с миром, не удовлетворяли меня своей безликостью,и я произносил их по-своему, вкладывая в них особое ритуальное значение. Дураку понятно, что "масло" и "сясля" не одно и то же, но все-таки мне мазали "сяслей" хлеб, я окунал в нее палец, врачи рекомендовали ее в больших количествах. Я пил "млику" с "бякой" и не умер, наоборот, они шли мне на пользу. Но прикладное словотворчество не могло удовлетворить мой пытливый разум; не знакомый с основами общей семантики, он тщился выдумать что-либо более грандиозное и всеохватывающее. Например, "кену". Неважно, что это означало, главное, "кена" дала толчок "рене". Но и "рена" не осталась одинокой."Бена" была ее родной дочерью - и далеко не бесплодной. От нее пошли и иные колена. "Дена" родила "сену", "сена" родила "хену", "хена" родила "пьену","пьена" родила "гиену", "гиена" родила "бернину", "бернина" родила "лябниду", "лябнида" родила "блядиду", "блядида" родила "блядаку", "блядака" родила "кундака", "кундак" родил "жмудака", "жмудак" родил "бардака", "бардак" родил "булдака", "булдак" - "варгака", "варгак" - "рогака", "рогак" - почему-то "карнизу", "карниза" - "слизу", "слиза" - "мантерапуку", "мантерапука" - "сругалукту", "сругалукта" - "примбамфигуку", "примбамфигука" разрешилась от бремени "миньхуяконькою", чей подвиг будет воспет в веках: она произвела на свет "плембартачкстуфпрингальтукийшснейфтимазодасрикапунгадлейбнихошкевттрувдайящмингацрувыайскондлевхамундочеризеужвортэдиксаблюхуйнооморэнветцельрамнъбюстмяиваунг..." ну и так далее. Песнь освобожденного Логоса. Реквием павшим борцам за независимость "сясли".

С космогонией,вроде,покончено. До того как наступит первобытно-общинный строй, два слова о бане.

Я обращаюсь к пионерам, не посвященным в тайну санузлов, к тем, кто рос под боевые кличи кухонных баталий, к вам, скваттеры квадратных дюймов, с рубцами на висках от конфорок, - помните ли вы баню?..

Кто захотел бы все понять у людей, тот должен бы был пойти в баню! Малыш, невидимой нитью связанный с пупом матери, вышагивает рядом с ней в свою первую парилку.

- Куда вы его тащите?.. Здоровый мужик. Нечего ему тут делать!

- Ну что вы! Он еще ничего не понимает...

А понять не легко. Среди укутанных паром мясных пирамид тоненькая девочка раздражает пальцами свой клитор. Мать бьет ее по руке, одновременно хлеща веником себе в промежность, от которой отваливаются целые пласты грязи... Разнузданный березовый дух впивается в ноздри. Малыш плачет. Да-а, парилка есть нечто, что должно превозмочь!..

Тут он замечает другого героя: этот карапуз не держится за руку матери, не боится пекла, ему все интересно,он бегает,увертываясь от шаек, смеется, хлопает в ладоши. Быть может,он будущий Альфред Хичкок? Может быть, Самуил Беккет?.. Его зовут Петя. Его половой член вызывает недоумение и восторги присутствующих. Это карлик. Приходит банщица, мощная старуха, и привычным жестом выбрасывает его из парилки.

Увы, у маленьких людей слишком маленькие добродетели.

ИГРЫ В ПУСТОТЕ

Впрочем, это не совсем так. Можно ли назвать пустым раскидной несессер из чахлых дерев, покрытых патиной мазута? Меж них разостлался ковер с вытканным на нем озерным краем луж; встают фиорды из недоеденных кирпичей и известки; калейдоскоп бутылочных стекол сравним лишь со стаей блестящих на солнце макрелей; бурелом искривленных труб напоминает нам остов гигантского монстра, обсосанный ржавыми губами Времени... Где-то здесь затерялся комочек живой протоплазмы: мальчик-червячок,жонглирующий сухозвонкими какашками Юности...

Я давеча говорил о первобытной общине, что-то обещал,но конечно, не выполню своего обещания. Возможно, и была какая-то община, раскопки в памяти дают слишком бедные результаты. Возможно, это был детский сад, а поздней и иные усовершенствования: группы продленного дня, санаторий, пионерская дружина и пр. Нас учили жить коллективно. Теперь жалею, что оказался плохим учеником, но сделанного не исправишь.

Шумная куча-мала меня не прельщала, я предпочитал уединяться во дворе, находя себе тысячи занятий, или уходил на берега Обводного канала. Прошло несколько лет, и я уже не понимал, что привлекало меня в пыльной площадке (Ленинград строится и строит!) с торчащими из земли кустами железной проволоки - новой растительностью цивилизации. Но раньше, до того как мир треснул по швам, лужа звалась горным озером, трава - джунглями, по которым пробирались бесстрашные воины, а я, созерцавший их с птичьего полета, бессмертный и всемогущий, вызывал бури, топил корабли, расшатывал горы, сметал в прах города и снова их строил. Я порождал Икаров и давал им крылья, я сталкивал Великие Армады и, как языческий бог, принимал участие то в одной, то в другой стороне, вознося и смиряя героев. То был мой мир, я его создал из ничего, вернее из бездумного материала, взятого взаймы у природы...

Напрягая память, пытаюсь понять, КТО обрек меня биться о стенку реальности? КТО облек меня в форму юрода-художника? КТО завлек меня на тропу одиночества?

Перебираю поблекшие диапозитивы Детства,надеясь найти в них зацепку:

вспоминаю глетчер белоглинной дороги, изъеденный следами тягловых сил;

помню скамейку в густом малиннике (доска на двух нетесаных стояках), на которую нельзя было сесть, не исцарапав бесстыдно голого тела;

помню, как я заревел, когда резали в загоне козу: озноб злобы и жалости и зоб грозного старца с ножом;

помню кнут на стене, столб, на нем хомут и серпы, стол, огромный как плот (на столе - молоток, долото)... плоский лоб хозяйского сына-ублюдка;

помню свежедушистые щи с деревянною ложкой, мошкару, сладость черники, морошки, солнечный зайчик на чьей-то заросшей щеке;

помню смутно: бродит дождь по дороге, глетчер истаял в стылую кашу, волосатый, веселый хозяин пробует перекрикивать гром, дышит жаром, тянет в синих картинках к убийству привычную руку, зоб ожил:

''Щас яйца-то вырву!.. '' - смеется;

помню отъезд - скрип колымаги и чавканье хляби под ногами коня;

помню ''гуигнгнмов'', которых перековал я в ''бокиров'';

но не помню, не помню, зачем я взялся за созданье ''раманов''!?

Маленький мальчик-тушканчик, и ты туда же?.. Не пройдя искуса нравописаний и нравоучений, окружив себя блядидами, мантерипуками и прочими глоссами, ты отважно ныряешь в поток, быть может, на съедение рыбам. Где-то выбросит твое измордованное тело?

И действительно, почему, например, я не сделался каким-нибудь там скульптором или портным, не подался в шеф-повары?

Ни одна сволочь мне на это не ответит!..

Ну что? Убедились теперь, что в душе я поэт, но жестокая (жестко окая: жестокая?) реальность вынуждает меня материться и эпатировать,то есть снимать штаны и вилять голой жопой перед вами, господа?!

Хотя чего я вру? Я просто по натуре кривляка, - кривляю я, значит, жопой, а сам думаю: может оно и ничего, может кто и скажет, что хоть он и кривляет жопой, а в общем-то он ''клоун с разбитым сердцем'' и может у него *оттудова* душа кричит; а кто и ничего не скажет, да хоть жопа понравится, и тем угодил; а кто и просто по жопе даст.

Впрочем, и здесь я кривляюсь: пытаюсь выставить мастурбацию как свальный грех. В балагане, по крайней мере, шумно. А это - так, писки-дриски, игры в пустоте.

Ну как? Развлек вас Лапенков? Потерпите, то ли еще будет!

Взглядываю в окно на двор, распухший от помоев, подхожу к зеркалу, надеваю белокурый, гладко расчесаный парик,сбриваю бороду и баки. Еще раз придирчиво осмотрев себя,спускаюсь вниз и, волнуясь, осторожно отворяю дверь на улицу. Сегодня у меня будет сумасшедший день.

ГОГОЛЬ В ПЕТЕРБУРГЕ

(Сценарий мультипликационного фильма)

Асфальт пузырился. Зам. редактора журнала "Красная Нева" Мамаевич боролся с несварением желудка. Но желудок значительно в меньшей степени, чем приходившие на прием литераторы, поддавался предписаниям сверху.

Рабочий день истекал последними каплями пота. В коридоре оставался один посетитель, и Мамаевич, сидевший в редакторском кресле спиной к портрету Дзержинского, мог позволить себе несколько расслабиться. Результат был ошеломляющим: открытые настежь окна кабинета ничуть не способствовали воздухообмену, и если бы не трудяга-вентилятор, замредактора погиб бы от вони на своем посту. Спазмы на время отступили, и он нажал на кнопку, включив сирену и мигающую синюю лампочку в коридоре. Вошел посетитель. "Ишь, волосатый!" - подумал Мамаевич, а вслух сказал:

- Салют новому литпоколению! Увы, планы редакции выполнены на два года вперед, так что...

- Я только хочу забрать рукопись, - сказал посетитель.

- Фамилия? Имя? Отчество?

- Гоголь, Николай Васильевич.

- Название произведения?

- "Один день Ивана Иваныча".*

- А! Повесть о новых колхозных кадрах? Одну минуту!..

- Нет, это...

- Вспомнил! Новелла о передовиках производства? Где-то здесь. Одна из них...

Он достал увесистую пачку рукописей.

- Повесть о ссоре... - начал было вновь посетитель.

- Да, да, да! Вспоминаю. Рукопись вам выслана по почте.

- Я не оставлял своего домашнего адреса. Мне кажется, папка лежит в той корзинке...

- Действительно. - Мамаевич пролистал несколько страниц.

- Послушайте! - воскликнул он.- Что это такое? Вы понимаете, над чем вы смеетесь? Вы знаете, что это издевательство над самым святым, что у нас есть - отечественным судопроизводством? Вы догадываетесь, чем это пахнет?

Гоголь принюхался.

- Это пахнет принудлечением! - Мамаевич захлопнул папку. - Вопросов больше не имею. Можете идти.

Посетитель хотел еще что-то сказать, но из утробы замреда так грохануло, словно рассыпалась пирамида железных болванок.

- Каков наглец! - сказал замред, отдышавшись. - Жидовская морда! Работай с такими за гроши!..

Он похлопал по лысине батистовым платочком и снял телефонную трубку.

- Мамаевич... Тут, знаете ли, некий Гоггель появился, так я, знаете, на всякий случай... Не за что!..

---

* "С Иваном Никифоровичем" - прим. Автора.

Он бросил трубку и потянулся. "Что-то поделывает сейчас мой начальник Гноевич?"

Один из столпов "левого" искусства, Гробоедов влетел в квартиру своего собрата по Перу, маэстро Гроболюбова, с резвостью начинающей поэтессы и чуть не опрокинул на скифский ковер бюстик Фомы Аквинского. Едва оправившись от волнения, он потряс какой-то сальной тетрадкой и возопил:

- Новый Кишкин на Руси!..

Но "крестный отец" русской писательской мысли не спешил с резюме; он неторопливо раскладывал на столике пасьянс из густющей своей бороды, что-то бормотал под нос, шевелил ушами и наконец произнес с добродушной лукавинкой в голосе:

- Так уж прямо и Кишкин?! Чуть только объявится из ряда вон незаурядное - вы сразу: Кишкин! Ну ладно, давайте сюда вашего Кишкина.

- Я осмелился, - сказал Гробоедов, - пригласить автора сюда. Он обещался к двум. Весьма занятная личность. В этой тетрадке всего лишь юношеский опус, немного свежей иронии. Видите первую фразу: "Славный пыжик у Ивана Иваныча!"?.. Я с ним познакомился второго дни и заинтересовал он меня изрядно. Фамилия его не то Гоголь, не то Гугель, у меня плохая память на еврейские фамилии... Сейчас он трудится над большой вещью, рабочее название - "Мертвые души". Ее он пока не показывает, говорит,что очень сыро. Но, надеюсь, вскоре посмакуем, полакомимся...

Раздался звонок, после чего, как говорится в старых добрых пьесах, входит Гоголь.

- Душа моя, Николай Васильевич, - обратился к нему Гробоедов, - не соблаговолите ли, любезный, отдохнуть на канапе, пока маэстро просматривает вашу рукопись?

Гоголь присел поближе к книжным полкам и стал с увлечением рассматривать богатую коллекцию хозяина. Здесь было,конечно,полное собрание Кишкина (в 16-ти томах), двухтомник Поршнева,пятитомник Тухлиной, а также сборник, в котором среди прочих были работы "Самих..."

- Ну-с, что скажете? - спросил Гоголь, видя, что маэстро закончил чтение.

- Бренно, - отозвался Гроболюбов, - бренно. Хотя, чтобы не быть несправедливым, должен и похвалить: весьма смешно,живой еврейский юмор, но легкость в мыслях, батенька, необыкновенная. Конечно, для дорожного чтения или, скажем, для публикации в какой-нибудь там "Красной Неве" это вполне... но вот, простите,тяги к извечным проблемам я что-то у вас не заметил. А главное, - тут он смешал пасьянс на столе, - культуры маловато-с. Признайтесь честно, известны ли вам Гуро, Миро, Маро, Мальро,Моруа? Ренэ, Ренан, Ренер, Ронсар, Ренуар?... То-то и оно.

- Маэстро чересчур строг к начинающим, - вмешался Гробоедов, - хотя пожалеешь рору, испортишь ребенка... Послушайте, - обратился он к Гроболюбову, - а не познакомить ли нам его с достопочтенным Аароном Моисеичем? Правда, ходят слухи, что старичок уже окончательно выжил из ума, но кое-кто утверждает,что бывают просветы...

- Так прощайте же, бесценный друг мой,Николай Васильевич! - воскликнул он, впиваясь тому в щеку. - Не забывайте нас, помните, что здесь в любое время дня и ночи вы всегда рассчитываете найти жаркие любвеобильные объятия.

Гоголь привел в порядок свой костюм и, потирая щеку,направился к выходу, но на пороге остановился и спросил:

- Вы не могли бы дать мне на пару дней почитать маркиза де Сада?

Пасьянс был вновь разложен,он предвещал казенный дом и дальнюю дорогу.

- А Захер-Мазоха вам не нужно?..

Аарон Моисеевич Гульберг, дедушка русского искусства, приподнялся с дивана, набитого, по словам современников, волосом христианских младенцев, и положил рукопись на стол.

- Занятно пишете, - сказал он. - А что это у вас со щекой?

- Я был недавно у Гро... - начал Гоголь.

- Ну ясно. Сам Василиск Гробоедов отметил вас печатью. Это признак особого расположения. Чем-то вы его покорили. Он довольно интересный поэт и вообще своеобразная личность. Повышенный эротизм,эрудиция. По ночам служит на кладбище сторожем,где обычно пишет стихи, да халтурит еще вурдалаком. Обратили внимание, как он поцыкивает зубом во время беседы? Гроболюбов? О,тот полная ему противоположность. Его никто не посмеет назвать упырем. Он поэт, меценат, радикал, библиофил и слегка еще каннибал, некрофил. Я вижу, вы не сробели - будете долго жить. Но мы отвлеклись от темы. Мне импонирует ваш юношеский задор, здоровый нигилизм, юмор. Стиль повествования основан на пародии, это современно,свежо, почти изящно. Все это хорошо, но на мой взгляд, сейчас слишком многие ударяются в нигилизм, в тотальное отрицание. Человечество само стремится к пропасти, и не надо его подталкивать.Когда корабль тонет, нужно спасать,а не разрушать.

- Насколько мне известно, при сильном шторме срубают мачты, - попробовал возразить Гоголь. - Нужно сначала искоренить зло...

- Не воображайте себя мессией! Нет ничего легче, чем судить да насмехаться. И вот еще что: есть в вашем произведении неприятный душок антисемитизма. Вы ополчаетесь против носителей истинных ценностей, и в этом ваша главная слабость. Мой призыв: спасать, спасать культуру! А у многих ли сейчас кроется цельный культурный багаж под поверхностной начитанностью? Я бы вам посоветовал встретиться с кем-нибудь из так называемой "кофейной" богемы. Уверен, что там вы найдете себе единомышленников...

Он снял со стола салфетку и стал повязывать ее вокруг шеи.

- Вы собираетесь ужинать? - спросил Гоголь, но тут же понял свою ошибку: взгляд почтенного старца стал радостно-бессмысленным, он загугукал, выдувая ртом пузыри, а из ноздрей его покатились визитные карточки детства...

К вечеру жара спала и асфальтовые реки вернулись в свои берега. Небезызвестный ресторан понемногу наполнялся завсегдатаями. Барменша Фира до блеска вылизала пол от вчерашней блевотины. Ударный батальон поэтов и их прихвостней, известный под назва-

нием "Банды в бегах", то появлялся, то исчезал, курсируя между пятью или десятью злачными точками единовременно. Провокатор Свойский в одиночестве сидел за столиком и пил свое пиво, доливая бормотуху по вкусу. Когда Гоголь подошел к ресторану, путь ему преградило миловидное существо, не то чтобы неопределенного пола, скорее слишком уж предопределенного.

- Здорово, красавчик! Новенький?..

Гоголь хотел пройти, не ответив, но швейцар Альберт по кличке Гедонист остановил его, сказав: "Только с дамой!"

Существо обняло нашего героя за талию, и они вошли в холл.

- Вы знаете, - сказал Гоголь, - я несколько боюсь за вас. Солнечные лучи уже потеряли свою силу, а туберкулезные палочки страшно живучие бестии.

И кашлянул в платок. Оставшись один, он сел за столик и заказал чашку кофе.

- Ну что, брат "азохенвей", - крикнул ему провокатор Свойский, - тоже небось щелкоперишь?..

В холле между тем становилось людно. Народ был все больше нецеремонный, люди свои. Бороденко ставил Мозглячному банки,Толик Маркузе собирал подписи к петиции о расширении сексуальных свобод и продавал лотерейные билеты. Василий Лазурный штопал шерстяные носки и доказывал популярному миму Присоскину, что сущность предшествует существованию. Тот только качал головой.

Но главных посетителей пока еще не было. Впрочем, уже явилась отъявленная меценатка Лидия Марципановна Эмбарго по кличке "ледышка", с целым выводком лесбиянок. К Гоголю подлетел Серж Икаров и, называя его просто Гогой, знакомил с завсегдатаями. Фира разносила горячительные коктейли,и атмосфера разгуливалась.

- Это, - говорил Серж, - Игорь Мосластый, совершивший кругосветное путешествие в инвалидной коляске, отличный спортсмен и поэт-стоматолог. Это наша старейшая приятельница,Валькирия Артюховна Конкорд-Ябленко, известная своими непечатными произведениями и выражениями. А вот этот - чужой. Американец Бен Джинсон. Черт его знает, чего ему здесь нужно!? Да ты сам-то откуда?..

Американец не был шпионом, его интерес правильнее было бы определить как научно-зоологический, кроме того, он ждал свою подругу. "Существо" безуспешно пыталось к нему подладиться и с горя отдалось драматургу Крокодайлову. "Опять Крокодайлов", - подумало бы оно, если бы умело думать. Разговоры вокруг становились все оживленнее, и провокатор Свойский то и дело уходил звонить по телефону.

- Не понимаю я одесского юмора, - говорили справа, - ну что это такое: "скажите, вы не видели Мойши? Нет, и Мойши я тоже не видел". Ну что тут смешного?

- Экзерсис, экзистенциализм, - говорили слева, - экзекуция, экзема...

"Банда в бегах" при очередном своем появлении заносила когонибудь из "великих", то это был поэт Кривохарков, то Передрищенко, прозванный за религиозность "Дристосом".

Гоголь, как лицо незнакомое, заинтересовал многих: к нему подсели художник Рюрик Долгополов (натурщица - Наташа Доброхо-

това) и скульптор Иван Стабильный (натурщица - Вротбер, в девичестве Рвоткина).

- Хороший ты парень, Гога! Только вот пьешь мало.

Атмосфера все более разголялась. Лидия Марципановна писала свой автопортрет "Нагая пастушка", Кривохарков, завернутый в плащаницу, читал мистические стихи. Ельян Паскудный, худрук балетной школы мясокомбината, подзуживал своего приятеля Демьяна Синюшного выступить с ответными стихами. Но Синюшный, талантливый поэт-грузчик, не хотел читать, он пил огнедышащие напитки и бормотал, ударяя по столику кулачищами: "Рассея! Рассея!", словно та была шаловливой собачкой, не желавшей ему отдать колбасу.

- Ну, и как Гробоедов? - спрашивал у Гоголя Стабильный. - Все вурдалачит?

- Восстань, восстань, Христова рать, - модным голосом читал Кривохарков. - Чьих сыновей не сосчитать...

- И Гроболюбов ничего не сказал? Уж он-то разобрал бы нас по косточкам...

- О, это мой последний "стриптих" "Подмывающиеся наяды"...

- А вот еще один одесский анекдот...

- Рассея! Рассе-е-я!..

- Ну что вы, это французские панталоны, других я не ношу...

- Демография Духа!!!

- Вот так всегда, не успеешь войти в экстаз...

- И с хоругвью идут на Божий Страшный Суд...

- Конечно, их сосут. Мне папа прислал из Финляндии...

В конце концов призывы Паскудного нашли отклик в сердце его друга.

- О, эти "шведки", - начал тот свою ответную поэму, но был до того пьян, что мог говорить только верлибром, - как вы сексательны! Когда я трону вас руками, поглажу пальцем, весь я возбуждаюсь... Я весь желанием горю... И наконец беру вас крепко-крепко...

Затем он прочел поэму о плоскогубцах в том же духе и кончил мадригалом, посвященным всем прочим слесарным инструментам.

- И грядет род ночной из дочерей Ваала... - не сдавался Кривохарков.

Ресторанное действо переходило в стремительное крещендо: кто пел, кто смеялся безумным смехом. Наташа Доброхотова восхитила всех настольным канканом, но не смогла долго продолжать ввиду преждевременно начавшихся родов. Провокатор Свойский, доломав телефон, решил побрататься с американцем, предложил ему обменяться адресами, брюками и документами.

- Свой я, - внушал ему Свойский, - свой! Я одинок. Мне очень плохо. Мне никто не верит. И ты мне не веришь. А ведь и у меня было детство. Я тоже хотел стать путешественником, космонавтом, писателем. Знаешь, что это?.. Это мои сопли. А почему они здесь? Потому что мне очень хреново, и я исповедуюсь. А почему я тебе исповедуюсь? Не знаешь? Эх ты, а еще американец!.. И я тоже не знаю... Вот мы здесь, - продолжал Свойский, указывая на себя, Джинсона и Гоголя, - представители трех великих наций: американец, русский и еврей. Понимаем мы друг друга? Не понимаем. Что мы друг другу? Что тебе русский? Что мне еврей? Ты приехал, по-

смотрел,потом уедешь в свои Штаты и забудешь нас, может только спросишь себя: кто там у нас кому еще глотку перегрыз? Ты ведь ученый, тебе все интересно: и человек, и обезьянища... А может, когда-нибудь ты скажешь своим детям: жил там, ребята, Свойский такой... И был он, быть может, говно говном, но и он умел плакать...

...Гоголь, уже несколько опьяневший и раскрасневшийся,хлопнул рукой по столику и воскликнул:

- А не почитать ли нам из "Мертвых душ"? - И полез в карман за тетрадкой.

- Мертвые души?! - загремел Синюшный. - Или мертвого осла уши?

Серж Икаров вскочил и запустил в него пивной бутылкой. Синюшный перевернул стол и полез в драку. Погас свет. Лесбияночки перепугались и матерно вопили. Кто кого бил - в темноте невозможно было разглядеть, только Ельян Паскудный, носивший с собой ручной фонарик, забрался под столик Гоголя, кусал его за ляжки и норовил стукнуть фонариком в солнечное сплетение.

- Ребенка не раздавите, - хрипела Наташа Доброхотова, оказавшаяся в ногах у Крокодайлова. Но Рюрик Долгополов, к которому обращались ее мольбы, уже спасался, захватив все свои картины. За звоном посуды послышался вяжущий свист тормозов.

- Хей, Гог! - крикнул американец, единственный, кто не потерял присутствия духа. - Спасайся!

Но было, как говорится, уже поздно. Миляши осветили холл карманными лазерами, нашли автора "Мертвых душ" и поволокли его к машине.

После недолгой дорожной тряски Гоголь оказался в одном из кабинетов большого каменного здания. Перед ним стояли двое мужчин, знакомый нам уже Мамаевич и одетый в интересную форму человек с седыми висками, к которому окружающие почтительно обращались: "Василий Семенович".

- Ну вот, - сказал Скукин, ибо это был он, - вот вы и докатились. А ведь мы же вам говорили, мы же вас предупреждали! Айяй-яй, Николай, Васильич! Что ж вы так, любезный?..

На следующий день Гоголя выслали за границу.

глава последняя - глава первая

Долгим, душным летним вечером, сидя у открытого окна,одурев от безделья, вы замечали когда-нибудь, как к тягучему тягостному потоку вашего сознания примешивается ровный далекий посторонний звук?.. Как трудно вам избавиться от детской привычки высовываться и задирать кверху голову?..

Это гул самолета. Самого его не видно за облаками. Куда он летит? Красив ли он? Такими неосознанными вопросами волнуется детское воображение. Привычка ждать, глядя на небо - древнейший атавизм. А если это не самолет? Если что-то жутко-непонятное вынырнет сейчас из-за облаков? Скажем, карающая десница? Нет, это самолет. Бомбовоз. Он прилетел, чтобы сбросить бомбы. Неправда ли, вы не удивлены? Даже странно: над городом-героем пролетает

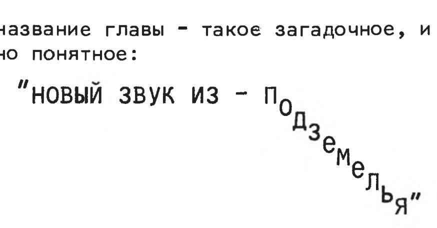
вражеский бомбардировщик, а никто не удивлен!.. Виной ли этому оковы духоты? Духовные оковы? Словно бы все ждали со дня на день, с года на год, занимаясь житейскими делами и говоря: "Это еще не скоро! Когда-то еще будет?!.." Свершилось! Неоконченные будничные счеты в мозгу каждого из нас сразу приобрели законченность и стройность. Еще есть две-три минуты, чтобы скоренько оглядеть прожитое, убедиться, что прожил не зря, маловато,но для сожалений времени гораздо меньше. Цейтнот. Первая водородная бомба падает в Финский залив, вторая - в Ладожское озеро. Вся вода в них встает на дыбы и закрывает над городом небо. Через минуту на месте Петербурга - море, как в силурийский период. Медный всадник оседает на дно в виде мельчайшей пыли, возвращается в праматерь-природу. Круговорот замкнулся. Драгоценными кусками раскалывается Зимний, эпоха скифов смешалась с эпохой классицизма. Дохлой меч-рыбой оседает Петропавловка, та же участь постигла Исаакий, Казанский, Адмиралтейство. Морское дно усеяно галькой культуры, бывшая кафедра Университета готова к приему будущих головастиков. Вверх всплывают лишь презервативы, кал да винные пробки - вот и все, что осталось от цивилизации. Король умер, да здравствует шут!.. А как же мы с вами, Читатель? Не теряйте юмора: ну, кто лучше всех плавает в радиоактивной воде?..

...Чуть влажный блюз. Я вновь обозреваю мусорные поля. Ощупываю перед зеркалом физию - опухоль спа́ла; болит зуб, но вид в целом приличный, можно выйти на улицу. Три дня воспоминаний,"самокемпа" и самопоклепа, умственных бредов и фантомов позади. Передо мной опять широкая дорога честного труда на благо. В квартире второй день нет воды. В уборной киснут "антиэклеры". Бытие определяет сознание. Единственная утеха - губная гармошка. Не сыграть ли вам боевик "Когда святыми фаршируют"? Нет, вы еще не дозрели. Да, скушно. "Раман"-с не клеится. Какой-то бешеный клубок насмешек, плевков, противоречий, ни логики тебе, ни. Ни-ни! Эх, мне бы время, мне бы деньги, мне бы литр пива - я вам такую логику б отгрохал... Вот уж тогда заволновались бы человецы - тут тебе овации, овуляции...

И написал бы я вначале коротко и скромно, без всяких там излишних слов:

глава первая

И тут же название главы - такое загадочное, и в то же время всем совершенно понятное:



Владимир Борисович Лапенков живет в Ленинграде, ему 28 лет, работает кочегаром. Пишет прозу не менее десяти лет. Не печатался. Журнальный вариант "Рамана" имеет незначительные сокращения.

Глеб ГОРБОВСКИЙ

НА МОЕЙ МОГИЛКЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

разные стихотворения

* * *

А я живу в своем гробу.
Табачный дым летит в трубу,
окурки по полу снуют,
соседи счастие куют.
Их наковальня так звонка,
победоносна и груба,
что грусть струится, как мука,
из трещин моего гроба...
Мой гроб оклеен изнутри
газетой "Правда"...
О, нора!
Держу всеобщее пари,
что смерть наступит до утра,
до наковальни,
до борьбы,
до излияния в клозет.
...Ласкает каменные лбы
Поветрие дневных газет...

на моей могилке

Плита чиста,
могила без названья.
Два лопуха:
в ногах и в головах.
Сижу на металлическом диване,

как птица
          или скорбная вдова.
Я знаю, что лежу под этим камнем,
что я исчез
с лица моей земли,
что я лежу в ней
к западу ногами,
что женщины меня не сберегли...
Удар слезы потряс лопух дремавший...
Я знаю, что я умер кое-как,
что я зарыт в поношенной рубашке,
голодный и нечесаный чудак...
По кладбищу фланируют старухи,
неслышные, как заспанные мухи.
А я лежу,
считая от тоски,
слоновые старушечьи шаги.

СТИХИ МАРСИАНИНА

Сначала вымерли бизоны
на островах бизоньей зоны.
Затем подохли бегемоты
от кашля жгучего
и рвоты.
Косули пали от цынги.
У мух отнялись две ноги,
но мухи сразу не скончались.
Дикообразы вдруг легли,
еще колючие вначале,
но вот обмякли,
отошли.
Оцепенела вдруг собака.
Последним умер вирус рака.
Когда скончался человек,
на землю выпал толстый снег.
Снег на экваторе искрился,
снег в океане голубел,
но санный след не появился,
и шинный след не проскрипел.
Машины снегом заносило,
торчали трубы - пальцы труб.
Земля утрачивала силу,
все превращалось в общий труп.
И только между Марсом, правда,
и между умершей Землей
еще курили астронавты
и подкреплялись пастилой.
Сидели молча, как предметы,
с Землей утратившие связь.

И электрического света
на пульте вздрагивала вязь.

октябрь 1959

ВИЗИТ

Постучали люди в черном,
их впустили, как своих.
Папа мой сидел в уборной,
сочинял для сына стих.
Мама ела торт "полено",
я, дурак, жевал картон...
И вибрировал коленом
звездолобый Пинкертон.
Он стоял в дверях,
чугунный,
неподкупный,
враг врагов.
Торс гитары семиструнной
на стене, из двух подков.
И вонзаясь в грудь комода,
пропотели вдруг в труде
представители народа,
два лица НКВД.
Разве можно книги мучить?
Зашатался книжный дом.
И упал из шкафа Тютчев
к самогам двоих
ничком.
Нехорошие вы люди,
что вы роетесь в посуде?
Что вы ищете, ребята?
Разве собственность не свята?

СОН

Переезжало меня поездом,
и ахали в толпе девчонки.
Колеса шли повыше пояса,
пониже сердца и печенки.
Колеса мрачные не резали
меня на обе половинки, -
они подпрыгивали весело,
как тротуарные ботинки!
Я надувал живот растерянно,
и трепетал компрессор легких.
Я жил, раздавленный, уверенно,
как в проводе не рваном - токи.
...Состав прошел,
на стрелках ухая,

и красные огни -
вдаль вехами...
Я встал, прелестный воздух нюхая,
потер живот,
что переехали...
Никто меня, коль не положено,
не укокошит,
не осилит!
...Глядела страшно и восторженно
всё еще русская
Россия.

* * *

Кого спасает шкура,
кого спасает завтра;
одних хранит культура,
других - обед и завтрак.
Тебя спасет помада,
его спасет работа.
...Меня ж спасать не надо,
мне что-то неохота.

* * *

Мне тишина необходима,
с меня довольно пьяных рож,
собраний, призрачных от дыма,
и славы мизерной дележ.
Меня заждались откровенья
в зимнезадумчивом лесу.
В одну из русских деревенек
свою любовь перенесу.
Не ту любовь, что жгла и грызла,
а что ласкала небеса...
Итак, прощайте, люди-числа,
мне ближе люди-голоса!

* * *

Кого любить, кому отдаться
и пальцами, и цветом взглядов?
За рюмкой водки стонут братцы,
увилистые, точно гады...
Вот девушка... Она уже громоздка,
расхлябана, будто повозка.
Кого любить, кому поверить
и мускулами, и молчаньем?
Скрипят затроганные двери
к сердцам,
разъеденным речами...

Вот истина... Она уже банальна.
Как пассажир, поспешна и вокзальна.
Кого проклясть, кого отринуть,
к кому ослепнуть навсегда?
Спокойны стройные кретины,
упитаны их города...
Вот мальчик... Он зарезал кошку.
Он начинает понемножку...
Кого жалеть, кого простить мне,
чей гной опробовать губой?
Я не Мессия, не Спаситель,
я весь измученный собой...
Вот я... Передо мною - водка
и взгляд любимой,
точно плетка.

каково?

Каково на свете птицам
без орудий производства
строить гнезда
и кормиться
без основ животноводства?
Каково зверью на свете
убивать без револьверов,
не читать, как чтут в газете
твой грабеж больших размеров?
Каково ползучим гадам,
вечно лежа,
и ни разу,
ковыряя носом падаль,
не одеть противогаза?
Каково на свете людям -
мы и спрашивать не будем.

навеселе

Навеселе,
на дивном веселе
я находился в ночь
на понедельник.
Заговорили звери на земле,
запели травы,
камни загалдели.
А человек - обугленный пенек -
торчал трагично
и не без сознанья,
как фантастично был он
одинок,
заглядывая в сердце
мирозданья...

Навеселе...
На дивном веселе
я срал и плакал,
жалуясь земле.

* * *

Подарили мне будильник,
чтобы я не спал излишки,
чтобы я прослыл мобильным,
чтобы я печатал книжки,
чтобы я строку глухую
начинял начинкой здравой,
чтобы я, когда тоскую,
был осанистый и бравый,
чтобы я служил отваге,
чтобы то, когда мозгами
обливаю плоть бумаги,
было схвачено веками,
а не грязными руками!

ПУШКИН

Опять жена в душисто-бальном,
опять на бал, опять одна...
Остался Пушкин в темной спальне,
ушла красивая жена.

Глаза Дантеса-великана
глядят нахально с потолка,
гноится пушкинская рана.
Сейчас Наташа далека.
Наташа веер привздымает,
с другим танцует, сладко им...
Кто из мужчин не понимает,
как это больно, что с другим.

Вдоль на перине он распластан,
уткнул в подушку страх лица.
...Какой он все-таки несчастный,
хотя и нет ему конца.

ГОГОЛЬ

Огонь в камине жрал бумагу:
живое мясо мертвых душ...
Но жив остался Плюшкин-скряга,
усадьбы старосветской глушь,
и Нос, и Чичиков, и Вий,
И Бульба, и его Андрий.

...Вы плачете, товарищ Гоголь?
Мы вас без Бога сохраним.
Поэт на жизнь просил у Бога,
он унижался перед ним.
Перекрестился на иконку,
задул свечу. Сгустился мрак.
Два ручейка, соленых, тонких,
у Гоголя из глаз на фрак.
Да, Гоголь плачет... Мрак все гуще,
пока не примется светать.
Он плачет - тот,
еще живущий,
а мертвый будет хохотать.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Толстой стоял в дверях вагона,
больной и более того...
Старушка, будто на икону,
перекрестилась на него.
Толстой бежал...
Не от себя ли?
От выдуманной им сохи,
от двух лаптей, что ноги жали,
от фальши и от чепухи;
от глаз жены, как от опеки,
от барской выправки семьи...
И были прокляты навеки
семья, заботы, соловьи
в кустах, отъевшихся до лоска...
Толстой нашел диван пустой,
его узнали два подростка,
пропели тихи "Лев Толстой".
Скрипит старушка деловито.
- Вы, старец, дальние, видать?
...А Лев Толстой сидит сердитый,
он знал, что едет умирать.

ИЗ ЦИКЛА "КУДА-КУДА"

5

Я в новый год перевалюсь,
как через тот забор,
который знает наизусть
весьма солидный вор.
Я все обдумал, что свершил,
и вот опять - бежал...
И снег следы запорошил,
хоть Бог не разрешал.

Я знаю грешников земли,
я сам один из них.
Нас обезвредить не смогли,
как и стихов моих.
Я в Новый Год войду опять
с густой толпой стихов.
...Так пусть лежит на мне печать,
печать моих стихов!
Так пусть клеймо горит на мне!
Преступник есть поэт!
...На этом свете я в огне,
на том - конечно - нет!

9

Я все еще земле обязан,
что пью вино и хлеб жую.
Уже осмыслен и доказан
земной чарующий уют.
Земля всегда была съедобна
для молодых и для старух.
Земля подчас была удобна
на ощупь, зрение и слух
и на другие составные
от человеческого "Я"!
...Земля и люди - есть родные,
как есть нора
и есть змея.
О, балаганчик бытия!

27

Сижу за решеткой в темнице...
Пушкин

Сижу, потому что стоять не могу.
Я этим обязан друзьям,
не врагу.
Нагадил в окне голубой голубок,
нагадил объемисто,
много,
как мог.
Весна затянулась на нашем дворе.
Скулят воробьи на холодной заре.
...Гляжу за решетку,
отчасти тужу,
сознательно плачу
и умственно ржу.
...Упали коронки, и звезды взошли.
Ушли побираться мои короли.
...Сижу за решеткой и пайку жую,
и тихо, почти невесомо пою:

"Вставай, проклятьем заклейменный,
любивший мир
и в мир влюбленный!"
А чтобы этот мир довлел,
Христос однажды околел
и кровь пролил,
и кровь свою,
а не твою
и не мою.

28

Как это маленькое небо
смогло вместить мои кварталы?
О, небо, разве так потребно?
Как ты кварталы уплетало!
И мне как человеку почвы,
как человеку агрегатов
казалось это все
нарочным
и несколько -
витиеватым.
Я тоже пищу обожаю,
ее отрыжку роковую!
Проблему я не столь решаю,
а сколь,решив ее -
ликую!

29

За каждой крышей горизонты,
за деревянной и железной.
За их задумчивою зоной
стоит аквариум небесный.
И плавают в нем мириады
таких искрящихся рыбешек,
что я, и надо и не надо,
пишу про то же и не то же.
Земля чревата закипаньем,
чревата войнами и прочим.
Земля полна телепознанья
и эрудирована очень.
А мне за каждой взрослой крышей
тишь грезится - от мирозданья!
И Бог не только что не слышит,
он, может, просто без сознанья...

квартира №6

1

Жилец, обманутый женою,
вставал обычно раньше нас.
Не умываясь, шел героем,
дабы воссесть на унитаз.
Свистел он бодро и ненужно,
и с шумом падала вода.
Жилец покрякивал натужно,
шептал, харкаясь: - Ерунда...
Не умываясь, ел пельмени,
курил, вставал и - уходил.
Соседи, как по мановенью,
его ругали: - Крокодил!
Он бегемот!
                    Он черт рогатый!
Спать не дает.
                    Права жена!
...А он когда-то был солдатом,
его бесчестила война
и награждала грудь металлом -
свинцом и золотом. Герой!
Герой прошел, его не стало.
Теперь - контора, геморрой,
жена, сбежавшая с главбухом,
пельмени в горле, ордена...
И настороженное ухо
к звонку, - но это не жена.

2

Старуха, бывшая актриса,
жила настойчиво, как дуб.
Она все нюхала, как крыса,
совала желтый ноготь в суп,
а после в рот (с губами в краске).
Завидя счетчик на стене,
всегда закатывала глазки:
- Жрут, паразиты, свет. А мне -
плати последние копейки! -
Сосала пряник на меду
и в нафталинной телогрейке
стояла стойко на посту
на кухне. Сутками. Бессменно.
Мешала стряпать, пить и есть,
стояла длинно, как антенна,
как несвершившаяся месть.

Но неизбежно каждый месяц,
в день пенсии - в день торжества,
вся отказавшись от агрессий,
ее сверкала голова, -
сверкала пьяными глазами.
И вот она уже - Кармен!
Трясет седыми волосами,
готова к подвигам измен,
готова к ласкам и браслетам,
готова к пляскам прежних лет...
И кости рук ее скелета
гремят, как пара кастаньет!

3

Ходил он в шляпе и в перчатках,
всех называл вульгарно "ты",
его пиджачная клетчатка
носила винные следы,
а кое-где зияли дыры
от искрометных сигарет.
Он был диктатором квартиры,
он величался "Наш Поэт".
А он бросал окурки в боты,
сморкался в пальцы, пил коньяк.
Он знал такие анекдоты,
что слушать их нельзя никак.
Однажды он, набравшись духу,
надел петлю, прибил гвоздок...
Его спасла Кармен-старуха -
в тот миг ее ударил ток,
когда она ласкала счетчик.
Старуха взвыла слишком зло.
Поэт петлю откинул срочно,
его от бешенства трясло.
Он обругал старуху "дамой",
лег на диван и захрапел.
А утром он плевался в рамы
и даже что-то тихо пел...

4

За дверью с надписью "ПРОКАЗА"
жил человек. За десять лет
его не видели ни разу,
не знали - жив он или нет.
На телефонный столик тайно
являлись деньги - свет и газ.
Актриса знала: медный чайник
он прячет в сейф стальной от нас.

Однажды чайник появился.
Старуха нюхала, ворча.
- Сегодня в чайнике он брился!
Все в мыле. Надо бы врача...
Его боялись, как проказы,
хотя он был почти никто.
Его не видели ни разу
ни вовсе голым, ни в пальто,
ни одного, ни с кем-то вместе.
А этот сфинкс работал в ночь,
он на работу в Пушкин ездил -
там у него сестра и дочь.
А мы ему долбили в двери,
мы ненавидели его,
что вот, живет, коль спискам верить,
и все же нету никого!

5

В последней комнате у входа
жила огромная семья.
Там было десять душ народа,
там было двести пар белья,
там было ровно десять стульев,
тарелок было двадцать пар,
из их дверей, как из кастрюли,
валили запахи и пар.
Они кишели, точно черви,
и расползались. И у них
имелись каменные нервы -
подряд у всех десятерых.
Они сновали, как машины,
по коридору - двадцать шин.
На них имелись то плешины,
то челки разных величин,
они выстраивались молча
гуськом у двери в туалет.
И проходя, "скорее, сволочь!" -
предупреждал их "Наш Поэт".

6

А на полу валялась спичка,
что стало поводом к войне, -
актриса, жалкая жиличка,
вдруг разразилась: - А по мне,
составить акт на хулигана!
Здесь не панель! Здесь тишина!
Да от такого-то барана...
И я бы... ну, ушла жена!
Так не разбрасывайте мусор!

- Заткнись! - пролаял геморрой,
Герой Советского Союза. -
Свой рот накрашенный закрой!
Вдруг наш поэт толкнул старуху,
и вышло сразу десять душ...
Чем завершилась заваруха,
никто не помнит. Прежний муж
ушел в клозет свистеть и харкать,
поэт напился. Десять лиц
построились, как липы в парке,
старуха выла в сто волчиц,
а тот - никто - стоял в кальсонах,
и был он - милиционер.
Стоял он пасмурный и сонный
и не свистел

МОРГ

Илье Иоганновичу Цырлину

И мелькала рюмка за рюмкой,
кадыки были, точно маятники...
И сидели девочки-дурочки,
героически маялись.
Было мало за этим столиком
человекообразных особей.
Две девицы,
три алкоголика...
И некстати были вопросы:
кто кого гениальнее внешне,
кто кого гениальнее вкупе...
А один уже был нездешний,
все в нем вымерло,
точно в трупе...
Кожа желтая все оранжевей,
побелели на нем зрачки...
Труп морщинки свои разглаживал,
морщил ватные кулачки.
За окном,
в голубенькой форточке,
пели дети,
деревья выли...
За окном потухшие звездочки
все еще обманчиво жили.
Труп обмакивал хлебец в соус,
пил убийственный алкоголь...

Все заметнее падал тонус,
тонус,
фрагмочки
или боль...
Тонус вздохов -
крови давление...
Падал тонус...
Холод довлел...
Стало вдруг мое поколение
неожиданно не у дел.
Только песни, только мелодия,
только ритмики бесшабашные...
Поколение, как рапсодия,
и торжественная, и страшная,
и веселая для проформы...
Поколение вялых трагиков.
Поколение без платформы,
существующее на бумаге.

А утром после пьянки
отдал концы Бианки.
Он пил боржом,
он дорожил
тем, чем дрожали струны жил.
Он водку пил, он блядовал,
и алкоголь за валом вал
то наступал, то отползал,
и голова, как дымный зал,
то разбухала, как живот,
а то совсем наоборот...
Так утром после пьянки
остыл чудак Бианки...
А я мотал себе на ус,
какой у парня скверный вкус,
ведь мы берем примеры
почти без всякой веры...
Бианки - штрих,
Бианки - труп.
Он пил боржом, куриный суп,
он ел цитаты,
грыз грехи,
порой читал мои стихи,
а утром, после пьянки,
уснул мужик Бианки.
...И там, где он лежит во тьме,
цветы воскресли на холме,
за то, что он любил детей,
за сто любовей и смертей,
за все, чем он переболел,

как красен был он и как бел,
как мог,
смотря, перед концом,
стать смерти собственной отцом.

А труп по прозвищу Илья
однажды сел в такси...
Шофер двойной,
как колея.
Машина на мази.
Вези, сказал Илья,
гони,
гони куда-нибудь...
Дома торчали, точно пни,
обозначая путь.
Илья сидел на грани дел,
на грани "быть не быть"...
Шофер покуривал и пел,
он был, как волчья сыть,
он жрать хотел,
любить хотел,
хотел, чтоб ветер выл...
Он был одним из многих тел,
живою тварью был.
А позади его,
скрипя,
скрепя сердечный всхлип,
сидел, не веря, не любя,
весьма обычный тип:
сидел, ладонью обоймя
сердечный край груди...
А сердце двигалось стоймя
к могиле на пути -
а путь конечен,
однобок,
и счетчик прочь,
на нет,
уже доматывал клубок
кой-как прожитых лет,
кой-как разбросанных во тьму
уходов, встреч и ртов...
И он не плакал.
Что ему -
он был почти готов...

Он позвонил в зноночек
к приятелю,
в семью...

В квартире десять дочек
танцуют и поют...
Отец играет в шашки,
Играет сам с собой.
У старенькой мамашки
бурлит супов прибой...
Он позвонил им вяло,
что может труп создать?
Его уже качало
и начинало рвать
и звать...
туда, где все обычно,
где точит грунт вода...
...Звонок ударил зычно
по нервам-проводам.
Семья ждала расцвета,
ждала свершенья дум...
Но, как из пистолета,
вошел он, сплошь угрюм,
угрюм, убит, увенчан
смертельной маятой...
Вошел и сел на плечи,
на грешников - святой.
Они играли в шашки,
а он - привет! - я труп...
Они в ночной рубашке
и сытые, как суп.
Вошел и лег на горбик
диванный
и уснул...
Его уже не кормят,
не предлагают стул,
ему уже не нужен
их ванный
их уют;
ведь он во всеоружье:
его уже не бьют.
Он дышит с душным хрипом,
он сплошь рубашку рвет...
И девственен и хлипок
его предсмертный рот.
И не танцуют дочки,
их мать сожгла гарнир...
Глядят глаза-цветочки
на уходящий мир.
И борются пружины
диванные
под ним...
И зеркало плешины
становится, как дым,
седые патлы слитно
ложатся, крася плешь...

...За жизнь всегда обидно -
проигранный мятеж.
Ничтожные потуги,
разверстых звезд закат...
Не только радость - муки
даются напрокат.
Ничтожно и небрежно
отстукают часы,-
так травка неизбежно
касается косы.

А однажды умер Сталин -
человек семьсот погибло...
Был он в радужном овале -
бога та же смерть постигла.
У приемничка в стройбате
мы столпились.
Мы - солдаты...
Мы считали - это батя,
мы,служители стройбата.
В пионерии, вначале,
был он деткам -
гросс-учитель.
...Мы о нем не умолчали,
верили в него,
учтите.
Умирали.
Головенки,
что оторваны снарядом,
падали легко и звонко
с сталинским сердечком рядом.
Умер Сталин.
Верить страшно.
Умер бог.
Замкнулся ротик.
Умер боженька в фуражке, -
стало искренней в народе.
Умер тятя...
В мавзолее
появился человек...
В мавзолее смерть давлеет.
О, Москва - одна из Мекк!
Тридцать семь - число трагично,
до свиданья,
умер ты...
И прилично и антично,
и все меньше суеты.
Нас рассудит дней пробежка,
нам,по сути,все равно:
лежка, спешка или слежка...

Жизнь моя, ты как кино:
только кадры,
только тени,
и смещения,
и врозь...
Рухну родине в колени,
не оставь меня,
не брось!
Сталин умер, ибо клетки
износились.
И конец...
Буду пить свои таблетки
не от боли -
от сердец!
Буду есть проблемы смысла:
быть, а может быть, не быть...
Мысли прячутся, как крысы,
грызуны...
Какая прыть!
...Лягу спать.
Диванный голос
отзовется в тьме пружин...
Тает скромно южный полюс,
а не тает - докажи!
Умер Сталин...
Сталин умер...
Пять часов на Царской Думе.
Люди хлеб едят и пьют,
пьют, что им пока дают.
Люди мысли гонят взашей,
наши мысли и не наши;
смерть пришла, и смерть придет...
А по радио поет
человек, уставший смертно,
он поет почти инертно.

А труп Ильи диван промял,
труп сознавал, что был он вял,
не колыхался,
взял и сник.
И десять дочек, как вокзал,
изобразили дикий крик!
А скорой помощи беда
ворвалась буйно, как страда,
как на уборке спелой ржи, -
и ну точить свои ножи,
и шприцы вкалывать в бока,
и потерялся счет минут...
В прихожей спорили века,
и настроений жалкий кнут

хлестал по лицам молодых...
А пульс попрыгал зло
и стих...
Но вот ожил...
Сказал: пардон...
Мне очень плохо... У меня...
И вместо слова вышел стон,
подобный искре из огня.
Ему вдохнули кислород,
ему уколов вбили ряд.
Но у него сомкнулся рот
почти что сорок раз подряд.
Уехал помощи фургон:
мол - извините,
коль чего...
...А он привстал между окон,
а он хотел отсюда вон,
на травку, в небо и в ручьи,
глаза затеплились тоской...
Илья, Илья,
глаза твои,
и брови высохшей рекой...
упал Илья...
Свалила дрожь...
Свалила судороги прыть...
Упал, как бы попал под нож,
и не успел еще остыть -
явился врач
и кутерьма,
явился - пепел на пожар,
явился - узнику тюрьма,
таланту признанному - дар...

Носилки тетка вволокла,
кто здесь... того,
сегодня вас,
уже двадцатого свезла...
А мы сказали, что сейчас,
одну минутку...
Снять костюм,
оставить в плавках...
И тогда...
У отошедшего был ум,
была внутри своя звезда!
Перевернули,как бревно...
Носилки в двери не войдут...
И стало, видимо, темно,
что нас хоронят, как найдут.
Мы взяли на руки сосуд,
пустой сосуд,

пустой...
Свершился вынужденный суд...
И вышла кровь густой
из горла или из души,
из пепла, из трухи...
...А я теперь стихи пиши,
курчавые стихи,
что лифт не принял мертвеца -
он не вошел в него;
что мы, -
как-будто из свинца
он был,
несли его;
что мы в толпе создали брешь
на улице...
И сник
веселый, розовый, как плешь,
зевачий пряный лик.
И простыня хлестала зло
лицо того Ильи...
И где-то пели тяжело,
натружно соловьи.
В машине он ногой стучал,
пятою мервеца.
И пот умершего скучал
на плоскости лица.

А в морге пахло днями,
зашедшими в тупик.
И топчаны корнями
вросли, как в горло крик.
И волосатый дядя,
размером - взрослый дуб,
стоял, как на параде
и ковырял свой зуб.
А щеки, как свинина,
набрякли у него.
И наши в сумме спины -
спина у одного,
привыкшего к предметам
с тупым названьем труп.
...Тот дядя был поэтом,
и даже боголюб:
сказал он, рожу гладя:
"Порядочек... теперь,
ребята, Бога ради,
плотней закройте дверь:
сквозняк, а я чихаю...
...Сюда его...правей...
Покойничек был Хаим

или других кровей?..
Теперь не беспокойтесь..."
И рухнул на топчан
исчерпанный какой-то
остаток от врача.
А рядом, бороденкой
стреляя в пустоту,
лежал какой-то тонкий,
лежал, как на посту,
и наводил зубами
зеленый ужас в нас...
Рабы умрут рабами,
поэт умрет, как глаз,
проколотый,
пробитый,
исчерпанный до дна...
О, смерть, твое корыто
наполнено сполна...
...Бородка спит любезно.
На теле синяки
от банок бесполезных,
которым вопреки -
он пал на дол топчаний,
на свой последний стол...
...А мы уже скучали,
мы мчались на футбол,
курили, ели смачно
сосиски на углу.
...Пускай же небо плачет,
пусть слезы по стеклу,
а не по нашим взглядам,
не по ноздрям спешат!..
Фонтаном, водопадом
кровь из моих стишат
на личико живущих,
на здравствующий тлен...
И смотрит вездесущий,
разбухший от измен,
на то, как мы бестактны,
шумливы
и глухи...

...О, пьяненькие факты,
вбежавшие в стихи.

март 1961

Эти ранние стихи Горбовского давно живут отдельной от автора жизнью, в тысячах самиздатских копий. Новые эмигранты так же любовно пересылают их тут, на Западе, друг другу - кто, более удачливый, вывез. Не следует даже повторять, что мы печатаем их без всякого согласования с автором, который, вполне вероятно, забыл о них и думать.

Сергей ДОВЛАТОВ

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

Как известно, записные книжки - не только атрибут литератора. Записные книжки - жанр, старинный и достойный. Юрий Олеша написал в этом жанре свою лучшую книгу...

Есть к моим записям стихотворный эпиграф. Фамилию автора, к сожалению, забыл. А стихи такие:

У кого машина, у кого домишко...
У меня в кармане - записная книжка!

С. Довлатов.

* * *

Вышла как-то мать на улицу. Льет дождь. Зонтик остался дома. Мать бредет по лужам. Вдруг навстречу ей алкаш, тоже без зонтика. Кричит:

- Мамаша! Мамаша! Чего они все под зонтиками, как дикари?!

* * *

Как-то пили с Иваном Федоровичем. Было много водки и портвейна. Иван Федорович благодарно возбудился. И чтобы угодить, спросил Женю Рейна:

- Вы какой,извиняюсь, будете нации?

- Еврейской, - ответил Рейн, - а вы какой нации будете?

- А я буду русской... еврейской нации, - дружелюбно ответил Иван Федорович.

* * *

Женя Рубин вспоминал:

Сидим как-то в редакции, беседуем. О том, о сем, и конечно - про евреев. А Толик Воробьев и говорит:

"Сколько это может продолжаться! Сколько может продолжаться этот антисемитизм! Евреи, евреи... Да я, бля, жил в Казахстане, так казахи еще в сто раз хуже!.."

* * *

Моего друга Эдика Копеляна привлекли к суду за неуплату алиментов. Последнее слово он начал так:

- Граждане судьи, защитники... полузащитники и нападающие!

* * *

Как-то мы сидели в бане, писатель Вольф и я. Беседовали о литературе. Я все хвалил американскую прозу. В частности - Апдайка. Вольф долго слушал. Затем встал. Протянул мне таз с водой. Повернулся задницей и говорит:

- Обдай-ка!

* * *

Как-то мы с братом проснулись у его знакомой. Очень много выпили накануне. Состояние - ужасающее. Вижу - Боря поднялся, умылся. Стоит у зеркала, причесывается. Даже как-будто пудрит лицо.

Я говорю:

- Боря, как ты смеешь хорошо себя чувствовать?!

- Я ужасно себя чувствую.

- Но ты прихорашиваешься!

- Я не прихорашиваюсь, - ответил мой брат, - я совсем не прихорашиваюсь. Я себя мумифицирую.

* * *

Как-то раз я выносил мусорный бак, замерз и опрокинул его, не доходя помойки. Через пять минут явился дворник и устроил жуткий скандал. Выяснилось, что он по мусору легко узнает жильца и номер квартиры...

В любой работе есть место творчеству!

* * *

Как-то раз Валерий Грубин повстречал жуткого забулдыгу и угостил его шампанским.

- Второй раз в жизни ИХ пью, - сказал забулдыга.

Он был с шампанским на ВЫ.

* * *

Как-то раз мы с Валерием Грубиным оказались в Подпорожском районе. Блуждали ночью по заброшенной деревне, и внезапно Грубин провалился в колодец. Когда я подбежал и заглянул вниз, то увидел, что Грубин закуривает, стоя по колено в воде. Такова была сила его невозмутимости...

* * *

Поехали мы с Грубиным на рыбалку. Началась гроза. Укрылись в шалаше. Грубин был в носках. Я говорю:

- Ты оставил ботинки снаружи. Они намокнут.

Грубин ответил:

- Ничего. Я их перевернул НИЦ...

Все-таки бывший филолог в нем ощущался.

* * *

Научный руководитель аспиранта-философа Валерия Грубина был недоволен тем, что Валерий употребляет в своих работах много иностранных слов. Свои научные претензии он выразил в такой научной форме:

- Хули ты выебываешься?!

* * *

Как-то у меня сидел Веселов, бывший летчик. Он темпераментно рассказывал об авиации. Он говорил:

- Самолеты преодолевают верхнюю облачность... Стрижи попадают в сопла... Самолеты падают... Люди разбиваются... Стрижи попадают в сопла... Самолеты разбиваются... Глохнут моторы... Погибают люди...

А напротив сидел Женя Рейн.

- Самолеты разбиваются, - продолжал Веселов. - Глохнут моторы... Погибают люди... Какие люди гибнут!..

- А стрижи что, выживают?! - обиженно крикнул Рейн...

* * *

Оказался в надзорке сержант из Москвы. Интеллигентный юноша, сын писателя. Ему очень хотелось слиться с солдатской и лагерной массой, и он постоянно матерился, чтобы войти в доверие. Однажды он прикрикнул на кого-то:

- Ты что, ебну́лся!?

Именно так поставив ударение.

Зек реагировал основательно:

- Гражданин сержант, вы неправы. Можно сказать - ЁБНУЛСЯ, ЕБАНУ́ЛСЯ и НАЕБНУ́ЛСЯ. А ЕБНУ́ЛСЯ - такого слова в русском литературном языке нет...

Сержант получил урок русского языка.

* * *

Тамара Зибунова приобрела стереофоническую радиолу "Эстония". С помощью знакомых несла ее домой. На лестничной площадке стоял алкоголик дядя Саша. Тамара говорит:

- Вот, дядя Саша, купила радиолу, твой мат заглушать.

И тогда дядя Саша неожиданно воскликнул:

- Правду не заглушишь!

Евгений ЛЮБИН

ГОГА ГЛЕБОВ

РАССКАЗ

Гога Глебов такой большой и такой молодец, а упал сразу. Падая, он сознания не потерял, а почел за лучшее сейчас упасть, но упасть поудобнее, чтоб не зашибиться, да так еще, чтоб ружье легло под рукой. Однако ж зацепил он у самой земли затылком корень, и стало ему нехорошо, непривычно как-то. Вскоре муть прошла и в голове прояснило, но будто сняли какой-то пласт и под ним показалось то, что видеть он вовсе не хотел и думать об этом забыл. И знать не зналось и во сне не виделось. Кроме голых баб он во сне никого не видел, да и эти все с итальянских похабных фресок, что он в Генуе накупил приятелей-писателей развлекать, но больше ублажал сам себя в своей житейской неукатанности.

Конечно, это не сон и не бред, просто видится и нет сил это отогнать, да и надо ли? И Эва - это для него только Эва, как и много-много до нее и после нее. Правда, получил он от нее больше, чем от других. Получил от нее все. Она - его открытие, его первая повесть, его нежданный успех и он даже убил ее в последней главе. Это-то и подняло пласт, перевернуло память, а вовсе не то, что силой он ее взял тогда на целине и спасся только тем, что уехала она вскоре домой, в Венгрию.

И ты здесь, Баянер. И ты, старушенция, пришла ко мне. Ох уж эти мне восточные страсти в сорок лет. А ведь и тебя я предал, предал бездарно и бездумно. Ей-богу, эта глава в очерках была ни к чему. Написалось о тех вечерах в Софии, о Золотых Песках и о твоей глупой влюбленности. Ну, ей же богу от тебя мне ничего не надо было. Получилось все в пьяной веселости, даже без похоти. Может из озорства, а может и по привычке не упускать, что само в руки идет. И все верно, и года четыре уж прошло, и грехов не сочтешь, а явились вот ты, да Эва. А что общего между вами?

Она ведь - это ОНА. Да что уж там. Как она пела, как пела. Французские, немецкие, испанские. Каждая минута с ней вспоминается как праздник. Как праздник. Да что это такое? Десять лет словом не помянул. Да и тот раз, когда парень весть привез из Мишкольца - в шестидесятом или в шестьдесят первом - страшнее не придумать, а я? - Надо бы съездить или написать хоть... Да теперь поздно. "Опухоль мозга у нее", - сказал он тогда. Да, поздно, - пронеслось еще раз и как-то даже полегчало. Не то чтобы снялся грех,да и грех ли, а все-таки совеститься не перед кем.

Хуже вышло со старушенцией. Нашла-таки его. В Союз привалила, на сцену поднялась, - видно о конференции в газете вычитала, - и хрясть по морде при всем народе. Как поднялась спокойно - так спокойно и вниз сошла. Ах, баба, ну, баба! Пожалуй за такое еще бы с ней переспал. Ух, баба!

Опять что-то закрутилось в голове, замелькали кадры, будто быстро-быстро пустили киноленту. Потом остановилось и надо же, совсем не на том месте. Нет, только не это. Нет-нет,пусть опять эта пляска, только не это. В этом-то меня никто не упрекнет - я справедлив. А никто и не упрекает, не упрекает, не упрекает... Ну, дальше, дальше - хоть немного дальше. Но, видно, порвалась лента и виделся ему лишь один кадр, как входит он в редакцию - там полно народа и девчонка в каком-то нелепом платье с крылышками бойко что-то читает, но волнуется и голос у нее чуть надтреснут. И все смеялись, потому что было смешно, и все слушали, затаив дыхание, потому что было написано здорово. Это сразу его озлило. Не потому, что видел ее впервые, хоть и раздражали его эти бойкие теперешние, и не потому, что писано было языком кратким и новым, ему не ведомым, а оттого - по правде если, - что чувствовалась в этом такая легкость и непринужденность, так очевидно было, что писано это сходу, почти без усилий, что не мог он не возмутиться.

Сам он писал всегда тяжело, натужно. Писал неохотно и делал это даже не как обычную работу, а как работу пренеприятную и обязательную. Однако никогда не забывал о конечной цели. О той независимости, которую она ему давала. До денег он был не сильно охоч и не этого искал. Ту малость, что нужна свободному человеку, он имел, вот пристегнутому быть - не дай бог. Нет, не легко давалось ему ремесло.

И прервал он ее где-то на полуслове и наговорил такого, что все сидели потупясь, но возражать никто не стал.Кто ж посмеет с ним спорить - тут и говорить нечего. Много прошло с тех пор, и не слыхивал он о той девчонке и хоть бы раз вспомнил, а вот надо же, стоит в голове, и все тут.

- Тьфу, черт, - встрепенулся Гога, - пора кончать это кино. Нагляделся.

Он дрогнул веками и из-под белесых, выцветших ресниц увидел старика с остановившимся взглядом, сидящего у спиленного кедра и неловко твердыми ладонями, будто камушки,перебирающего орехи. Девка с прыщавым кирпичным лицом, едва не зашибившая его, несет ему воду в отцовском картузе. Гога одним движением стал на колени и поднял ружье. Курки уже были взведены, оба ствола заряжены картечью. На оплывшем его лице едва прорезались глаза. Он

грозно вскрикнул, поднимаясь на ноги, но ни старик, ни девка не испугались. "Отдышался, господи-поди", - сказал старик и встряхнув мешок с кедрачом, начал его завязывать, а прыщавая чуть улыбнулась. "Руки", - повторил Гога тихо, но всерьез. - "Живо!"

Старик покряхтывая нес мешок, а девка пилу и топор. Гога держался шагах в десяти, возвышаясь над ними и над тайгой. На одутловатом лице его не значилось ничего, но в душе было спокойствие. Не с пустыми руками идет он на этот раз в Кедроград, и следующий очерк в защиту нового города, в защиту тайги он начнет не с пустых слово-словий, а расскажет о том, как сам он, своими руками вылавливал порубщиков-браконьеров и как его при этом чуть не убили... А кончит он его, как всегда: "Быть Кедрограду! Быть новому городу в тайге!"

Евгений Любин - писатель из Ленинграда. Сейчас живет в Нью-Йорке.

Вадим ДЕЛОНЕ

ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

В мае 1968 года я был исключен из Новосибирского университета. Событие это меня не поразило и не взволновало. Предыстория вкратце такова. В декабре 1966 года в Москве я был впервые лишен возможности продолжать образование и отправлен на несколько недель в психбольницу за публичное чтение стихов и попытку создать свободное объеденение прозаиков и поэтов, а через месяц после освобождения из психушки был вместе с Буковским и другими арестован за демонстрацию в защиту Юрия Галанскова, Александра Гинзбурга и других. Я провел в стенах Лефортовской тюрьмы 10 месяцев. В декабре 1967-го я уехал из Москвы в Новосибирский Академгородок и стараниями моих друзей-ученых был зачислен в Новосибирский университет. Через месяц, в январе 1968 года начался в Москве процесс над Ю.Галансковым и А.Гинзбургом, обвиненными в то время в написании документальной книги о суде над Синявским и Даниелем. Впервые Литвинов и Богораз открыто обратились из Москвы за помощью к мировому общественному мнению. Сотни известных представителей советской интеллигенции присоединились к этому обращению и открыто выразили свое возмущение. За тысячи километров от Москвы на стенах зданий Новосибирского Академгородка ночью появились лозунги: "Честность - преступление", "Советское законодательство равно фашистскому", "Свободу Гинзбургу и Галанскову".

Надо ли объяснять, какая расправа полагается за такие лозунги - не менее трех лет лагерей. Но в постоянно патрулируемом КГБ, закрытом Академгородке виновных так и не нашли.

По-французски было опубликовано в газете "Либерасьон".

В этот сказочный период, кроме того,власти не могли контролировать, взять в свои руки, запретить - бесчисленные вечера,на которых читались неподцензурные стихи, выступали барды. Тогда в первый и последний раз перед такой широкой аудиторией на своей родине свободно пел Александр Галич. Над клубом, где проходил конкурс бардов и менестрелей, красовался двусмысленный лозунг: "Поэты! Вас ждет Сибирь!"

Причина, по которой власти дозволили столь невероятную для Советского Союза демократию, была одна - временное замешательство.

Ночами мы не отходили от приемников. Протесты мировой общественности по делу Галанскова и Гинзбурга, первые сообщения о Пражской Весне - все жили только этим.

И многим казалось, что стена между нами и свободой медленно рушится.

Самиздат настолько распространился, что профессора шутили: "Придется распечатывать Льва Толстого на машинках и раздавать как нелегальную литературу, а то никто читать не будет".

Заявление Дубчека о частичной отмене цензуры,демонстрации в Праге с требованием морального осуждения и изгнания с государственных постов тех, кто замешан в расправах над невиновными, - эти сообщения объединяли, радовали нас. Доходило до пародоксов. По заданию КГБ в милицию днем и ночью таскали на допросы моих друзей, подозреваемых в написании лозунгов; многие сотрудники милиции, вполголоса и оглядываясь, распрашивали их: правда ли, что даже французские коммунисты выступили в защиту Галанскова и Гинзбурга? Что слышно из Праги, что там происходит?

Не могли же милиционеры позволить себе слушать Голос Америки, как это делали мы.

Власти постепенно приходили в себя. И первой, как всегда,выступила наша "самая честная в мире" советская пресса. Газета "Вечерний Новосибирск" запестрила разоблачениями. Лауреат Государственной премии А.Галич был почему-то назван белогвардейцем. Затем грозные обвинения посыпались в адрес руководителей клуба интеллектуалов "Под интегралом" и в адрес тех,кто осмелился подписать письмо в защиту Галанскова и Гинзбурга.

Так как пресса у нас партийная ("авангард советского строя"), то по неписаному закону все общественные организации, все предприятия и университеты должны немедленно реагировать на сигнал прессы и делать соответствующие выводы. И выводы были сделаны незамедлительно... Полусвободный молодежный клуб был закрыт. Всех, кто подписал петицию протеста и не покаялся потом "где надо", изгнали с должностей, профессора, научные сотрудники были уволены с работы, отстранены от преподавания. Но и эти меры не всех напугали. По вечерам из сотен окон с магнитофонных лент неслись над Новосибирском песни Галича,а в компаниях - между чтением самиздата - заключали пари, кто следующий будет "изобличен". Поставившие на мою кандидатуру выиграли пари. Газета "Вечерний Новосибирск" удостоила меня целым разворотом под названием "В кривом зеркале".Имелось в виду, что стихи мои - кривое зеркало, искажающее славную советскую действительность, что

я избрал для себя символом изменников Синявского и Даниеля, надел черные очки и воспринимаю мир через них.

Событие это шумно праздновалось. Один из моих друзей,актер, с большим пафосом читал этот опус. Особое удовольствие всем доставила фраза: "Он не видит ни звезд, ни солнца, ни глаз любимой". Все буквально задыхались от смеха. Но была в этой статейке одна неприятная для меня фраза: "Странно, что этому зарвавшемуся антисоветчику оказывают поддержку некоторые крупные академики". Фраза эта грозила крупными неприятностями моим покровителям-ученым, ставила под удар их научную карьеру. И вот мне пришлось явиться в ректорат и просить меня исключить; пока высокое начальство из КГБ и партии не приказало это сделать руководству университета, я решил проявить лояльность, чтобы не заставлять людей страдать из-за меня, чтобы они могли избежать неминуемых репрессий. В ректорате с искренней горечью согласились.

Я прощался с многочисленными новосибирскими друзьями и в июне вылетел в Москву. В столице спорили только об одном - введут или не введут танки в Прагу. Все понимали, что если Советский Союз окажет "братскую помощь", всем надеждам придет конец. Если посмеют расправиться с целой страной (притом чужой), то уж со своими вольнодумцами расправятся и подавно... И все же надеялись, что не посмеют, побоятся общественного мнения Запада. Что чехам удалось прорвать кордоны лжи и не смогут советские власти давить танками свободу на глазах у всех...

Я не разделял этого оптимизма. Десять месяцев допросов в центральной тюрьме КГБ показали мне, что мало изменений в нашем отечестве со времен "вождя народов". Я знал, что режим страны победившего социализма не может допустить ни личной свободы для своих граждан, ни развала своего незыблемого Варшавского блока...

Да и чешские руководители позднее, на знаменитом совещании в Чиерне над Тиссой как-то уж слишком заискивали перед Брежневым, клялись в верности идеалам коммунизма, в то время как советская пресса уже начала клеймить их на все лады. В дни этого совещания я жил на даче и как-то забрел в соседний дом отдыха на танцплощадку. Группа чешских юношей и девушек, приехавших по путевкам, смущенно стояла в сторонке. Прочие отдыхающие отводили глаза в сторону. Дирекция дома отдыха и вездесущие люди из КГБ предупредили всех: к чехам не подходить, будете с ними общаться, сообщим по месту работы. Я бросился к чехам. Они чуть не плакали, что кто-то с ними общается, потом стали подходить другие ребята, но не из числа тех, кто отдыхал в специальном доме отдыха для иностранцев и привилегированных советских работников.

А над Тиссой всё клялись Брежневу в нерушимой преданности...

21 августа утром в Москве у здания суда, где проходил процесс над Анатолием Марченко, я узнал о сообщении ТАСС об оккупации Чехословакии.

Невыносимым было состояние унижения, бессилия, отчаяния и стыда за свою страну.

На многих дачах горели костры. Жгли не сухие листья - жгли самиздат, ожидая обысков...

Владимир МИХАЙЛОВ

ЕЩЕ ДОЛГО

I

Торопятся встречные, бережно поддерживают друг друга. В руках у них свертки, в свертках туфли, в свертках вино.

- Осторожнее, не поскользнись...

Чем ближе к двенадцати, бег лихорадочней, ближе к двенадцати меньше людей, ближе к двенадцати пустеет улица, только столбы, только холодные стены домов...

Прошел патруль, прошел почтальон с телеграммами, промчалась "скорая" на окраину. Иду быстрее, по главной,к Управлению,дальше за "хитрый", за наш. Быстрее, нажми, быстрее... Падает снег, ложится на плечи. На краю света, на берегу моря скоро,через несколько минут, начнется Новый год.

На востоке, на северо-востоке огромного государства - государство. Оно называется странно: Строительством. Строительством Дальнего Севера! Дэ - эС - буднично, как Хэ-Бэ!

Удары, удары, бой с перезвоном... 12! Урра! Каждый задумал. Пусть сбудется, товарищи!

В окнах тушат свет, за тюлем в елочных огнях руки с бокалами, они тянутся друг к другу. Выше бокалы, пусть сбудется! Пусть сбудется!

По кругу, по кругу, будто опоздал, будто задержался, будто тебя ждут. Что они там делают? Подняли бокалы. Пусть! Смотри выше, на звезды, можешь закрыть глаза.

Каждому человеку дом, каждому стакан вина, каждому женщину!

Пробежала актеры с Новогоднего концерта:

- Не тянись, ничего не оставят...

У почты разогнался и катился вниз по ледяной дорожке до самого конца дома. Опять по главной, опять к Управлению, потом у парка, потом над бухтой, где зимуют полузанесенные корабли.

Наглаженные брюки - ледяные трубы, жгут колени, губы одеревенели, пальцы свело как у птицы. Уйди, погрейся! Нет! Вернись домой, ложись в постель! Нет! Тогда заглядывай в окна,прислушайся. Они поют, хлопают дверьми и поздравляют соседей, они выбегают на улицу и подставляют лица падающим снежинкам:

- Накинь платок, простудишься!

- С Новым Годом, дорогая.

Час! Сколько можно? Сколько влезет! Шагай! Шагай! Всю дорогу-у-у! Сколько еще? Может,хватит?

По кругу, по кругу... В окне танцуют, в окне целуются,отдернули штору, вытолкнули форточку, и вырвалась на улицу музыка, радостный шум, ранящий смех. Прочь, дальше, не хочу. Не в этом - в будущем! Не в будущем - когда-нибудь! Выберусь,вырвусь. Пешком, ползком, вплавь... Не получается - получится. Успеем, какие наши годы! Человек дождется, человек живуч. Он как кошка. Хуже! Снег не скрипит, он чистый, мягкий, пушистый. Падает, падает... Иди от дома к дому. По главной, по неглавным и опять по главной. По краю света, по главному городу малого Левиафана.

Медленно опадают снежинки,заносят тротуар и остаются только одни мои следы, больше нет следов. И когда вновь иду по главной, стараюсь ступать шаг в шаг, чтобы оставался только один след.

Вернулся поздно, они спали или делали вид, что спят. Кто их знает. Только Коля поднял голову:

- От мамы ничего, даже телеграммы.

- Завтра получишь...

- Зачем мне завтра...

Я боялся, что начнет жаловаться, и укрылся с головой.

II

И покатились дни нового 54-го года, которые, собственно, ничем не отличались от таких же дней 53-го. Дни не изменились, а мы напряглись в ожидании перемен.

Холодно на дворе. Воробьи прыгают по затоптанному снегу в поисках съедобного. Мороз не шутит, они напыжились,совсем округлились. А мы хуже воробьев! Гнемся в три погибели,голову втягиваем в плечи, руки в карманы. На работу идем в темноте и возвращаемся, когда зажгут огни. Не люблю январь! Впрочем, и февраля не люблю!

По утрам, только переступаем заводской порог, мчимся захватывать теплые места. За ночь цех так вымерзает, что эмульсия в корытах покрывается коркой льда. Мастера разбираются с заданием, а мы, распластав телогрейки, жмемся к теплому баку.Прислушиваемся, как булькает пар, прорываясь сквозь жидкось, и кажется, никакая сила не оторвет нас от железного куба. Утром мы неразговорчивы. Откуда-то доносятся нетерпеливые зовы мастера, мы молчим. Позже найдется послушный, включит станок. Упрямый стук ремня разрушит тишину, начнем готовиться и будем ругать того, "кто выдумал эту работу". А зима еще только посредине.

Мы с Неры, и Толик, и Коля, и я. У нас общая судьба, и мы злы, как сто самых злых собак. У нас нет паспортов,1-го и 15-го являемся на отметку в "хитрый дом".

По вечерам собираю тетрадки и бегу в школу. Я - рабочая молодежь! Годы идут, время идет. Я влезу в институт, пусть придется поступать десять раз.

Все говорят: - Не выйдет!

Поживем - увидим.

Тошнит от равнобедренных треугольников, от положительных и отрицательных героев - я молчу. Молчу и зубрю бескрылые фразы, заучиваю слова, которыми объясняют то, что не требует разъяснения, а мозг сопротивляется, не принимает.

Заучиваю страницами наизусть, сверх всякой программы, решаю задачи с одним неизвестным, с двумя, с тремя...

Мне нужны пятерки, только пятерки. Мы должны знать больше, мы должны знать лучше, потому, что нам дорога закрыта, потому что нам идти без дороги.

Спрашивают, "кто знает?", тяну руку первым, и они считают меня самым умным, потому что я читал "Войну и мир". И пожилые майоры из управления лагерей говорят:

- Тебе хорошо, ты и так все знаешь.

И это приятно, нас редко хвалят.

Перед утром иногда просыпаюсь. У окна стоит Толик, руки за спину, смотрит в ночь. Там ничего не видно, там черное стекло. И в семь, когда нужно вставать, опять вижу Толика: он склонился над тумбочкой, торопливо что-то пишет. Он пишет стихи, и когда получаются патриотическими,их печатает Дальстроевская газета. Пишет и рвет, пишет и рвет, выверяет каждое слово, каждую метафору, чтобы прошло, чтобы не было ничего такого.

Иногда читает дистиллированные строки. Коля деликатен, а я не церемонюсь и говорю: "Брось!"

Толик обижается, подолгу не показывает. А потом опять пишет и опять читает.

В бараке четыре угла. В четырех углах, отгороженных простынями, едят, тоскуют, любят, воспитывают детей и ждут расселения договорники. Каждое утро слышим,как парень из Новосибирска бьет жену. Бьет под ребра, чтобы не оставлять следов, чтоб не слышали. Вот уже с месяц каждый вечер ее увозят прямо с работы трассовские воры. Она является под утро и сидит на кухне, пока не проснется муж. Потом он бьет ее, и мы слышим, как под каждый удар она шумно втягивает воздух.

- Бей, бей... смотри не просчитайся...

Мне надоедает, и я швыряю через занавеску валенок. Тогда стихает возня, Васька выносит валенок и ставит к печке.

Настанет суббота, настанет вечер, мы будем бриться и отпаривать брюки. Будто нас кто-то ждет, будто кому-то нужны. Я улыбнусь Толику, Толик улыбнется Коле, Коля - Абиссинскому королю. А наш дневальный - Абиссинский король - улыбнется всем. Мы не очень веселы. Просто у нас общая судьба, просто мы - товарищи. И чем хуже нам бывает,тем больше тянет друг к другу. Есть работа, есть крыша, мы не голодны и не теряем надежды. Когда нечего делать, мы рассуждаем о жизни и даем друг другу советы. Мы мастера советовать.

Коля - единственный сын старых ленинградских интеллигентов, стряхнет пепел в консервную банку и скажет:

- Давайте-ка вас женю?

- Как-нибудь сами.

Абиссинский король тоже вмешается:

- Не бери русскую бабу! Хочешь, в Нальчик напишем, невесту вызовем! Глаза черные, крраcивая, замужем нэ била!

1-го и 15-го нам отмечаться, каждый месяц. Чтобы не сбежали. Уже 5 лет, 5 х 12 х 2, 120 раз. Сколько еще? Уже умер Сталин, сколько еще? Есть небо, есть мера. Или только терпенье!

Долго не будет колиной Августы, и мы все подумаем: не попалась бы... Коля будет лежать, подложив руки под голову, будет волноваться, будет много курить, вида не подаст:

- Прибежит... Никуда не денется.

Мы тоже примолкнем, будем поглядывать в окно. Стемнеет, по улице развернется машина, свет ударит в глаза,блики метнутся по стене, по потолку и исчезнут. Толик заведет патефон, а потом прервет посредине и будет перекладывать стопу пластинок, перечитывая названия.

- Трагедия в том, что люди слепо поверили в заведомо ложную идею...

- Трагедия в том, что все попало в нечистые руки...

- Бросьте трепаться, нет никакой трагедии...

- Обидно, если все зря и ничего не получится.

Неожиданно залетит Августа, краснощекая, возбужденная,будет швырять с себя платки, бросится тискать сияющего Колю.

- Перестань, отвяжись!.. Ешь, все остыло. Ешь давай, ешь!

А потом она возьмет его за руку и они запрутся на кухне. И когда Коля пройдет мимо - Толик заведет новую пластинку и будет ставить их одну за другой... Потом они выйдут, немного потанцуют вокруг стола с патефоном, и он уступит ее Толику.

От нее пахнет молоком. От женщины не должно ничем пахнуть? Может быть, не знаю, не помню... Коля говорит: "Все одинаковы!" Коля - эстет, влюблен в мирискуссников. Может, это отрицание отрицания, может быть синтез?

Рядом,на соседней койке,будет плакать Старик. И я скажу ему:

- Зачем плачете... Сколько говорили... Не думайте, не нужно думать, и будет легче!

- Не буду больше, не буду... Я мешаю, не буду...

- Плачьте на здоровье, только вам ведь хуже.

- Скажи мне... Скажи пожалуйста, зачем жить... для чего работать. Скажи мне...

И меня выручит Коля, он выйдет из кухни и будет добр, захочет, чтоб всем было хорошо:

- Ребята... Давайте веселиться.

Ко мне подсядет Августа, закурит и скажет:

- Хатишь, приведу тебе грамотную.

Не хочу! Не надо лагерной! Хочу наивную, хочу чтоб пела песни Туликова, чтоб удивлялась и вскрикивала "Какой ужас!"

Они опять уйдут танцевать, а Абиссинский король покачает головой и скажет:

- Где Августа танцевать выучилась? В лагере выучилась? Маладец, началнык! Благдри началныка, культурная стала!

Брось плакать, Старик! Враг не сдается, его уничтожают! И никто не поможет. Настанет весна, ледоколы разобьют лед и приведут первые пароходы, с трапов сойдут комсомолки. Их вызовут и предупредят: "Не забывайте!.." И они будут осторожны,будут только с договорниками. Чистые с чистыми, бывшие с бывшими. Нам Августу, в сатиновом, в казенном, она и нам рада; глаза блестят, беспричинно смеется и голову запрокидывает, нам в рот смотрит.

И в ту субботу мы тоже надели бостоновые костюмы, и в ту субботу плакал Старик, и Толик отплясывал с Августой.

А на пороге встали два вохровца, в дубленых полушубках, с красными рожами. Упала рука Августы, а Толик все пытался кружить ее, ему не видно было. Коля привстал с койки, сцепил пальцы, и два брата, два латыша, которые молча ели до того гороховый суп, перестали жевать и сказали что-то на непонятном языке, а потом опять стали по очереди опускать ложки в жестяной котелок.

А вперед вышел Абиссинский король:

- Заходи, земляк, зачем в дверях стоять.

- Сами знаем, где стоять. А ты, красавица, собирайся!

- Зачем обижать хороших людей, - говорит Абиссинский король. - Иди лучше по стаканчику пропустим.

И они выпили по стакану браги, в которую король для крепости махорку добавлял. И крякнули.

Августа пошла между коек к табурету, где сложена одежда, а они смотрели ей в спину. И она, защищаясь, поигрывала бедрами и улыбалась в их сторону.

Коля набычился и совсем уже наивно заявил:

- А в чем она собственно виновата? - И это было глупо, лучше б молчал.

- Иди, тебя не спрашивают! - сказали они.

- Иди, иди, крути свой патефон!

Когда ее увели, Коля заметался, забегал по комнате, схватил шапку, а потом сел на кровать, опустил голову.

Я выскочил за ними. Они ушли куда-то вперед. Пробежал весь поселок до поля, которое отделяло Новые Гаражи от женского лагеря: их нигде не было. Тогда вернулся: они не могли далеко уйти. Их не было. Я опять побежал к полю, и тогда увидал: они стояли за последним бараком. Один прижал ее к стене и расстегивал телогрейку, а она спрашивала:

- Прямо так, вот тут?

- Не ломайся! Всем хватит!

- Холодно здесь...

Они услышали скрип шагов, не могли не услышать. Один обернулся... И она должна была видеть, потому что за спиной у меня был снежный пустырь, освещенный луной... Я сунул пальцы в рот и свистнул на весь поселок и резал морозный воздух,пока уводили ее через поле. Хорошо, не было Коли. Я ему ничего не рассказал.

Зима катится дальше. Колхозникам снизили налоги. В журналах закопошились писатели, задискутировали, заговорили о каких-то своих претензиях. Их быстренько осудили, но без страшных фраз.

А он в мавзолее, его профиль на знамени, его именем клянутся.

Радио утром и вечером поет Аленушку, вольные-раздольные колхозные просторы, исконное-посконное и деревянные ложки.

III

Утро - день - вечер. Первичные валы, вторичные. Выполнил, перевыполнил на 150,на 200 процентов. Сдал наряды за первую декаду, за вторую, закрыл месяц. Охлопков поставил "Гамлета". Они захлебываются, им не хватает слов для выражения восторгов. Я тоже хочу увидеть "Гамлета", своими глазами.

Месяц, как год, год - десятилетие! Не могу больше! Не могу, когда ничего не происходит! Тошно, душно, лучше удавиться! Не видно конца, не помню начала! Так все давно...

В столовой, как всегда, шумно, дымно, тесно. Самое оживленное место Новых Гаражей: тут и едят, и пьют, и меняют,и воруют, и качают права, и выпрашивают милостыню.

В стороне от нас уселись за столик три москвича, три равнодушных молодых специалиста в кепках букле. Только прибыли,с нами не знаются - мы им не пара. А остальные - наша замусоленная сволочь, все бывшие, все бессемейные, все крикуны и пьяницы.

Беспрерывно бухает дверь. У кого водятся деньги, пьют пиво, у кого их нет, едят гуляш. Вошли четверо воров, швырнули с себя москвички, отмотали кашнэ, на пиджаках комсомольские значки. Подлетела Дуся, лыбилась им по-собачьи, убрала со стола,принесла стаканы. Рядом слесаря вытерли хлебными корками тарелки и бросили в головы молодых специалистов. Те обернулись к нам,смотрели возмущенно, презрительно, но не поднялись и ничего такого не сказали. В самом углу под картиной с зелеными волнами незнакомая девушка, аккуратно подбирая края,ела кашу с хлебом. А сзади воры били Ваську. Лицом об стол. Двое загородили спинами, а парень в кожаной летной куртке схватил за волосы и стучал лицом об стол.

Мы отвернулись, едим, будто ничего не видим: не наше дело, пусть бьют! Специалисты застыли с ложками в руках, по спинам видно: хотят уйти.

- Тихо, Вася! Тихо! Помалкивай!

Бьют Ваську за то, что приехал за длинным рублем, бьют за молодую жену.

Мы едим - таков закон. Не такое видели. За окном зарычала машина, ввалилась новая партия шоферов, небрежных, колоритных. Побросали сумки с инструментом и разбрелись в поисках свободных мест.

- Дуська, Дусечка, убери-ка со стола, сделай нам уют!

Разогнались, увидали, как Ваську бьют, сразу сникли и без шума повернули обратно. Старший из воров Саня Родский налил стакан, занюхал, выбросил хлеб под стол и опять налил.

- Кого Васек обижал! На кого лапу поднял!

- Что с тобой, ну, что с тобой сделать?

Разбили нос, губы, лицо было в каше и крови. Славненькая девушка под картиной с волнами закрыла лицо. Коля вылепил человечка из хлеба, воткнул ему спички вместо рук и посадил в блюдечко с солью.

- Какими мы стали дешевыми...

По столовой ходила Дуся, будто ее не касалось, разносила тарелки на подносе. Смолкли разговоры, обернулись стоявшие в очереди, буфетчица перестала качать пиво. Только стук головы нарушал тишину:

- Без кассации! Без помилования!

Громко заплакала девушка, и Толик сказал:

- Сиди! Не смей!

Я ученый, никогда б не полез, но стук черепа о деревянные доски был нестерпим. Не помню, как поднялся, взял за руку того, в кожаном:

- Может, хватит...

Сзади подошел Коля и шофера, когда увидели,что кто-то начал, сомкнулись кругом. Родский приподнял на секунду веки,увидал,что нас много, и равнодушно согласился:

- Что ж, хватит так хватит.

Достал из кармана платок и подал Ваське:

- Утрись! Смотри на кого похож, людей только пугаешь...

Ночью, когда все уснули и остался наедине с собой, долго не мог успокоиться. Сколько можно! Живи! Пробуй! Живи опасно!

Прошло три дня, и я возвращался из школы. Они встретили на выходе из города, у моста через Каменушку. Велели положить тетради в сторону, на снег. Свалили, пинали ногами, Родский прыгал по груди, ломая ребра. Ему неудобно было, не мог удержать равновесия и матерился. Не помню, как подобрала проезжая машина. С неделю лежал и плевал кровью. Старый амбулаторский врач,который за долгий свой век успел посидеть по тюрьмам всего света,послушал, потом подремал, а потом сказал:

- Будем ждать, может пройдет само собой.

Тогда лечить взялся Абиссинский король.

Меня завернули в простыню, выжатую в моче, и еще через неделю я начал ходить. И опять стал повторять: Пробуй! Живи опасно!

IV

Ветер, ветер, все время ветер! Зимой он несет снег, весной прошлогодние листья, летом - пыль и мелкий щебень. Медленно течет река времени. Судьбы наши - щепки, их несет общим потоком. Сорви листок календаря, возьми газету! Сегодня 6-ое марта! Сегодня год!

Что-то меняется.

- Сталин умер!

- Ну и что изменилось?

- Сталин умер!

- Главное - производственные отношения, главное - развитие производительных сил.

Год назад я был на зимнике, зарабатывал длинные тыщи. В тот день мы выехали с утра, ехали без остановок весь день. Замерзшая тундра убегала назад, но ее не становилось меньше. Временами засыпал, потом просыпался, а перед глазами были такие же белые и безмолвные сопки, и начинал опасаться, что никогда не до-

едем. Бедный наш ЗИС рычал, стучал, перебираясь через заметы, нырял с кочки на кочку, иногда беспомощно захлебывался,тогда мы сдавали назад и враскачку пробивались через рыхлый снег. И опять рычал, и опять тянул, тянул из последних сил. Казалось, вот-вот сорвет шпонки, полетят болты и заглохнет мотор. Был сильный мороз, мы боялись за свечи, потому что новых не было,а старые купили прошлой ночью у встречных шоферов: черт его знает, что они могли нам подсунуть, и не хотелось думать о том, что будет, если машина откажет. К вечеру далеко-далеко впереди увидели черную палочку. Она металась, вибрировала, и чем ближе мы подъезжали, тем заметнее становилось, что она - человек. Он бежал навстречу, прямо через тундру, размахивая поднятыми вверх руками. Он спотыкался, он падал, опять подымался и опять бежал. Бушлат расстегнут, треух, полотенце на шее все сбилось, растрепалось, рот был раскрыт, перекошенные глаза остекленели - он кричал. И когда мы затормозили, рванул дверцу, не смог открыть и забарабанил по стеклу кулаками:

- Ус загнулся! Ус загнулся! За-гнул-ся! Ус! Нет гуталинщика!

Он смотрел и не видел, глаза были совершенно безумными. Мы не поверили, а он побежал дальше в тундру, размахивая руками и не переставая кричать.

Прошел год. Имя Его поминают все реже. Что-то сделали для колхозников. Говорят о мире, говорят о сосуществовании.

Он умер! Он умер! Его больше нет!

Сегодня 6-ое! Не бьют в колокола, не палят из пушек, не гудят паровозы. Даже без флагов. Только портрет, только портрет в газете. Он стоит в черном френче, лицо белое, печальное; в глазах укор. Только портрет в газете, больше ничего!

- Он умер! Теперь все должно быть иначе!

- Если б он не был таким жестоким, нам никогда б не выиграть войну!

- Хочешь быть объективным? Вырежь портрет, повесь над кроватью! Он подох, Толик, он больше не встанет!

V

Прилетели первые весенние птицы, и из скворешников с утра до вечера несется их вереск. Земля,пригретая солнцем,парит. Ночная смена пообедает и не идет досыпать. Так и сидим на завалинках, шевеля босыми пальцами, жмуримся на солнце. Хорошо! Молодая мать пройдет, подбрасывая малыша. Подбросит, поймает, жарко расцелует:

- Ах, засранец мой! Ах, вонючка моя сладенькая!

А от барака к бараку озера луж, моря луж, океаны растаявшей жижи! Вода блестит, искрится, мерцает, на все больно смотреть. Конец зиме! Весна! Веснотища! Встревоженно гудят буксиры в порту, пробуют голоса, пробуют лед - ждут пароходов.

Вечером натягиваю комбинезон и иду на работу. А когда подхожу к самому цеху, поднимаю голову и замечаю небо. Оно огромно, а заходящее солнце ослепительно. То, что на земле против них,мало и ничтожно: малы бараки, малы машины, малы деревья с щетиной голых веток, малы даже сопки. Небо гигантское. Оно впереди и сзади, голубое и бездонное.

Я не вхожу в цех, я иду вслед за машинами дальше, дальше на трассу. Мимо проносятся "студэра", мимо пыхтят "даймонды", из машин что-то кричат, бросают... По бокам дороги кюветы, в кюветах вода. В воде трава, облака, заходящее солнце. Я иду все дальше на запад. За столбами, за машинами.

- Ты русский человек! Ты понимаешь, что такое план!

Это говорил потом мастер, а что мне было отвечать. Как объяснишь,что такой вечер может не повториться.

Уже через неделю, в день Победы вдруг выпал снег. И весна стала как осень, как умирание. Стало холодно, ветрено, бесцельно. Мы весь день валялись на койках. А у стола седой уже ветеран из договорников в белой рубашке и при медалях пил водку. Перед окном раскачивалась веревка с грязными мешками. Васька опять рычал на свою Дусю. Она молчала и курила. Изредка давила окурки, изредка зевала и говорила "отстань!" У нее какие-то свои виды на жизнь. Абиссинскому королю тоже скучно, и он добивается от ветерана:

- Расскажи, земляк, за что ордена дают. Скажи нам,как заработал.

- Чего вам рассказывать... Чего видел, чего я знаю - то вам ничего не нужно.

Наши ругают жизнь. Я защищаю ее из чувства противоречия. Это трудно.

В такие дни вдруг увидишь, что город - не город, а просто немного каменных и деревянных коробок, поставленных прямо в грязь между сопок. Что он, как Санкт-Петербург: тоже на болоте и тоже на костях. В такие дни тяжело верить.

15-го ходили на отметку. Сколько нас приходит с 10 утра до вечера. Сколько уже перестало приходить в этот маленький деревянный дом с голубыми ставнями. В коридоре "Правила" и бачок с водой, к нему цепочкой прикована железная кружка. Мы выстраиваемся длинной очередью, курим, говорим шепотом, только шепотом. На этот час забываем про возраст, про самолюбие, забываем, что подписывались под Стокгольмским воззванием. Мы все оставляем за дверьми. Это сильнее солнца, сильнее неба, моря, сильнее природы и самых умных книг.

И теперь меня всего передергивает, перекашивает - противно! Мы снимаем шапки еще за пять человек и шапку держим на животе и перестаем совсем разговаривать. И молодые, и пожилые, и те, которым уже совсем ничего не остается.

Он умер, я не сниму шапку. В 121-й раз вошел и не держал ее у живота.

- Сними головной убор! Невежа!

Они не филологи, слов не выбирают.

- Выбрось папироску, скотина!

Я раздавил окурок в пепельнице, у них на столе. Что было... Чуть в щепки не разнесли свой стол. Пепельницу швырнули в угол, топали ногами. Грозили концом света. Выписали трое суток, и я провел их в клоповнике.

Когда вернулся, все были против меня:

- Зачем задираться, чего воображаешь! Стали с нами терпимей, и решил чего-то показывать!

- Не могу больше!
- А раньше мог! Где был тогда со своими нервами.
Человек прост: он хочет счастья. Человек неумен: он верит в счастье.

VI

У нас открыли окна. Абиссинский король переодел галифе,влез в галоши, вооружился ножом - отмывает рамы от зимней грязи. По ночам снится Красная площадь.

Я поступаю, подаю документы в институт. Анкету сделаем. Папа организовывал колхозы, мама погибла в войну, все погибли в войну. Рационализатор, отличник ДС. Приехал по договору!

Коля говорит:

- Все прозрачно, как пить дать засекут.

Толик тоже не верит:

- Что скажут в хитром? Им все известно, по головке не погладят!

Попробуем, нельзя всю жизнь дрожать. Он не встанет, не перечислит "во-первых, во-вторых" и не заставит петь "Сулико".

Сопки, окружающие город, покрылись травой, и это волновало ничуть не меньше, как если бы вокруг вдруг зацвели вишневые сады. Мы перекопали и выложили обломками кирпича две клумбы у входа. На тополях проклюнулись первые нежнозеленые листики.

Я познакомился с девушкой, она тоже подает в институт. Она рассказывает о маме и школе. Я вдохновенно вру ей про общественную работу. Я покупаю ей мороженое, я протягиваю руку и говорю:

- Там, в тайге по распадкам текут ручьи. Ручьи несут опавшие листья и пожелтевшую траву.

- Я так люблю природу, я абсолютно ничего еще не видела.

- Обратите внимание, рядом с театром небольшой особняк, обнесенный высоким забором. Я часто смотрю из фойе на пустые корты во дворе и единственного часового у забора. Это дом начальника ДС.

- Как интересно!

Летят самолеты - это самолеты ДС. Гудят пароходы - на флагах "ДС". Вохра подралась в парке с моряками - армии нужна разрядка. И завод гудит, и машины спешат на прииск, и мы, задрав головы, рассматриваем пятиэтажные здания - все мы ДЭЭСОВские, всем командует человек из незаметного особняка.

Осторожно подбираю слова и вожу ее окольными улицами. Ее зовут Сашей, она москвичка, она поругалась с мамой: "Здесь все такие злые, не знаешь, что сказать".

Толик никуда не поступает, его опять напечатали. Не спит ночами, чуть что хватается за карандаш, а нам говорит:

- Увидите, услышите, дайте набить руку!

Чем больше его печатают, тем тяжелее с ним разговаривать.

- Я тоже мог бы им написать кое-что.

- Пиши на здоровье, кто тебе не дает.

- А не хочу! Пусть кто может роется в этой куче дерьма!

Мы ссоримся и миримся, а жизнь все та же: каждое утро на работу, каждый день суп с тушенкой, каждый день те же морды, те же плакаты, те же каламбуры. Васька наступит кошке на хвост и будет подсовывать хлеб - "Ешь, гадина, ешь, дармоедка!" А кошка будет визжать, будет упираться, давиться и будет все же есть этот хлеб.

VII

День длиннее, солнце выше. Мы торопимся сбросить одежды. Солнце светит во все лопатки! Природа веселая, природа спокойная, величественная, радостная. Школяры, белые, ушастые,мчатся, подымая облака пыли, размахивая ранцами, стараются ударить друг друга, дух рвется из материи. Все щурятся, все улыбаются.

Скоро экзамены. А если скажут: "Убирайтесь"? Анкету приняли, две фотокарточки, справку с работы - все приняли, все вложили в конверт, надписали фамилию. Каждый вечер ходим на подготовительные, каждый вечер возвращаемся с Сашкой в Гаражи. Мы болтаем, мы хохочем, будто знакомы уже тысячу лет. Она без ума от Ладыниной и мечтает выйти за военного.

- Чем ты был занят вчера?

- Писал передовицу в стенгазету.

- Не ври, я знаю!

- Что знаешь?

- Все, все знаю! Девчонки говорят - будь осторожней, по-моему, все люди одинаковы. Как тебе кажется?

- Может быть.

Хитро так поглядывает и смеется - рот до ушей, глаза щелки, лицо все собирается в складки и ямочки. Мы ходим по заводским, по окраинным улицам. Все одинаковы...

Когда нас привезли сюда и выгрузили в порту, когда за много лет увидали мы каменные дома, детей с лопаточками, щиты с афишами, мы готовы были реветь.

Толик как-то встретил нас с Сашкой. Я познакомил их,она болтала, а Толик был суров и говорил умное.

Дома Коля спросил:

- Что ты затеял? Добром такие фокусы не кончаются!

Толик говорил:

- Да просто непорядочно.

Один Король поощрил:

- Жми, никого не слушай! Не тяни только долго!

Настал вечер первого экзамена. Человек мал,он легко уязвим. Он прижался к салатовой стене, он ждет.

Как пишется "винегрет"? Что сказал Горький на I съезде? Что сказал Сталин? Где?

Шуршат страницы, скрипят ремни, щелкают дамские сумочки. Шепчутся бледные майоры, трут потные лбы, каждый стóит не меньше шестидесяти тысяч. Сашка тоже бегает от подоконника к подоконнику,от группы к группе, заглядывает через плечи.

- Ой, я ничего не знаю! Ой, я провалюсь, обязательно провалюсь!

Тише! Вот идет, под мышкой портфель. Что дадут? Патриотизм?

Мы рассаживаемся, и Сашка шепчет:

- Я никогда не плачу. Даже, даже... Что б ни случилось. Мама говорит, что я, наверно, каменная. Мама говорит, у меня нет сердца.

- Да замолчи ты, наконец! Тише, достает билеты...

- Все равно не примут!

Я пишу сочинение "Мы славим Родину трудом!" Пишу первую фразу: "Человек красив трудом!" Зачеркиваю. Трудно начать...

Люди уйдут, останутся дома и шахты. Вещи прочнее,вещи главнее людей. Мы изрыли всю землю,мы продырявили ее штреками и шахтами. Мы выстроили главную улицу. Ее фотографируют корреспонденты центральных газет: она сбегает вниз через шуструю речку Каменушку и уходит вдаль на тысячу километров - до Неры, до Якутии. В ту сторону уводят людей, оттуда везут металл. Мы строили эту школу, и парашютную вышку в парке, с которой моряки прошлым летом сбросили молодую девчонку.

Сашка закрыла уши, сидит красная, кусает ручку. Кладу перед ней стопку цитат: "Я знаю, город будет..." и "Гвозди бы делать из этих людей..." Прочла, подмигивает - все в порядке. Штатские смотрят под стол, смотрят в бумажки, просятся курить,военные не могут, в тоске оглядываются, у них не получается. Такими они мне больше нравятся. Подать им руку?

VIII

Однажды сказал ей:

- Хочешь, я покажу тебе город, каким ты его никогда не видела, дай руку.

Мы быстро проходим центр. Он весь толщиной в несколько улиц. Проходим окраиной, немощеными улицами, мимо самодельных изб. Они косятся, они кривятся, ползут, карабкаются на сопку. Все временные, из горбыля, из ящиков, огороженные колючей проволокой, они "на пока", до лучших времен. В окнах ларьков на пыльном сатине недорогие разноцветности: мыло, расчески, пояса.

- Ты куда меня повел?

Навстречу парни, бросают папиросы, в глазах угрюмое, то,что нравится поэтам - разинское. Провожают взглядом, не так посмотришь - дадут в морду.

Сюда не заходит милиция, здесь не разгуливают габардиновые макинтоши, здесь кончается город и всякая власть.

Выше, выше, из-под ног осыпаются камни.

- У меня сердце выскочит. Смотри, куда мы забрались...

Мы поднялись до половины и дальше пошли по серпантину, вокруг, на ту сторону, где не было домов, где у подножия между обломками скал вертелась Каменушка. Сашка разулась и, осторожно ступая по колкой траве, пошла вперед, размахивая туфлями.

- Какая красотища! Ты что делаешь, убери руку!

Мы присели на огромный плоский валун, он в трещинах, зеленый от времени и теплый от солнца. Далеко, на вспаханном клочке перед лесом медленно передвигались две одиноких фигуры.

Я смотрю на ее выгнутую дугой спину. Она легко хохочет, она чистоплотна, мне хорошо с ней.

- Ну скажи что-нибудь, не молчи! Что ты будешь со мной делать?

Сашка смеется, запрокидывает голову, и тогда блестящие желтые нити, все как одна, повторяют ее движения. Ниже солнце,гуще тени. Возьму за плечи, поверну к себе.

- Обожди немного, помолчи!

За спиной со стороны моря небо быстро голубеет, краски его становятся жестче, холоднее. Где-то вдали бьют в рельс.

Мимо солнца пролетела черная птица, лес за рекой краснеет, от земли повеяло холодом. Протяну руку, возьму ее себе.

- Я думала... а ты как все...

Ниже солнце, ниже, краснее.

- Не надо...

Какое "не надо"! Сколько мы ждали...

Настанет ночь, исчезнут деревья, сопки, а небо останется,на нем появятся звезды, и люди, которые поклоняются лишь огромному, зарифмуют свое удивление. Мы как неандертальцы. На губах соль, на губах волосы, под нами камни, они на темнозеленом брусничном ковре, внизу река, она урчит и бьется о валуны.

IX

Расскажи мне о Москве, все расскажи,Саша. Про соседей, про листья на скамейках Тверского, про пасхальные молебны, про молодых, которые совсем взбесились. О чем болтают? Пусть сплетни, это самое интересное, чего нет в журналах.

- Уже рассказывала, тыщу раз рассказывала.

- Рассказывай еще.

- Да не о чем.

- Все равно рассказывай.

Говори, говори, Саша. А Образцов, а художники? Не смотрела? В повторном ухохатывалась? Демонстрация мод? Давай,черт с ним, пусть про моды! На ВДНХ фонтан? Золотой, неописуемый, невиданный? А выставки, а новые книги? Для чего же ты жила в Москве! Сама не знаешь? Не нужна тебе Москва?

- И не нужна! Не нужна! Трясись над каждой копейкой! Платье несчастное сто раз перемеряешь. Продавцов стыдишься,подруг стыдишься. Не хочу! Экономь, экономь... тянись из последних сил.

- Что с тобой, успокойся... перестань.

Сую ей в руки конфеты, она машинально глотает, и лицо ее вымазано шоколадом.

На теплом небе еще мерцают звезды,и за Гаражами, на женской зоне, не гасят сторожевых огней.

В насыпных стенах бараков ведут свою партию сверчки. Барак французское слово, а как хорошо прижилось... Мы крадемся,мы прячемся и быстро перебегаем открытые места. Общественные слои не должны смешиваться.

Начался наш месяц. Мы болтаем, мы горюем, и я стыжусь себя, когда взгляд останавливается на ее растоптанных туфлях. Внезапно заскрипела дощатая дверь. Мы замираем,прижавшись к стене. Из слесарки выходит кто-то, на голых плечах бушлат, глаза закрыты, делает свое дело и, спотыкаясь, скрывается обратно. А мы бежим дальше.

- Увидят, пойдем!

- Постоим еще...

Провожу рукой по ее щеке, обвожу пальцами линию бровей, носа, губ, подбородка. Она удерживает руку, прижимает плечом. И тогда я притягиваю ее за ухо и говорю шепотом:

- Может остановимся... Пока не поздно.

- Тебе надоело?

- Нет, нет никогда не надоест!

- Тогда трусишь?

Она тянется ко мне. Улыбкой, глазами, в которых зеленые пятнышки, телом... Запрокинула голову, оплела худыми мальчишечьими руками.

- Ни-чего ты не понимаешь... Губы распухли? Ненормальный...

Я прижал ее крепко, изо всех сил, а она только жмурилась. И мы опять идем и опять болтаем, как болтают миллионы других,возвращающихся ранним утром.

Бараки выстроились один за одним, один за одним, все с севера на юг, ветер в глухую стену. У всех по 12 окон,у всех крыльцо посредине. За входной дверью справа вешалка с пропахшими бензином ватными брюками, слева тоже вешалка, тоже с брюками, тоже с телогрейками. Прямо - кухня, налево - зал, направо - зал. В правой стороне 28 человек, в левой стороне - 28 человек. Так в первом бараке, так в десятом. В обуви на койки не ложиться,распивать спиртные напитки запрещено. В каждом зале радио, у дневального можно взять шахматы.

Как двадцатые годы стали тридцатыми? Как 45-й год стал 48-м? Чем станет 53-й?

Пошла рыба, кету носят прямо в бараки, розовую икру едим столовыми ложками. Король говорит:

- Икру едят только образованные люди.

Коля говорит:

- Пусть едут за ней сюда, пусть подавятся! Я наелся, больше не хочу!

Коля потерял голову, он ждет Августу - будет создавать семью. Написал в Ленинград: "Мама, у меня есть девушка. Мы любим друг друга. Я женюсь, мама". Из Ленинграда ответили: "Коленька, сыночек, не торопись, прошу тебя. Ты вернешься,в Ленинграде столько прекрасных девушек". Коля опять написал: "Мама,не могу больше ждать..."

Я стал как дурак - целый день пою, хохочу без всякой причины. С утра вошел в цех, под ноги попалась консервная банка. И как зафутболил - и конечно, разбил окно. И конечно, лишат премии. Черт с ней! Все завертелось, закружилось, отъехало на задний план. Почти не сплю, не замечаю, ем ли - не ем. Толя, Коля и другие - растворились, поблекли. Что-то отвечаю, мычу, мотаю головой - все как во сне. Сашка глуповата, Сашка не люкс,но когда она кладет мне голову на плечо, я боюсь. Боюсь подойдут, затормошат и скажут:

- Проснись! Хорошего понемножку!

X

На Ангаре строят электростанцию, на Волге строят электростанцию, где-то в Казахстане нашли какого-то агронома - он посрамил академиков, и теперь наконец должны решиться проблемы с зерном. Небо покоряется скоростным самолетам, скоростные резцы гонят невиданное количество стружки. Человек становится хозяином природы, стирается грань между умственным и физическим трудом. Кокнули нашего общего друга, нашего маршала Лаврентия Павловича. Никто не знает, куда теперь повернут руль. Уезжают старые дальстроевцы. Они говорят:

- Скоро здесь делать будет нечего!

Время становится тревожным, время становится смутным. Лейтенанты из комендатуры заметно растеряны, некоторые из них здороваются.

Мы ждем, мы не теряем надежды. Сие буди, буди, хотя бы и в конце века... В конце века никому не нужно.

Прошел месяц. Каждое утро я довожу ее до общежития, там всю ночь раскрыты двери. Над ними кто-то прибил армейскую фуражку и погоны со звездочками.

Необычайное постепенно становится привычным, я перестаю волноваться, когда подхожу к заветному месту. Я знаю уже о черном коте Ваське, который воровал мясо и рвал новые чулки, знаю, что однажды стояла в очереди с Жаровым, знаю все о папе:

- Он такой смешной! У него пижама, тут все порвалось...

Я знал все о маме.

На прощанье она говорит:

- Поцелуй в щечку... Теперь в другую.

Когда мы идем, она виснет на руке и заглядывает в лицо. Меня тяготят воспоминания, они рвутся наружу и не могу сдержаться. Это мое право, я должен иногда выговориться, тогда станет легче.

- На Тарном каждую ночь дохло по три человека.Всегда ночью. Их не закапывали...

- А у нас соседка... Ты не представляешь, мы с мамой зашли, там та-акой запах...

- В пересылке распилили живого человека... Как дрова... Один сидел на ногах, другой на голове, двое пилили...

- И у нас, и у нас... Подруга рассказывала, в Измайловском парке...

- Мы ели траву, мы жрали собак и сусликов, мы готовы были есть любую падаль, так мы были голодны. В пургу мы уходили под вышкой, мы крались в порт к штабелям с мукой. Их сторожили якуты, они стреляли без промаха... Ни одного дня не наедался досыта, ни разу... Замолчи! Дура, ты ничего не понимаешь! Дура!

- Что ты ругаешься!

- Дура, убирайся! Уходи!

Через неделю получил письмо с грамматическими ошибками. Оно начиналось как в детстве: "Ты сам дурак и псих ненормальный. Давай помиримся!"

Блестят крыши, блестит асфальт. По тротуару спешат люди. Не видно лиц, не видно одежд, ничего индивидуального - только чер-

ный силуэт. Силуэты курят, силуэты торопятся - за их спиной солнце, оно угадывается за тучами. Сейчас все пропадет... Сейчас. Вот солнце выше, выше, выглянет, и заметны станут промасленные комбинезоны, недовольные лица. Через минуту пропадет.

Мы много видим и ничего толком не умеем. Где-то листают страницы, ходят на этюды, копают курганы, кончают университеты. Когда-нибудь мы вернемся, нас спросят: "Что вы успели, чего вы достигли?"

- Я знаю, почему ты мрачный: мы все время прячемся. Давай всюду ходить, давай везде бывать? Нашли кого пугать! Я не боюсь! А ты?

Что ей скажешь!

Наша братия знает, наши предупреждают:

- Осторожней, не зарывайтесь!

Коля стал философом:

- Счастье возможно, оно в малом. Счастье лишь эмоция, и на ней нет знака! Неважно, чем радость вызвана, было бы тебе хорошо. Улыбнулось - радуйся, держи, не мудрствуй! Помни, не забывайся!

У него драма: Августу отправили за 300 км. Каждую субботу набивает он сумку консервами и с попутной машиной мчится к ней. Ей остается ерунда - два каких-то месяца, и тогда он вкусит семейных радостей.

С Толиком перестали здороваться наши интеллигенты. А меня его стихи не отталкивают. Я знаю, тут ничего не поделаешь, на 50 процентов он искренен. Меня вообще никак не трогает современная наша изящная словесность. По-моему, там дырка.

Были католики, были гугеноты, была Варфоломеевская ночь. Потом вдруг французы стали атеистами. Был 34-й, 37-й, 40-й, 41-й, 48-й год. Как поступят с нами?

Я думаю: будет иначе или будет то же? Просыпаюсь, лежу, не могу уснуть. Тогда подымаюсь и выхожу на улицу. Сижу на завалинке, встречаю солнце.

XI

Сегодня вызвали к начальнику автобазы. Его у нас называют Пахан. Он богаче Шолохова и хозяйственнее самого Орджоникидзе. Пока ждал, он разносил завгара, потом тот убежал чего-то уточнять, и он не глядя бросил мне:

- Ничего умнее придумать не мог? Баб тебе мало!

- А что случилось? В чем, собственно, дело?

- Ничего не случилось! Смотри, какой святой... Я б тебе советовал подумать хорошенько.

Он может советовать: он из тех, с кого начался Дальстрой.

Когда-то давным-давно, уже не помню когда, я был студентом, я был задиристым петухом и мечтал переделать мир. С тех пор ушла уйма времени, я не думаю больше о человечестве, не порываюсь его спасать, я никого не задеваю и ничего не хочу. Пусть меня оставят в покое! Всех волнует моя судьба, все дают советы, кучу полезных советов.

Даже Коля, даже Толик:

- Я раньше говорил и теперь повторяю: вся эта история по меньшей мере неумна. Они никогда тебе не простят, никогда не допустят...

- Вы-то, вы что лезете? "Неумно!" "Неразумно!" У кого разум?

- У них разум, балда, у них правое и левое!

- Я не хочу слушать! Не слышу! Мне неинтересно!

- То есть как это неинтересно?

- А вот так! Скучно!

Мы молча доедаем наш суп, и тут замечаю, что Коля ест торопливо и перемешивает гуляш с кашей, чтобы не пропадал подлив, а Толик, когда расплачивается, денег не достает из кармана, а выдергивает по одной бумажке на ощупь.

Я буду ходить на четвереньках, я буду есть кал, не советуйте! Не советуйте вы мне, ради Бога!

К черту второе, к черту обед, жрите, лопайте - я не могу. Ожесточенно стучу соском умывальника и, отплевываясь, убегаю.

Я сошью себе клетчатый пиджак, он будет ниже задницы. Я сошью себе вызывающие брюки, они будут меньше 17-ти. Я отращу волосы до плеч. Пусть смотрят! Пусть сплевывают, пусть шепчутся. Какое мне дело! Какое им дело!

Я забираю Сашку, она ничего не понимает. Мы идем по главной, по самой центральной. Она смеется, она счастлива и поправляет на мне галстук. Прохожие оглядываются, провожают нас взглядом.

- Кто это?

У нее бронзовые ноги, немного одежды и небрежные пряди. Ветер рвет с деревьев листву, вздувает ей платье, открывает колени. Она не придерживает, пусть смотрят.

- Мы будем ходить так долго. Пока не стемнеет.

Навстречу связистки.

- Наши девочки...

В глазах лед, губы поджаты, шепчутся, усмехаются.

Думаю: "Бляди!"

Идут вохровцы. Думаю: "Бандиты!"

Идут футболисты из морпорта. Думаю: "Калеки!"

- Смотри, смотри, артисты.

- Серые лошади!

Местный поэт - клоун! Моряки - хамье! Инженеры - кретины!

- Ну что ты... Улыбнись! Пожалуйста...

Идут дальстроевцы. В кожаном, коверкотовом, в заработанном, в заслуженном. Каждые полгода надбавка, каждые три года отпуск, через пять лет два оклада. Купит еще шубу. Котиковую. Купит костюм, три костюма. Купит ружье двуствольное "Зауэр". Купят радиолу "Мир". Купят дачу под Москвой. Купят, положат, обзаведутся! Наешьтесь, запаситесь, подавитесь!

- Не хмурься... Ладно? Пожалей меня, не будь таким серьезным!

Город строили троцкисты, город строили урки и фраера, латыши и бендеровцы,имми- и эмигранты.Город строили преступники, их били палками. Всякое преступление должно быть наказано, иначе общество перестанет существовать и наступит хаос. Никто им не виноват! Пусть не зарабатывают, пусть не болтают, пусть не воруют!

- Давай, давай Саша! Я буду веселым. Говори громче,не стесняйся!

Солнце встает из моря, солнце восходит у нас. Мы тоже из страны восходящего солнца, из страны утренней свежести. Мы ходим свободно, можем уплатить за подписное издание, можем купить пианино и есть экспортных крабов. Мы встали в очередь за ассорти. Какой-то капитан пытался взять без очереди. Я сказал:

- Будьте добры, товарищ! В очередь, в очередь!

Можем!

Он обернулся, давил взглядом. Смог бы - сожрал! Разодрал бы, превратил в пыль...

Нна! На лбу не написано!

Болит голова. Разламывается, теперь почти каждый день.

Я - Хам торжествующий, веду их девушку по главной улице. Мы ходим не останавливаясь. Вверх, вниз... Она растерла ноги,ей не хочется смеяться, ей больно, она просит:

- Прошу тебя, только до дома... В последний раз. Ладно? Не будешь сердиться?

- Нет! Мы будем ходить еще долго! Мы будем ходить,пока они смогут различать наши лица.

Главная сбегает вниз, перебирается через Каменушку и опять уходит вверх, в самое небо. Вдоль дороги, по обеим сторонам торчат высохшие стволы тополей. Они сохнут, замерзают, их ломают мальчишки и сбивают машины, но всякий раз наступает осень, их заменяют новыми.

Сашка прижимается и шепчет:

- Если я тебя потеряю, я повешусь...

XII

Проходят дни, еще один месяц на исходе, мотается катушка. Сообщили матери, она написала: "Александра, я говорила, я знала, что так получится. Ты никогда не слушала, пеняй на себя!"

Вступилась общественность, собрали комсомольское собрание. К столу вышла лучшая подруга:

- Я знаю Сашу по Московской телефонке, она всегда была передовой связисткой и неплохо справлялась с порученными ей нагрузками. Не понимаю, как она могла так опуститься. Сашу нужно спасти, ее нужно вырвать из-под влияния этого человека!

Выступила начальница смены:

- Когда я была девушкой и соприкасалась с молодыми людьми, я была осмотрительней.

- Рядом с товарищем беда, и никто не забил тревогу.

- Он погубит ее! Дать ему по рукам!

Крутятся колеса - дают план, бродят по тайге геологи, копают, пробуют, кормят вшей, глотают дым - ищут жилы, ищут россыпи, работают на перспективу. Поднимаются новые дома, красят заборы, красят столбы, готовы красить деревья с листьями. Город мал, в городе все знают друг друга, и он против нас. Весь город,все порядочные люди.

Сашу легко обидеть, она уткнулась носом в мое плечо и долго вздрагивает:

- Какой стыд! Все смотря-ят... За что? Что я такого сделала!

- Успокойся. Ну довольно, перестань... Хочешь, я набью им морду?

Я глажу ее по голове и вытираю рукавом глаза.

- Ну перестань, перестань... Разве так можно?

- А ты? Ты ничего не знаешь. Тебе кажется, будешь учиться, все наладится... Читаешь книги, думаешь, они пригодятся? Я знала таких людей... Они вернулись, но они уже не лю-ю-у-ди...

И опять принялась плакать, все всхлипывала и кусала губы. Ее нельзя было отпускать такой, я укрыл ее пиджаком,все гладил, все вытирал глаза.

- Нос красный? Да? Боже, на кого я стала похожа!

Чего тебе нужно? Куда идешь! Вспомни! Забыл? Отчего так болит голова?

Кровать лепится к кровати, голова к стене, ноги в проход. В печке греется кот, на столе резаная клеенка. Кому бы дать в морду!

- Зачем драмы! Такой мужчина! Найдешь другую. В нашем обществе не должно быть драм!

Коля щелкает перед носом портсигаром.

- На, перекури это дело! Все пройдет, все перемелется. Вымерло поколение идеалистов, подохнут когда-нибудь и эти. Закуривай!

XIII

Семнадцать лет Старик не видел своих детей. Сегодня пришли за его вещами. Там, у макаронной фабрики, где машины взбираются на подъем, он лег под колеса 40-тонного Даймонда. Голову раздавило, как помидор, Старик стал мягким и плоским. Вот все и закончилось. Вечером мы пошли в театр. Когда поднимаешься по белой лестнице, тебя встречает молодой Горький. Он уходит куда-то в зеленые поля, и обязательный ветер развевает крылатку. Мы ходим по фойе, рассматриваем макеты декораций и пьем брусничный напиток. А публика, она сегодня самая премьерная, тоже рассматривает фотографии актеров и пьет напиток.

Болит голова, противно во рту от сладкой воды. Кружат по паркету пары, одна за другой. Полувоенные, полуштатские,превосходно одетые, уверенные, интеллигентные. Начальники,главные,замы, герои, орденоносцы - капитаны горной промышленности - мозг и воля Дальстроя. Пара за парой, обмениваясь поклонами и улыбками, все крупные, заметные, все из породы победителей.

Они лишили себя солнца, не спят ночами, уходят на пенсию с разрушенным сердцем. Охотское море самое коварное, самолеты бьются в тумане о сопки,тайга полна беглыми - здесь трудно. Они во многом отказывают себе, они много отдают - им положено. А нам?

Сашка трещит, как сорока, ей нравятся платья, ей хочется пройти в тот конец фойе, ей хочется пойти обратно, потому что она моложе всех и эти волки дарят ей нежные взгляды.

А мне не хочется, мне бы плюнуть на все и уйти куда-нибудь на воздух.

Кто-то стучит в виски. Кто там, что там копошится?

Пьеса старая, наивная, а актеры серые, скушные... И режиссер знает это и спасает, клеит холодные куски грустными дореволюционными вальсами. И я был благодарен ему хоть за это. Вступал оркестр, я видел папу: он подгибал одеяло и садился ко мне на край постели. Потом те опять что-то говорили, и все пропадало. Становилось жаль себя, я нагибался и смотрел в пол. А Сашка барабанила по руке и шептала:

- Сядь как следует! Неудобно, на нас смотрят.

- Уйдем!

Опять играли щемящие вальсы, я закрывал глаза, и тогда мы делили поселок Певек на части - Толик, Коля и я. Мы брали себе по ряду домов и шли насквозь до самого берега бухты, собирая окурки. Ночное чукотское солнце светило в глаза. Мы садились на бревна и сортировали табак: "Норд" к "Норду", "Пальмиру" к "Пальмире". Никто не кричал, никто не стоял над спиной, перед глазами искрилось шуршащее поле битого льда.

На сцене белые офицеры, покручивая усы, несли сквозное действие. Кончился первый акт и начался второй. И все было так же по системе и так же убого. А Сашка во все верит, вытянулась,все забыла, когда стреляют, вздрагивает.

- Скажи, их поймают? Он останется с ней? Ну, что тебе, жалко?

Скучно, тепло... Вдруг сверху откуда-то, громко, забивая актеров раздалось:

- Товарищи!

И я поднял голову, оживился, мне показалось, будто протолкнули какую-то Мейерхольдовскую штучку.

- Внимание, товарищи! Только что получено сообщение: у Иван Ивановича родился сын! Мы все члены одной большой семьи, имя ей Дальстрой. Поздравим, товарищи! Ура!

И тот, что говорил, захлопал и повернулся к другому, огромному, которого называли Иваном Грозным и который усаживался, оправляя мундир со многими слоями колодок. Тогда загремел и поднялся партер, и актеры вышли из образа и собрались у края сцены. К ним спешили директор и худрук, из-за кулис появились пожарные и костюмер. Только я остался сидеть. Один на весь партер. И не дал подняться Сашке.

Шевелится на сцене кустарник, качаются колонны из папье-маше, аплодирует зал. Долго, жарко. Али-луйя! Тот, в ложе, на минуту привстал, успокоил рукой, тогда застыли, ждали с разведенными руками, с искаженно радостными лицами. Но сюзерен так ничего и не сказал, тогда опять понеслось, разломилось. Дамы обмахивались платками, мужчины расстегнули пиджаки и били в ладони, подняв вверх потные, возбужденные лица.

И когда все уселись и кто-то из актеров уже простер руки, чтобы договорить прерванные слова... Я не понял как, я не понял зачем, я ничего не понял, меня понесло, потащило, и я завыл... Я выл, как бездомная собака, как голодный шакал,как стая отчаявшихся волков. И тоже поднял лицо вверх и тоже встал. И пока не кончил, пока мне не стало легче, они сидели неподвижно.

Сразу поднялся невообразимый шум, они кричали, хлопали сиденьями, тянулись с кулаками. А я отбивался, схватил зубами чью·

то руку и грыз. И тут замелькало,засверкало,вытаскивали из ряда... Все неслось,крутилось,люстра,белые офицеры,чьи-то испуганные глаза. Я матерился и бил во все стороны. Что-то откуда-то летело, лопалось о голову, расплескивалось в глазах,рвалось в ушах.

- В живот бей! В живот! Ниже!

- Он ничего не сделал. Не имеете права!

- Уберите проститутку!

Они свалили меня и тащили за ноги по проходу, по мраморной лестнице, мимо молодого Горького.

- Будешь шелковым...

И все куда-то провалилось.

XIV

Месяц продержали в больничном халате, на 15-м километре. Там было бы сносно, если бы не грязное белье и не санитары, которые били за что попало. Каждый день приезжала Саша. Она похудела, стала страшной плаксой. Ей кто-то наговорил, что меня нужно развлекать, и она возила свежих "Крокодилов", а сама плакала и лезла целоваться. Перед людьми неудобно было... Читать мне не хотелось, я много спал, стал гладким, белым и... послушным.

И в сером доме меня не забывали, не прошло недели, как вызвали. А туда,если вызывают, надо идти.

Глохнут на дорожках шаги, двери скрывают голоса, тяжелые портьеры загораживают свет. Кому-то пронесли завтрак, прикрытый салфеткой,кто-то стоял лицом к стене. Человек в штатском спросил:

- Что же вы так?

И другой участливо сказал:

- Нехорошо.

И третий, седой, в золотых очках, с дивана пожурил:

- Мы от вас не ожидали.

Изредка роняют негромкие слова. Справа, слева, сзади. У них опухшие веки, они не спят по ночам. Усталые доброжелательные люди, их работа незаметна, они охраняют наш труд. Им трудно, просят:

- Не сможете ли помочь. Трудно, очень трудно все знать.

Не понимаю, не смогу, не гожусь, не был, не слыхал... Слово уронишь - не поднимешь! Нет!

- Интеллигентный человек, должны понять правильно.

- У вас девушка...

Нет! Нет! Валите, катите, ищите другого. Я болен.

Теперь не бьют, теперь другие методы. Вылетаю на улицу, заворачиваю за угол, бегом, прочь!

Что сказали про "девушку?"

Из пароходов высаживаются молоденькие ребята. Их называют романтиками. По городу их провозят в убранных бумажными цветами автобусах. Они выглядывают в окна, они поют и рассматривают нас. Мы глазеем на них, мы их не понимаем...

Миром правит вера, чудо и авторитет. Чуда они не умеют, веры не стало, а авторитета тоже нет - он загнулся год назад.

В воскресенье? Ну да! В воскресенье перед утром мы прощались, как в старые добрые времена, и она сказала:

- Не сердись, у нас много работы, побудь без меня.

Я вернулся к себе, почитал "Карамазовых" и незаметно уснул, прямо за столом. Когда очнулся и поднял голову, увидел за оконным переплетом, на ветке ослепительно желтый мазок. И долго всматривался, не в силах сообразить, откуда такая яркость. Только когда ветер качнул ветку, а раскаленное пятно осталось на месте, пришел в себя окончательно. Утро, до неправдоподобия синее, на глазах блекло и становилось серым, обычным.

Больше Сашу не видел... Прошла неделя. На тумбочке лежало письмо.

"Встаю и ложусь с мыслью о тебе, говорю только о тебе, даже с посторонними..."

"Ты не знаешь,как они кричали. Ты не знаешь,какие у них были лица. Они хотели отправить тебя в какое-то ужасное место. Я не хочу, чтобы ты лишился города, я не хочу, чтобы ты опять мучился... Я сказала им, пусть отправят меня. Я недавно из Москвы, мне даже интересно повидать новые места... Я буду верна тебе! Слышишь, я буду верна тебе как собака! До сих пор кажется,будто что губы... Чувствую твои руки. Сегодня теплый день, а я все мерзну..."

По сторонам дороги деревья, они высохли, траву вытоптали люди. Слишком много людей, они утрамбовали землю и выстроили бараки. Кругом люди, им до всего дело.

Каждое утро из бухты подымается солнце, каждое утро параллелограммы его бликов ложатся в проходе, тогда мы влезаем в комбинезоны и идем на работу. Раз в месяц дают зарплату, два раза мы ходим к куму. Пыльная дорога, рассохшийся забор и розовые бараки. На каждом бараке скворечник, у каждого входа клумба. За окнами беспрерывно ревут машины. Одна,другая,третья. Весь день, весь вечер, всю ночь. Одна сменяет другую. Одни останавливаются, другие, взревев, трогаются и затихают вдали. Визжат тормоза,кричат внизу люди. И не разобрать, рыдают они или хохочут, кричат о помощи или играют.

XV

Ветер выдувает искры из папирос, красные шарики катятся в темноту и, рассыпаясь, гаснут.

Низко присели дома, над самой головой небо.

Меня приняли. В институт, первым из наших... А я не хожу. И не пойду! Не хочу быть инженером.

- Дурак! Ведь столько добивался!

- Теперь не хочу!

Зима-весна-лето - теперь осень. Днями солнце ласкает,но воздух свеж и чувствуется по всему, скоро заноябрит, завьюжит и опять придется влезать в валенки.

Наши кричат: "Положил я на этих начальников!" А встают к восьми и никогда не опаздывают. Завидев любого начальника, здороваются первыми, и чем крупнее начальник, тем шире улыбаются. И на постель в сапогах не ложатся, и читают газеты. Толика печатают, Толика хвалят, и он все дальше отходит от нас. Приезжал столичный журналист, слушал его, сказал:

- Стоит продолжать, нужно учиться.

Одна молодая актриса сказала:

- Его нужно взять в театр, иначе он сопьется - там такая среда.

Может, прошел пароход, и мы не расслышали гудков... Может быть. Во всяком случае, я искренне рад. Впрочем, и за всякого из наших, кому повезет. Тайком надеешься, когда-нибудь и тебе улыбнется.

Каждые два-три дня приходит письмо от Саши.

"Я ни на что не надеюсь... Даже на когда-нибудь... Ничего не прошу... Думаю о тебе каждый час, каждую минуту... Не могу иначе. Тут так страшно... Есть клуб, но выходить одной опасно. Все противно, потому что нет тебя. Все время плачу... Пиши! Пиши!"

Как все недавно было, будто вчера.

Я не отвечаю. Так быстрее...

Часто и много гуляю, шатаюсь по парку, там мокрые скамейки, голые деревья и грязь на аллеях. Тревожно гудят пароходы, с деревьев каплет туман, и нет людей.

Я напишу "Историю государства голубых фуражек". Я стану Фукидидом, стану Нестором, напишу эту штуку! А там пусть делают со мною, что хотят! Будет летопись ДС: Правление Берзиня,Павлова, Правление Никишова.

Нера, Яна, Индигирка. Легенды, сказки, факты, сплетни, цифры - "Повесть временных лет".

Буду расспрашивать, будут записывать, буду подслушивать и буду прятать и дрожать. Тут все переплелось, наслоилось, срослось: и первобытная община, и феодализм, и рабский труд, и всеобщая грамотность, и смешение языков. Поинтересней Господина Великого Новгорода!

Зачем принудительный труд? Он выгоднее? Возможно. Если нужно "кидать", если нужно больше и дальше...

Почему удается физикам, почему не удаются социальные конструкции? Может, потому что они конструкции, может потому, что они не организмы? Кто в этом разберется! Коля говорит,что я достукаюсь, что мне отрежут язык и уши... Теперь не выйдет: я болен, у меня справка.

Я часто у него бываю. Они с Августой получили крошечную комнату и строят семейное счастье. Она украсила ее вырезками из "Огонька" и занавесками, бросила курить и все время улыбается, чуть что - смеется; никак не придет в себя. Иногда он говорит:

- Пиши! Со временем пройдет - здоровое чувство самосохранения победит!

Часто мне слышатся голоса цыганок. Они окружают, хватают за полы:

- Абажди, симпатичный, судьбу нагадаю! Слушай внимательно: вырви волос,заверни в червонец! Слушай,не смейся! Будешь смеяться, ничего не сбудется. Слушай внимательно: ждет тебя дальняя дорога... Когда? Дай деньги, дай, красавец, еще!

И чувствую, знаю, больше дам - лучше судьба. Роюсь, выворачиваю карманы, а денег нет, как всегда, нет.

XVI

Снова Новый год, еще один Новый год.

Встречные торопятся, они ведут своих женщин. В руках свертки, в свертках туфли, в свертках вино. Прошел патруль, прошел почтальон с телеграммами, промчалась "скорая" куда-то на окраину... Болит голова.

Иду быстро, прохожу главную, дальше, ниже. Быстрей,быстрей, падает снег, ложится на плечи... Удары, удары... 12! Ура! Каждый задумал? Пусть сбудется!

Мы суетимся, мы кипятимся и мечтаем, а жизнь идет. Где-то умнеют ребята, где-то спорят, ищут истину. Мы кое-что знаем, но нас никто не спрашивает. По кругу, по кругу, будто опоздал,будто задержался, будто тебя ждут. Шагай дальше, еще долго, еще только час...

Рукопись пришла из самиздата. Об авторе ничего не известно.

ПАМЯТИ ВЕЛИКОЙ ПОДВИЖНИЦЫ

На девяносто шестом году жизни скончалась Александра Толстая. Нам нет нужды приводить здесь биографию этой замечательной женщины: ее имя говорит само за себя. Толстой, Толстовская ферма, Толстовский фонд - все эти дорогие нашему сердцу понятия неразрывно связаны с именем незабвенной Александры Львовны. Нет, пожалуй, в Русском Зарубежьи человека, судьба которого так или иначе не соприкасалась бы с ее жизнью и деятельностью, а об ее известности внутри страны позаботилась советская пропаганда, поносившая выдаюшуюся женщину на все лады.

На своем долгом и трудном веку она объездила много стран и повстречалась с множеством самых разных - больших и маленьких - людей, среди которых были члены царствующего Дома Романовых и вожди русской революции, большие политики двадцатого века и рядовые солдаты Первой Мировой войны, видные ученые, артисты, общественные деятели современности и безымянные беженцы всех рас и цветов кожи, и для каждого из них у нее находилось достаточно тепла и понимания, вне зависимости от того, кем - врагом или другом - был встреченный ею человек.

Ее пытались купить, предлагая роль послушного советским властям интерпретатора воли и мировоззрения своего отца, отчего она наотрез отказалась и при первой же возможности покинула оскверненное идеологическими насильниками отечество. Ее пытались запугать, много лет выслеживая по всем дорогам Русского Исхода, но она не испугалась, на голом месте создав и до последнего вздоха продолжив благородное дело Толстовского фонда.

Весть о кончине Александры Львовны Толстой разнеслась в дни, когда в Вашингтоне происходили Сахаровские Слушания. И в этом, на наш взгляд, кроется поистине символический смысл: новое поколение русских людей, а также представителей других национальностей, населяющих сегодня нашу страну, свидетельствовали перед всем миром свое противостояние той лживой и бесчеловечной диктатуре, борьбе с которой посвятила жизнь великая подвижница России - Александра Толстая.

Мир праху ее!

"КОНТИНЕНТ"

Память о ней будет с нами всегда.

"ЭХО"

АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ (1929 - 1979)

Этим летом в Лондоне умер писатель Анатолий Кузнецов. Болел сердцем, уже поправлялся, даже вышел из больницы...

Его главная книга - "Бабий Яр", напечатанная двухмиллионным тиражом в "Юности", потом книгой, изъятая из всех библиотек и лишь в "Посеве" выпущенная наконец полным текстом, останется в числе лучших русских книг наших дней. Судьба Анатолия Кузнецова удивительна. В конце 50-х годов он был знаменитым, обласканным молодым комсомольским писателем. Его "Продолжение легенды" переиздавалось и экранизировалось. И успех был не только в инстанциях, даже и публика принимала - после сталинской зимы это было все-таки чем-то живым. Кое-кто из писателей так и остался на этом уровне и с удовлетворением заматерел. Кузнецову, одному из немногих, стало тесно в коротких комсомольских штанах, и даже читатель это вскоре смог заметить по трудным, урезаемым советским публикациям (рассказ "Артист миманса", тот же "Бабий Яр"). Все это не могло ему сойти, и вскоре Кузнецову стало невыносимо жить в Советском Союзе. Он, как умел, постарался вырваться (кое-кому не понравился способ, им выбранный - но другого у него, видимо, просто не было), и в 1969 году в Лондоне сбежал от сторожившего его гебиста.

Нас, в Ленинграде, это не удивило. Мы помнили, как еще за два года до того приезжал он в Питер, жадно разыскивал все неофициальное, свободное, что писалось тогда, и сутками читал, радуясь, что существует еще русская литература. Для официального писателя даже сам такой интерес был невозможен: они привыкают, оглядываясь на себя, с брезгливостью смотреть на всех пишущих. И мы тогда поняли: с Кузнецовым что-то происходит.

Последние годы он стал заядлым лондонцем, любил этот город, носился по нему в автомобиле, в его обратных потоках. Работал на радиостанции "Свобода" и каждую неделю, годами, делал очень хорошую передачу для тех, кто живет в стране, из которой ему пришлось уехать.

Умер наш товарищ. Еще один. Умер русский писатель.

Грустно.

Руфь ЗЕРНОВА

ПОПУТЧИКИ

Феликсу Ингольду

В один прекрасный день - собственно говоря, день был холодный и серый, - мы сели в поезд Париж-Бордо и поехали в Пуатье. В купе был всего один пассажир. Пассажир был средних лет и одет по возрасту. Никаких джинсов: модная тройка, белоснежная рубашка, галстук. Бордо, страна Мориака, крупная буржуазия, крупные деньги, крупные дела. Все было похоже.

Поезд тронулся, вошел еще один пассажир, тоже средних лет, тоже в тройке и при галстуке. Только первый был блондин, а второй - яркий брюнет испано-грузинского вида. Они заговорили.

У них нашлось много общего: блондин был коммерческим директором фирмы, которую брюнет хорошо знал. Мориак продолжался. Говорили о положении в металлургической промышленности, о забастовках, о патернализме: какой-то им обоим известный Дюпон слишком надеется на патернализм, а время сейчас не то. Блондин в разговоре вел: брюнет с жаром соглашался. Между ними протягивались теплые нити взаимопонимания. Брюнет сказал, что он тоже представляет фирму и что его фирма будет сливаться с фирмой Леблана - знаете?

- Еще бы, - сказал блондин. - Кто же его не знает? Конечно, я его знаю. Он даже предлагал мне у него работать. Но я не согласился. Мне показалось,что в нем что-то есть антисемитское.

- О, мсье, что вы! Я его хорошо знаю. Нет, нет! Я женат на его сестре!

Мсье продолжал:

- Что-то антисемитское. Видите ли,я еврей, и...

- Я тоже! Но уверяю вас, что вы ошибаетесь! Я говорю вам: я женат на его сестре!

- ...и я очень к этому внимателен. Хорошо, конечно, если я ошибаюсь. Но, в общем, мне что-то показалось, и я не согласился.

- Конечно, вы сами понимаете, я бы не стал говорить,если бы не был уверен! Но тут я уверен, больше чем уверен!

- Может быть, вы и правы. Впечатление... Я привык присматриваться. У нашей фирмы много дел в Германии. Ну, а теперь еще китайский рынок открывается...

Опять пошел Мориак. Но нет.

- А вы родились во Франции, разрешите спросить?

- Нет, я родился в Голландии. И мои родители родились в Голландии. Но деды мои из Центральной Европы. Из Польши, вероятно, а может теперь это Россия. Вот эти господа говорят по-русски, и я кое-что понял.

- Мы из Иерусалима, - говорю я. - То есть мы русские, но из Иерусалима. То есть мы русские евреи...

- Про вашего мужа я сразу понял, что он еврей,- говорит голландец.

- Скажите, - с жадным интересом спрашивает брюнет, - ну как там, в Израиле? Вы в самом Иерусалиме живете? В самом Иерусалиме? Я так хотел туда поехать! Я непременно туда поеду! Вот моя мать - она туда ездит! Она уже два раза там была!

- А вас легко выпустили из России? - спрашивает голландец. - Об этом много пишут. Я читал книгу этого... Владимира Буковского. Что вы о нем думаете? По-моему - очень порядочный человек.

- Да-да, я тоже читал! Это ужасно - жить так! Какое мужество! Это настоящий мужчина, конечно! Я вас понимаю,что вы уехали! Ну, и как вы теперь устроились? Вы счастливы, что уехали? Для моей матери это вопрос! Конечно, мы все очень хорошо устроены во Франции, и я, и мои братья, но она хотела бы, чтобы мы жили там! У нас там есть родственники, она к ним ездит! Как вы думаете, договорятся Бегин с Садатом?

- Мы надеемся, что договорятся.

- Договорятся, - говорит голландец, - они в этом оба заинтересованы. В Европе этого не понимают, и в Америке тоже не понимают, но это просто ближневосточная манера вести дела.

- О да, о да! Моя мать говорит, что это обыкновенный восточный базар: нельзя купить сразу, надо торговаться,отходить, кричать, возвращаться, потом опять отходить... Вероятно, она права. Мы все так хотим, чтобы там у вас наступил мир! Но, конечно,палестинцы!

- Да, палестинцы, - говорит голландец.

- А скажите, - спрашиваю я, - ваши родители живы?

- Они погибли в Освенциме. А меня взяли иезуиты. Но в двадцать два года я опять вернулся, стал евреем. Впрочем, я не сионист. Я еврей, но не сионист.

- По-моему, государство Израиль необходимо! - говорит брюнет.

- Я не против государства Израиль, я просто не сионист, не думаю, что всем евреям надо жить в Израиле.

- Разумеется! Нужны и те и другие!

- А вы сефард, не так ли?

- Ну, конечно! Вы сразу увидели?

- Я всегда узнаю сразу.

- Скажите мне, ну как это можно? Вот, меня часто принимают за итальянца!..

- Я обычно сам говорю, что я еврей. Во избежание...

- А зачем? Я никогда не говорю! Если меня спрашивают - ну, тогда... А если меня спрашивают: какой вы религии? - я спрашиваю: а вы? Это я всегда делаю, я спрашиваю: а вы?

- Ммм...

- По-моему, это очень правильно, спрашивать: а вы? В конце концов,я так же мало обязан отвечать, как и он! Франция - свободная страна!

- Свободная-то она свободная. Знаете, какой антисемитизм сейчас в Америке? Профессора-евреи - там очень много профессоров-евреев - все время посылают запросы в Европу. Хотят переезжать, потому что там им трудно. Нет, конечно, там нет такого открытого антисемитизма, но тем не менее. Нет, я был в Америке,мне там не понравилось.

- Мне тоже не понравилось! Но американцы - деловые люди! Хотя, по-моему, лучше всего иметь дела с евреями. Вот в делах я сразу понимаю, что имею дело с евреем! Это как-то сразу ощущаешь...

- О да, конечно, в делах сразу ясно. Но я все равно евреев узнаю, не только в деловых отношениях.

- Но как? Как?

- Привычка, наметанный взгляд, называйте, как хотите. Вот видите, в вас сразу узнал сефарда. Марокко?

- Ну, что вы! Алжир! Алжирская община почти целиком во Франции.Это самая культурная община, самая европейская. Да, вот меня обычно принимают за итальянца, а вы сразу... Нет, я не скрываю, что еврей, зачем? Франция - свободная страна; здесь можно быть кем угодно! Хочешь - ходи в церковь, хочешь - в мечеть,хочешь - в синагогу! Я, например, хожу в синагогу! Мы,сефарды,вообще ведь очень привязаны к своей религии, больше, чем ашкеназийцы.

- А жена у вас католичка? - спрашиваю я.

- Католичка (вздох).

- У меня тоже жена католичка, - говорит голландец. - Надо сказать, это создает много проблем.

- Массу проблем! Конечно,для моей матери это трагедия! Ведь мы, сефарды, всегда очень привязаны к религии. А дети мои - у меня двое... И притом сыновья!

- У меня четверо. Две дочери, два сына.

- С дочерьми легче, не правда ли? Конечно, я мог бы сделать их евреями! Но ведь даже по закону они не евреи! По еврейскому закону, ведь правда? У вас в Израиле они ведь тоже не считались бы евреями?

- Все зависит от них самих, - говорит голландец. - От их сознания.

- Но сейчас ваши дети ходят в церковь или в синагогу?

- В церковь. Я тоже ходил в церковь, до двадцати двух лет. И как видите, остался евреем. Или, вернее, опять стал им. Никто

меня не заставлял, как вы понимаете, я был христианином, и имя, и фамилия...

Совсем недавно, в Медоне, молоденькая парикмахерша-блондинка, узнав, что я из Иерусалима, говорила, делая страшные глаза:

- Для меня это непонятно! Сколько люди делали евреям зла! И эти иезуиты особенно - вы знаете, что они творили?

То ли это смутные воспоминания об Эжене Сю, то ли народная память, загадочная штука, может быть та самая, которую позитивистская наука объявила "ложной памятью". Блондинка во Франции - не такая уже редкость, но она родом из Арля или из-под Арля, в общем, откуда-то с юга, где белокурые волосы в диковинку. "Все дело в том, что наш прапрадед был из Польши, он поселился в этой деревне в 1815 году. И с тех пор все женщины в семье блондинки, а все мужчины - брюнеты..."

Видно, воевал в Наполеоновской армии тот давний поляк, побоялся возвращаться, и южная земля Прованса его приняла. Зато и он отплатил: у парикмахерши не только светло-русые волосы, но и тонкий нос и уголки глаз приподняты с польской затейливостью...

У голландца тоже что-то польское осталось в лице от его лодзинских или вильнюсских предков. Какая-то тонкость. Была бы даже заостренность, если бы не десятилетия обеспеченной европейской жизни. В самом деле, как он может определять еврея? Разве он сам похож на моих родственников с Днестра - высокоскулых и темноглазых?

А они перебирают:

...Энрике Масиас тоже еврей,

...да неужели? Я не знал. Я знал, что Ги Беар...

...ну, этот - всем известно. Он ходит в синагогу.

Похоже на наши разговоры в России. На те разговоры, о которых вздыхает иерусалимский знакомый, москвич:

- Мы говорили совершенно свободно! На нашей кухне мы говорили совершенно свободно! Нет, конечно, не с кем угодно, но со своими. И может, в этом и было самое главное, самая прелесть этих разговоров.

В подразумевании, в тайной общности, в риске была маленькая привилегия, о которой сегодня тоскует наш знакомый.

У Окуджавы хорошо о привилегиях:

Здесь остановки нет, а мне - пожалуйста!
Шофер автобуса - мой лучший друг.

Ученый с мировым именем объяснял, почему его не любит директор института:

- Вот, например, идем мы с ним в пивную. Гармонист непременно ко мне подсядет и будет играть все, что я попрошу. А к нему - никогда. Ну, как ты думаешь, может он это простить? Да ни в жисть!

Тоже привилегия.

Есть в ностальгии тоска по привилегиям, есть! И в том числе по невозвратимой привилегии - молодости. Сколько бы ни было тебе лет там, ты был моложе. И по исключительности положения, потому что на какое-то время мы, каждый из нас, приобрели исключительность не только в собственных глазах.

В одном из немецких университетов мы встретили поволжского немца, бывшего спец-переселенца. Он был рослый, рыжевато-белокурый, с голубыми глазами.

- Похож на русского, правда? - спросил профессор Л.

- Он? Для нас он - типичный немец.

- Разве? А на наш взгляд, это русский.

Профессор задумался и прибавил:

- Глаза другие. Или, точнее, из глаз другое.

Переселенец тосковал. Все, все было ему тут чужое - и больше всего язык. Он не хотел учить немецкий - он никогда не сможет выразить на нем все то, что выражал на русском: свою тоску по Германии, по земле отцов, прадедов, когда-то легкомысленно покинувших ее по призыву матушки-Екатерины; свое понимание прав человека и немца; свое негодование, свое возмущение несправедливостью; все то, что много лет составляло содержание его жизни.

И вот, - кончилось это содержание, а другое не пришло. Все достигнуто - и наступила пустота.

- Мы здесь совершенно одиноки, - говорил он нам. - Не с кем слова сказать.

А о чем говорить? О том, как он боролся за свой отъезд?

- Как вас отпустили? - спрашивает сефард. - Это было очень трудно?

- Нет, у нас фактически никаких трудностей не было. В нашем возрасте...

- Ах, ну да, ну да!

Щекотливая тема - возраст.

- Вы довольны? - спрашивает голландец. - Я понимаю, что вы оставили там друзей, связи, но как вы считаете... То есть вам нравится в Израиле?

- О да!

Они смотрят пытливо, оба. Они хотят понять. Как им объяснить? Другим я рассказываю про холмы, про нестерпимый свет, про некий оптический феномен. Когда смотришь на эти холмы, то все приближается, - в пространстве, во времени, в реальности. Иисус Назорей и Те, Кого принимал у себя Авраам, здесь ничуть не менее реальны, чем, скажем, Ричард Львиное сердце. Каждый должен побывать здесь, хоть раз. Потому что здесь - Начало.

Но однажды мне возразили:

- Почему - здесь? А Индия? А Китай?

По этому поводу Гегель когда-то все объяснил - насчет мирового духа. Мы приняли его объяснение и с тех пор не проверяли. Может, пора уже проверить? Китайцы выдумали порох задолго до Бертольда Шварца, но употребляли его на пиротехнику. Они тогда не стремились еще к самоуничтожению - мировой гегелевский дух их не осенил. А индийский покой, нирвана, согласие с природой? Это тоже не бег к самоуничтожению. Дремлющий в покое дух.

Но только все это похоже на тургеневский сон: человек сел на землю, чтобы не попасть в яму, и тогда яма стала двигаться к нему. Не избежать, не уйти.

Жалко только деточек, мальчиков да девочек, солнышка на небе, да любови на земле.

Человек, который возразил мне про Индию - мусульманин. Мусульманин по выбору. По рождению он русский,сын эмигрантов второй волны; вырос в Америке. В юности, когда другие играют в регби, он искал Бога; попал в Марокко переводчиком, услышал призывы муэдзина и пошел в мечеть.

- Может быть, - говорил он - если бы меня позвали евреи...

Лицо у него русское, акцент польский, манеры американские, деньги швейцарские - он там работает.

- А вам нравится в Израиле? - спрашивал он.

- О да!

- Почему?

- Мы там дома.

И голландцу я отвечаю:

- Мы там дома.

- Я *там* был дома, - кричал наш иерусалимский знакомый. - *Там*, на Третьей Мещанской! Я рвался сюда, я был сионистом. А теперь понял - я русский.

- А в России вас считали русским?

x x x

А за окном хорошая погода. Солнце. Мы перегнали снег.Он отстал, он задержался в Париже - просто прилег отдохнуть в скверика, садиках, у подножий бесчисленных статуй. Набушевался в новогоднюю ночь, разыграл свой собственный бал,показал парижанам, кто хозяин, вывел из строя автомобили, заставил женщин подметать вечерними юбками эскалаторы метро. Сейчас он там лежит, смирный, и даже под ногами не похрустывает. Мы от него уехали. А в Иерусалиме бывшие ленинградцы будут жадно спрашивать: там снег? Снег?

Соль-до, ля-ре, ленинградская песня про снег...

- Мы там дома.

- Я это понимаю! - с жаром говорит сефард. - Моя мать тоже говорит, что нигде не чувствует себя так,как в Израиле.

- А я там никогда не был.

- И я еще не был. Но поеду обязательно! Обязательно! Кибуцы! Вы бывали в кибуцах? Ну, конечно. А скажите, трудно вам было решиться - вот так, оставить все? Ну, конечно, что это я спрашиваю! Но вы не жалеете? Вы сошлись с сабрами? У вас есть друзья среди них? Или вы живете своей, русской общиной?

В Америке, в Беркли, москвичка сказала:

- Я здесь уже пять лет. Но телефон мой звонит только по-русски. Хорошо это или плохо - но мы не стали американцами.

Стали ли мы израильтянами? Наш телефон тоже звонит по-русски. Иврит мой годится только для базара - и то не всегда. Из газет мы читаем "Джерузалем пост". По телевидению смотрим "Французский час" и английские детективы. И до сих пор в магазине, когда предстоит серьезная покупка, я спрашиваю продавца: ата медабер рак иврит (вы говорите только на иврите)?

Откуда же это чувство принадлежности, общности,кровности?

Я не зажигаю свеч - не хожу в синагогу - не знаю молитв - негодую на отсутствие транспорта по субботам...

Откуда же это странное живое чувство к холмам, к земле?

Я не думаю, что все должны сидеть дома и евреи должны жить только в Израиле. Подозреваю, что есть у них и другое назначение. Вероятно, прав был Бердяев, когда говорил, что они - дрожжи, в любом обществе. Может ли существовать общество без дрожжей? И к чему дрожжи без общества?

Когда я вижу на улицах июльского Иерусалима маленьких девочек в толстых чулках и зашнурованных ботинках (Господи, где же это они достают такие ботинки?) - я их жалею и возмущаюсь нелепостью их вида. Потом я смотрю в лицо человеку в шляпе, который ведет девочек за руки. Я вижу лицо своего деда, своего отца, своего дяди, своего одноклассника в советской одесской школе. Я встречаюсь с ним глазами, и то, что идет из глаз - знакомо, узнаваемо, передает, сообщает какой-то знакомый код. И я думаю, что без них мы не были бы собой.

Кто-то сказал: это наше мясо. Не мясо - хребет. Не дрожжи, а закостенелость. Не будет этого хребта, не будет окостенелого позвоночника - все размякнет, расплывется, растворится в национальном перегное.

А так - может, одна из этих девочек в ботинках родит человека, который забродит и пойдет бродить по миру, оставляя на пути свои дрожжевые грибки, свой заквас. И будет вино для всех. Или пена.

- Ну, конечно, у нас есть друзья-сабры. И родственники, которые живут здесь с одиннадцатого года. Их дети родились здесь - это настоящие сабры. И зовут их по-здешнему. Например, моего двоюродного брата зовут Узи.

- А на ком женат ваш брат? Тоже на русской?

- Нет, его жена из Германии.

- Ну да, это все Восточная Европа.

- Ашкенази, - говорит голландец и улыбается. Улыбка у него тонкая, понимающая, невеселая.

- А скажите, правда... Мне это очень странно, но говорят, что так и есть. Скажите, правда, что у вас сефарды - СЕФАРДЫ! - считаются, ну, как бы людьми второго сорта? Это просто невероятно!

- Мама, почему я ашкеназия? - спрашивала восьмилетняя девочка. - Я не хочу быть ашкеназия. Я хочу быть сефардит!

- Почему? Что плохого, если ты ашкеназия?

- Хм! Все говорят, что ашкеназим - грязные.

- А ты разве грязная?

- Да нет, это просто так говорится. Мерав мне сказала: неужели ты ашкеназия? (Мать Мерав из Йемена, отец из Ирака). Я не хочу быть ашкеназия. Нельзя что-нибудь сделать?

- Можно. Найти себе других родителей.

Разговор в России. "Мама, разве я еврейка? И ты еврейка? И папа? Как же так? Я не хочу быть еврейка. Я хочу - как все!"

Рассказываю это сефарду. Он смеется, показывая белоснежные зубы.

- Нет, а если всерьез?

- Президент у нас сефард.

- Ну да, Навон, это известно. Но другие?

Как известно, йемениты прибыли в Израиль тридцать лет назад прямо из средневековья. Они знали только то, что знали во времена царя Соломона, когда он послал их туда, где теперь Йемен. Свое ремесло и Тору. Неграмотных мужчин среди них не было.

Кстати о грамотности. Один университетский профессор в Ленинграде говорил: это все-таки поразительно! Все они - все! - были поголовно грамотными еще три тысячи лет назад! Нет, как хотите, правильно, что для них существуют ограничения в приеме. Представляете, какое у них преимущество? Три тысячи лет сплошной грамоты! Нет, я согласен: нельзя их пускать без ограничения.

Он, конечно, шутил.

Так вот, йемениты. Тридцать лет назад прибыли они сюда из времен царя Соломона "на птице" - так они называли самолет, который их ничуть не удивил: им так и было обещано, что они вернутся на птице. Теперь они - лучшие врачи, офицеры, учителя. Кажется, даже инженеры. А уж их иврит! Самый чистый, самый образцовый, неподражаемый, некартавый...

- Да, йемениты, я слышал... А те, что из Марокко?

- По-разному. Кажется, самый культурный слой перекочевал во Францию?

- В общем, да. Почти все наши родственники - у нас там тоже были родственники. И все-таки, все-таки... Значит, и у вас неравенство!

- Как в любой семье, - говорит голландец. - У меня четверо, и все разные.

- Ну, это совсем другое! Это просто несходство! Нет, говорят, раньше было по-другому. Нам рассказывали, как раньше это было... Ни воровства, ни хулиганства, двери не закрывались нигде...

В Ленинградской пересыльной тюрьме в 1949 году польская еврейка рассказывала про Израиль:

- Вы думаете, это такие же люди? Маленькие, очкастые, заросшие? Вы знаете, какая там молодежь? Это полубоги! Рослые, сильные, прямые! И знаете, что удивительно? Они блондины!

- Ну да?

- Вот именно. Это самое удивительное. Все поголовно - блондины!

- Что ж тут удивляться. Время проходит. Люди есть люди.

- Да, конечно, люди есть люди!

- Всем хочется жить лучше.

- Ну, понятное дело!

- Но от евреев требуют еще чего-то. Чего-то другого.

- Чтобы они были какие-то полубоги!

(И блондины.)

Поезд делает поворот, солнце ударяет в стекло, в смуглое веселое лицо сефарда; он отклоняет голову назад, и его правильные черты успокаиваются: губы смыкаются, брови перестают играть. Лицо подсыхает, и в нем проступает скорбь. Такие лица я видела в огромной толпе перед Харьковским эвакопунктом в августе сорок первого года.

- Вы хотите знать, чего они требуют от евреев? - говорит голландец. - Да очень простой вещи: чтобы они перестали существовать.

- Нет, нет, не могу с вами согласиться! Не все! Нет-нет!

Голландец поворачивается ко мне: его лицо выражает приветливый интерес:

- По-моему, в Израиле думают так, как я.

- Послушайте, я вам расскажу про себя! Когда мы приехали во Францию,первый человек ,который нам помог,был не наш родственник! И даже не еврей! Это была француженка, настоящая француженка, графиня...

- Графиня?

- Да-да, графиня, настоящая графиня, не только по мужу! Ее фамилия - вы ее в любой истории Франции найдете! Да,французская графиня. И она нам помогала!

- Из маранов?

За несколько месяцев перед тем знакомый испанец, довольно левый, на приглашение приехать посмотреть Иерусалим ответил:

- Пока не будет заключен мир - не приеду. Пока евреи не проявят соображения и воображения.

- Последние две тысячи лет они только это и делают.

- Я не про две тысячи, я про два пятнадцатилетия. Ты бывала в лагерях беженцев?

- Видела Газу.

- Ну?

- Ты знаешь, он очень любит арабов, - вступила его жена, учуяв, что возникло некое напряжение. - Он даже выучил арабский язык, он говорит по-арабски. Он бывал в лагерях, он принимает к сердцу их дело...

- Левым сейчас хорошо. Наконец-то они откровенно стали на сторону богатых против бедных.

Он онемел.

- Если бы я не была еврейкой, - говорит жена, - то,кто знает... он бы совсем стал антисемитом!

- Ну, уж в антисемитизме меня не упрекнешь. Я читаю курс об арабско-еврейских влияниях на испанскую культуру. Как раз я именно сейчас, именно сейчас этим занимаюсь...

- Ну, и как - большой вклад?

- Немалый. Сервантес, например, был "новый христианин", это уже, я считаю, установлено. Знаешь, кто такие "новые христиане"? Те, что крестились в четырнадцатом-пятнадцатом веке. Евреи и мусульмане. И женились они на своих, на таких же. Жена Сервантеса была родня Рохасам. Знаешь, кто такой Рохас? Автор "Селестины"?

- Маран?

- Не маран, а "новый христианин". Из этих, "острых и беспокойных". Да, да, именно так их называли, такие были тогда синонимы. (Сейчас в России говорят "шустрые"). У старых христиан были обратные свойства: спокойствие, степенство и неторопливость.

(Насчет степенства мы тоже кое-что можем вспомнить из русской истории).

- У Лопе де Вега (у вас в России его очень поднимают, Лопе де Вегу, а ведь в "Фуэнте Овехуна" все дело в том,что у крестьян кровь чистая, а сеньоры роднились с неверными, потому-то они и плохие), есть даже такой диалог: - Ты еврей? - Нет, сеньор. - По остроте ты похож на еврея. Да ну, эту самую "остроту" найдешь в протоколах Святой Инквизиции сколько хочешь. У Рохаса отец был, по всей вероятности, сожжен инквизицией. Да,Рохас был "острый". Как и Гонгора.

- Гонгора?..

- А как же? Кеведо писал: я свои стихи натру шпиком, чтобы ты, Гонгорилья, их не попробовал!

Они были соперники, Кеведо и Гонгора. Такой юмор: натереть стихи шпиком.

У Сервантеса чувство юмора было другое.

В московской школе в пятьдесят третьем году учительница сказала:

- Чему вы улыбаетесь, Штильман? Ирония - не русская черта.

Штильман, правда, был немец, но учительницу ввела в заблуждение фамилия, какая-то нерусская.

Сефард недоволен.

- Ну, это вы шутите! Графиня не из маранов! Ведь маранов во Франции нет, это - испанские дела!Там, говорят,даже теперь есть евреи, которые соблюдают все обряды, но - тайно! Тайно!

- Там теперь синагогу открыли в Мадриде, даже королева присутствовала на открытии.

- Ну, это для тех, кто там появился во время войны! Франко ведь евреев пускал! Открыл им границу, а потом и вообще пригласил - чтобы развивали экономику и торговлю!

- И они поехали.

- Да, поехали! Говорят, сефарды там сразу получают гражданство.

- Я тебе скажу большой секрет, - сказал Исааку Цукернику испанский солдат.

Дело происходило в 1938 году, во время гражданской войны. Цукерник, студент-лингвист Ленинградского университета, тот самый, который впоследствии напечатал статью о Христофоре Колумбе, вызвавшую некоторый шум, был в Испании военным переводчиком.

- Ну?

- Я видел еврея.

- Ну?

- Ты что, не понимаешь? Я ВИДЕЛ ЕВРЕЯ!

- Где? - спросил Исаак, смекнувший, наконец, что Испания - не коридор филфака.

- В деревне около Лериды.

- А как ты узнал, что он еврей?

- Я догадался.

- Как?

- Ну, догадался. Ты бы тоже догадался. Понимаешь, он... он молился. Я так думаю, что молился. Он меня не заметил, я видел его в окно. Он по книге молился, но не по такому молитвеннику, как у всех. Я неграмотный, но все же знаю, в той книге были совсем другие буквы.

- И что же ты сделал?

- А ничего. Все равно в той деревне уже ни церкви не было, ни падре - кому скажешь?

- А надо было сказать?

- Ну, все-таки... А с виду никогда не подумаешь. Такой, как все.

- Я видел евреев, - рассказывал через сорок лет бывший комиссар республиканской дивизии, в 1939 году эмигрировавший в СССР. - В Болгарии я видел евреев. Из Толедо.

- Давно из Толедо?

- Ты смеешься? Это те, которых выгнали из Испании... когда это было? Ну, в тот год, когда Колумб открыл Америку. Понимаешь, они говорят по-испански, до сих пор. Такой испанский, как в Дон-Кихоте, красивый. Но даже не в этом дело. У них ключ от их дома в Толедо. Представляешь? Столько лет они сохраняют его. Огромный такой ключ! Я знаю Толедо, там есть "Пласа Худиа", Еврейская площадь. Наверное, там они и жили. И они думают, что вернутся. Очень приятные люди, совершенно похожи на испанцев.

- И ведь не скажешь, что у евреев короткая память, - говорит голландец. - У них очень хорошая память. Но как они могли вернуться в Испанию? После всего?

Америко Кастро пишет, что "Золотой век" Испании - XVI век - был веком противостояния двух каст - "старых" и "новых" христиан. Он подчеркивает: не *рас*, а *каст:* для него и те и другие - испанцы. "Израильтянам не хочется признавать того, что испанские евреи были прежде всего испанцами и что Испания была для них вторым Израилем. Испанцы же, со своей стороны, хотели бы освободить свою историю от всякого еврейства, не понимая, что так они лишают Испанию самого ее нутра - ее междукастовых связей, того самого, что сделало из испанской цивилизации нечто единственное, не имеющее параллелей в Европе... Могла ли бы произойти в другой культуре титаническая встреча романа Сервантеса и драматургии Лопе де Веги? ...Эти две, с виду такие разные Испании, в действительности были тенью и отражением одна другой и стимулировали друг друга. Ибо так азываемые новые христиане наложили на Испанию свой неизгладимый отпечаток. ...создали новую литературу, непохожую на общепризнанную; замалчивание этого феномена исказило образ и идею Золотого века испанской литературы".

Все это напечатано в Мадриде, не сегодня, а в конце 1957 года. Через триста сорок лет после смерти Сервантеса, через четыре года после смерти Сталина. В Москве, в Ленинграде уже начинали забывать кампанию против безродных космополитов, скрывшихся под русскими псевдонимами. Начались реабилитации, и погибших реабилитировали посмертно...

Правда, слово "еврей" было как-то не в чести. На дворе бушевала оттепель. Еще партийцы, сделавшие карьеру, говорили партийцам, вернувшимся из лагерей: да, прошли страшные времена! Еще пели лагерные песни на вечеринках - и уже писали о лагерях, с робкой надеждой: а вдруг напечатают? Еще профессора говорили своим вернувшимся с Воркуты аспирантам: вы, небось, думаете, что самое страшное было там? Не-ет, самое страшное было здесь! И аспиранты соглашались - они понимали.

Взаимопонимание воцарилось вокруг. Свидетели обвинения протягивали руку тем, против кого они свидетельствовали - и те принимали. "Простите их, - говорили вернувшимся.- Простите их, по-христиански". Те соглашались. Потому что понимали. Все всё понимали. А уж евреи-то понимали лучше всех. И прощали, по-христиански. Раз уж наступило такое взаимопонимание, то, стало быть, все равны и несть ни эллина, ни иудея. Прошли, прошли, прошли страшные времена. А если кто из новых друзей и не любит евреев - то это его дело. Почему он должен их непременно любить? *Его* можно понять.

Растворялись, сливались, готовились служить верно и нелицеприятно - при чем тут еврейство, мы воспитаны на Пушкине, мы прошли такие годы вместе, мы вместе дрожали в наших коммунальных квартирах, мы вместе валили лес в тайге, мы вместе...

Дорогой профессор Коган,
Знаменитый врач,
Ты обижен, ты растроган,
Но теперь не плачь.
Потрепали ваши нервы,
Доктора наук,
Из-за суки, из-за стервы
Лидки Тимашук.

В конце-концов, может даже она, Тимашук, не так уж виновата? Тимашук-чибиряк, чибиряшечка... Все он, все Сталин, параноик, культ личности!

Как мы любим понимать! Понимаем Гоголя (как Янкель понимал Тараса Бульбу), понимаем Тургенева, понимаем Чехова. Понимаем Булгакова, понимаем Хемингуэя ("ах, Брет! ах, тореадоры!"), который на заре тридцатых годов вошел в славу, объяснив восхищенному читателю, что не любит он еврея Кона просто потому, что он такой - не любит, и баста!

А в пятидесятые годы - о, какой это был разгул понимания. Теперь, когда они сами сказали, что больше это повториться не может! Теперь, когда все началось-то с дела врачей - весь откат! Теперь, когда Никита во всеуслышание произнес...

Нас ведь позвали, позвали обратно! В университеты, в научно-исследовательские институты, в литературу! И мы пошли, не помня зла, воздавать за благо, не пошли - кинулись, и не только за твердой зарплатой, но и потому, что можно стало - отдавать! Мы как все!

С Венгрии пошел раскол. "Эдак все полетит!" - говорили одни. - "Вот и хорошо. Зачем нам колониальная империя!" - "Но ведь страшно!" - "Не страшно - хорошо!" - "Вы что - нельзя раскачивать! Для интеллигенции это самое опасное! Нельзя подрубать сук, на котором сидишь!"

Танки решили споры. Югославы продали Имре Надя. (О Югославии тоже спорили: надо ли было Хрущеву им кланяться? "Может, и надо было, но не так низко!" Другие рассказывали, захлебываясь, про югославский социализм: совершенно не такой, рабочие участвуют в прибылях, и нет колхозов; "с человеческим лицом" еще тогда не говорили). "Это ужасно, но иначе нельзя", - говорили защитники

империи. Другие замолчали, перестали читать газеты, выключали радио сразу после утренней зарядки.

И тут грянул Суэц. Английская империя тоже не хотела распадаться до конца; французы с ней стакнулись. Но все громы метались против израильских агрессоров. Они - агрессоры - решили захватить канал. Бен Гурион объяснял, что арабы нападают на еврейских земледельцев: в "Известиях" напечатали "землевладельцев". В тех же "Известиях" печатали списки добровольцев,которые хоть сейчас готовы были дать ума агрессору, и в первом же списке была фамилия "Жидомиров".

Нет-нет, это Израиль, мы не они, они не мы... Это совсем другие люди (блондины и полубоги?), это те наши родственники, которые уехали когда-то, о которых мы не пишем ни в каких анкетах, потому что - какие же это родственники, ведь не прямые. О нет, о нет, это все совсем другие люди, все говорят, что другие, вон даже та женщина в пересыльной тюрьме. Что мы знаем про ту землю? Только то, что там посадили эвкалипты - шесть миллионов деревьев.

Земля моих отцов, земля чужая,
Сожженная неумолимым солнцем,
Иссохшая и красная земля!
У моря там сажают эвкалипты,
И каждый саженец напомнить должен
О тех, чьи имена нам неизвестны,
Но чья известна страшная судьба...

Так ли? Неизвестны? А моя бабушка, что осталась в Харькове? Спасались юмором. Кто-то сложил песню (не Алешковский ли?):

На Синайском том полуострове,
Где лежит государство Израйль,
Положение очень острое,
Потому что воинственный край...

И дальше - про любовь:

А она была египтяночка,
А он был израильский солдат.

Песня заканчивалась мажорно:

Мы хотим любить египтяночек,
А агрессии мы не хотим!

Нет, мы все еще хотели быть как все. Только этого, про израильского агрессора, мы уже не хотели понимать.

- Знаете, - говорит сефард, - я тоже много ездил. По делам мне приходилось бывать даже в скандинавских странах. И скажу вам правду: нигде бы я не хотел жить, кроме Франции.

- Да, во Франции евреям хорошо. Может быть, слишком хорошо. Так не может продолжаться.

- Ну, что вы! Евреи столько сделали для Франции!

- Евреи и арабы создали Испанию - и чем это кончилось?

- Ну, разве можно сравнивать! Когда-а это было!

- Вы думаете, для Германии они мало сделали? Или для Польши? Для России?

Я плохо помню тот барак, хоть и прожила в нем около года. Где была печка, около которой мы в ту ночь сидели с Таней? Мы разговаривали очень тихо, чтобы не мешать другим - но все-таки мы не шептались, мы разговаривали, значит печка была как-то удалена... Не могу вспомнить!

Мы разговаривали в первый и в последний раз в жизни и так и понимали этот свой разговор. На утро был назначен этап; обычно это делалось совсекретно, но почему-то на этот раз было допущено исключение. Как учили нас старые лагерники: не ищите логики. В этап была назначена и Таня: у нее был "срок" двадцать пять лет. В этом не было бы ничего примечательного - у нас двадцатипятилетников была целая бригада - но Таня получила свой срок не в сорок девятом, когда все, а гораздо раньше - чуть ли не в сорок пятом, когда давали десятку или расстрел. Родом она была из города Сальска. В лагере считалась монашкой. Монашки не работали по воскресеньям (за это считались отказчицами и сидели в карцере), молились (отдельно от них - и обязательно на коленях - молились еще "почекайки", западные украинки), занимались рукоделием, читали украдкой Евангелие (как-то оно приплывало в зону, сквозь запреты и запретки), не зубоскалили, соблюдали посты (!), носили длинные юбки, платочки, не смешивались с остальными.

А Таня и вовсе ни с кем не смешивалась; ее нельзя было не заметить. В толпе она выделялась высоким ростом - ну ладно, рост, это понятно. Но вот мы все сидим на земле за зоной, ждем, когда придет за нами машина везти на дальнее поле - и опять я смотрю на Таню: сидит, длинные ноги подогнула, натянула на них юбку, склонила голову к плечу, руки на коленях сложены, глаза опущены. Или сидит у себя на верхних нарах, ковыряет что-то иголкой,лица почти не видно, ситцевый платочек под подбородком повязан... Или чешет гребнем волосы...

Художница, которая ее украдкой рисовала, объяснила, в чем дело:

- В ней есть покой.

Потом сказала:

- Знаете, она когда приехала, не такая была. Мазала губы, ходила в короткой юбке, кокетничала... Это потом она стала монашкой. Уверовала, должно быть.

Даже в ту ночь перед этапом она не казалась удрученной, или суетливой, или хоть озабоченной.

Я ей сказала, что всегда на нее смотрю и удивляюсь, откуда в ней этот покой. Она ответила:

- Я тоже на вас смотрю иногда. И думаю: а когда же она бывает спокойна, эта женщина? Хоть во сне-то она успокаивается ли?

В ту ночь она рассказала мне "свое дело". В лагере о "делах" говорят нечасто: выговорились в общей камере, на пересылках.

Она работала в газете в этом своем Сальске. И был там журналист, еврей, по фамилии, кажется, Зальцман. Таня не была журналисткой - "далеко мне было до этого", - просто перепечатывала приказы, статьи. Зальцман этот только ей свои статьи давал печатать: "Он вообще ко мне хорошо относился. Добрый такой, скромный был человек; семья у него была, жена, девочка". Так все и шло до войны.

Осенью сорок второго в Сальск вошли немцы. "И вот накануне того дня, как немцам войти, этот Зальцман ко мне пришел. Он редко ко мне приходил, я ему всегда прямо там, на работе печатала; у меня дома и машинки не было. Я ведь до газеты учительницей была, потом пошла на курсы машинописи.

Он был такой растерянный, Зальцман. Говорил, что не знает, как ему быть, уезжать, не уезжать. Жену и дочь он раньше отправил, а сам не то не успел уехать, не то сомневался. Потом сказал мне, что, наверное, все-таки уедет сегодня вечером: какая-то машина должна прийти...

Но вот что я вам говорю - правда: не просил он меня его спрятать, да и в голову мне такое прийти не могло. Я помню только растерянность его... Больше я его не видела.

При немцах я статью написала, в газете нашей напечатали. Про то, как все у нас было. Тогда многие писали.

А потом, когда опять наши в Сальск вошли, меня посадили. И я понимала, за что. За статью. Хоть я и не своей фамилией подписалась, но готова была, что они узнают. У них ведь своя агентура оставалась. Свои люди.

Следователь когда меня спросил про статью, я даже отказываться не стала, потому что была готова.

Почему я не ушла? Как раньше с нашими не ушла, так потом и с немцами: мать у меня была больная, куда же я от нее пойду?

Следователь мой был еврей. Он на меня все смотрел, с такой, знаете, ненавистью... Ну, я его понимала: конечно, мы тогда еще не знали всего, что немцы с евреями делали, но и того, что знали, хватало. Конечно, его можно было понять.

И вдруг он говорит:

- Расскажите-ка лучше, как вы Зальцмана немцам выдали!

А я даже сначала не поняла, про что он говорит:

- Какого Зальцмана? - спрашиваю.

А он тут стукнул по столу и:

- Не притворяйтесь!

Ну, вот. Я говорила ему все, что вам. Рассказала, как Зальцман пришел ко мне, не скрыла. Но он откуда-то и свидетелей раздобыл. Дали мне сначала расстрел. Я в камере смертников сидела. Потом заменили двадцатью пятью годами.

Вот такое мое дело. Никогда я этого Зальцмана не выдавала. Статью писала, это правда, я и не скрывала. Но Зальцмана я больше не видала никогда. И что его немцы убили - только от этого самого следователя и услыхала.

Я никогда ничего против евреев не имела. Но вот скажите мне: почему у них такая судьба? Я ведь немного историю знаю. Как их

гоняли из страны в страну. Из Испании как их изгнали. Почему это так, есть у вас объяснение? Вот они и делают много хорошего - врачей сколько евреев, профессоров... И в Испании так было.Не все же они были банкиры, тогда тоже были евреи-врачи, и ремесленники всякие, говорят, даже писатели.

Но вот - изгнали их. Вы знаете, вы читали, извините конечно, но так называется, "Вечный Жид"?

Как вы это понимаете?"

Я не помню, что отвечала - ведь своих слов никогда не помнишь. Но рассказ ее, но вопросы запомнила крепко - и не раз отвечала ей потом, мысленно.

Кстати, на тот этап она не попала. Почему - неизвестно. Опять-таки - не ищите логики. Вместо нее уехала девочка-кореянка, которая имела десятилетний срок за участие в антисоветской организации десятиклассников "Союз Друзей Свободы".

По-прежнему мы жили в одном бараке, по-прежнему я видела, как она читает, как ходит босиком. Но больше мы никогда не разговаривали.

После смерти Сталина начались внезапные освобождения. Я оказалась пятая по счету - это было в июле пятьдесят четвертого года. А еще через год вернулась в Ленинград та самая художница, которая объясняла мне про "покой".

- Помните Таню? Вы бы ее сейчас не узнали. Она связалась с сектантами, все волнуется, спорит, даже ходит по-другому, както лбом вперед...

Но такой я ее уже не видела.

Правда ли то, что она рассказала мне про Зальцмана,или окаменевшая легенда, рассказанная следователю,в которую она, в конце концов, поверила сама? Не знаю. Теперь не знаю, а тогда мне хотелось понимать и верить. Ведь у нас была одна судьба.

- Как вообще живется евреям в России? - спрашивает сефард. - Ужасно, да? Дело Щаранского - это... это...

- А как вам жилось? - спрашивает голландец. - Вы, вероятно, были хорошо устроены?

- Пожалуй - да.

- Но все-таки уехали.

- Да, все-таки уехали.

В глазах его - понимание. В глазах сефарда - вопрос: почему?

- "Вечный жид", извините, - говорила Таня. - Как вы это понимаете?

- И квартира у вас была? - спрашивает Малка, которая родилась в Ираке. - И телевизия? И вы все-таки уехали?

Последние слова Пушкина были:

- Кончена жизнь. Тяжело дышать, давит...

Мы все знали это чувство, потому что наша жизнь в России кончалась.

Внезапно наступившее удушье почувствовали многие, среди них прекрасно устроенные. О нем то и дело говорят в интервью для радио и газет новые эмигранты и репатрианты.

Вероятно, в этом чувстве сказалась та самая пресловутая народная память.

Не это ли чувство испытывали наши пращуры в Испании пятнадцатого века, когда все заколебалось и реальность перестала быть реальностью; и те, в Египте, у которых горшки с мясом так и остались томиться на огне. Пришло время, пора! Одних выгнали,другие ушли сами, одни были рабами, другие - банкирами. Ни те, ни другие не хотели уходить, но - ушли. Не могли не уйти.

Потому что историческая роль была сыграна. Мавр сделал свое дело.

Мы говорим: ради детей! Значит, чувствуем сами, не говоря словами или называя это по-другому, что - пора, дело сделано, роль сыграна. Мы говорим самодовольно: Египту мы дали Иосифа, Польше Мицкевича, Испании... ну, скажем, литературу "новых христиан".

Только надо помнить, что не было бы Иосифа без Египта,и Мицкевича без Польши, и Дон-Кихота без Испании.

Потому что сами по себе дрожжи теста не дадут.

Поклонимся России за двухсотлетний приют. Она дала нам лучшее, что у нее было: русский язык. И мы расплатились с ней, как могли. Мы дали ей своих "острых и беспокойных" бунтовщиков,угрюмых фанатиков и веселых праведников - от Троцкого до Фриды Вигдоровой. Больше перечислять нечего, все заключено между этими крайностями. И все, нам пора, не стоит нас удерживать,нам пора, пора, пора...

Как твердили (или, может быть, пели), те, кого еще удерживали в Испании:

Да смягчит (Господь) сердце фараона Испанского,
Вопреки ему, путь нам проложит средь моря...

В Киеве, в Лавре старуха-богомолка сказала задумчиво:

- А скоро и конец света.

- Почему,бабушка?

- А как же? Евреи-то все в Иерусалиме собираются!

Ну, положим, не все. Немало их еще несут молодым нациям свой старый, свой вечный заквас.

Пригодится ли он здесь, дома?

Вот мы и подъезжаем. Следующая остановка - Пуатье. Жан обещал нас встретить. Надо же - Пуатье! Никогда не думала,что увижу Пуатье.

- Осматривать замки Луары? - улыбается голландец.

- Да, и Пуатье и, может быть, даже Ла Рошель.

- Прекрасно. Было очень приятно.

- Очень приятно. До свиданья. До свиданья.

Поезд останавливается. Он стоит тут недолго. Нам пора.

1979, февраль

Зернова, Руфь Александровна. Родилась в 1919 году. Школу кончила в Одессе. Училась на филфаке Ленинградского университета, потом была переводчицей в Испании (в последний период гражданской войны), потом работала, потом, в 1947 году, окончила тот же Ленинградский университет. В 1949 году была арестована,осуждена по статье 58-10 на десять лет. В 1954 году освобождена (подведена под амнистию), потом реабилитирована. В СССР издала несколько книг, в том числе "Скорпионовы ягоды","Солнечная сторона", "Немые звонки". Исключена из СП в связи с эмиграцией в Израиль. С 1976 года живет в Иерусалиме.

ПО ПОВОДУ ТЕМЫ

Об антисемитизме и вокруг него пишут сейчас очень много. Пишут в незаслуженной обиде евреи, восторженные от желания не иметь никогда других недостатков, кроме греха своей национальности, пишут , сдерживаясь и не слишком, державные антисемиты, пишет – с разных заходов – самая демократическая в мире печать. В Париже есть даже целый журнал, который чуть ли только этим одним и занимается (кое-чем еще). Говорят, скоро намечается ввести подзаголовок: "Мы – лучший друг российского еврея".

Чтоб нас не поняли криво, следует сказать без обиняков: в приличные, дореволюционные времена антисемиту в России руки не подавали, да и вообще относиться к человеку не как к неповторимой личности (хотя б и мерзкой!), а как к объекту – национальному, сексуальному, общественному – некрасиво, а по-христианству, кроме того, и страшный грех. Хорошо бы только не подменять всего одним. Исторические клубки надо разматывать спокойно и со всей серьезностью. А в сложившейся ситуации хорошо бы еще и не забыть, что и кому на руку. Не забыть, как это удобно советской власти: с одной стороны, евреи во всем виноваты, с другой – проклятый, врожденный русакам антисемитизм не дает всем интернациональностям жить спокойно в отдельно взятой стране. И можно всласть начальствовать, верхом на баллистической ракете (модернизация метлы): глухие недовольства по низам загрызают друг друга, про верха почти забыто (мечта). Забыта настоящая, единственная причина общей беды, русской, еврейской, кара-калпакской, других – злобная, хитрая, постоянно самообучающаяся, занятая только собой коммунистическая власть Советского Союза.

Живя в эмиграции, мы яснее видим, как старательно – и не глупо – раздувается из Москвы и еврейская обида, и антиеврейские страсти. Говорят, в ГБ есть оба этих отдела, и между ними соцсоревнование. И мы бы не стали, вероятно, заниматься этим вопросом, оставив стричь на нем европейские купоны косому слову лучшего друга брюнетов – наша забота русская литература, – если б не два соображения.

Во-первых, ничего нет важней того процесса, когда перед вами размышляют, не зная конечной истины. И такова статья Руфь Александровны Зерновой. А во-вторых, при всех страстях вокруг предмета забывают об одном: о России. А ведь откуда ни зайди, в конце концов пронзает самая острая мысль: Россию жалко.

Если, конечно, кому-то ее жалко.

В.Марамзин

поздравляем!

* * *

В Ленинграде вышел первый номер нового самиздатского журнала "Женщина и Россия". На титуле написано: "Журнал для женщин о женщинах", № 1, СПб. Мы уверены, что мужчины будут читать его во всем мире.

* * *

Израильский филиал ПЕН-клуба принял в члены ПЕН-клуба ленинградского писателя Михаила Хейфеца, отбывающего ссылку в Павлодарской области после четырех лет лагеря. Из лагеря просочилась на волю написанная им там книга "Место и время". Мы обнимаем и от души поздравляем Михаила Хейфеца.

объявление

Новое коммерческое издание с биографическими данными эмигрантов из СССР, независимо от страны, в которой они сейчас живут. Все политические деятели, бывшие политзаключенные, религиозные деятели, ученые, писатели, журналисты, деятели искусств, предприниматели, врачи, адвокаты, специалисты в разных областях будут включены в Справочник без всякой дискриминации.

По желанию, в справочнике могут быть опубликованы также рекламные сведения об организациях, предприятиях, издательствах, ресторанах, галереях, основанных эмигрантами.

Каждый заинтересованный должен направить запрос по адресу: РОВ 24027, Иерусалим, *с приложением конверта с оплаченным ответом и надписанным на конверте обратным адресом. Желающим будет выслан вопросник.*

Этот справочник на многие годы будет главным источником информации об эмиграции. Он познакомит вас друг с другом, он позволит вам сохранить многие старые связи и приобрести новые во всех странах.

Copyright "АРХЕОН"

Виктория АНДРЕЕВА

О ПРЕКРАСНОЙ СЛОЖНОСТИ

Русская поэзия начала века объявила войну религии профана - позитивизму. Она внесла в искусство новые пространства - пространство космоса и модусы Божественного - и потребовала от художника двух совершенств - совершенства состояния и совершенства выражения. Символисты и футуристы работали в этих двух главных направлениях, - одни, стремясь к совершенствованию в глубине, другие - на поверхности.

Эти две задачи оказались разведенными, и Крученых и Хлебников остались в одном лагере, а Вяч. Иванов и Блок - в другом. Умная поэзия далеко отошла от "прости, Господи, глуповатой". Ум одной оказался выведенным за рамки формы, ум другой весь ушел в форму. Крученых никогда не позволил бы себе трюизмов формы, которыми порой грешил Вяч. Иванов, а Иванов не мог бы отвернуться от сакральной глубины искусства, от его теургических задач ради звуковых и визуальных эффектов. Иванов работал с истощенной лексикой, его славизмы и эллинизмы лишь усугубляли это впечатление. Он был умозрительным новатором - шел от знания, которое хотел вместить в старые меха искусства измельчавшего, психологизированного.

Футуристы черпали энергию из данной эмпирической субстанции мира, из предлежащих форм и средств. Символисты через символ, "пронизывающий все планы бытия", задали идею выхода за пределы явленного и движения к Божественному первоисточнику. Для символистов задачей поэзии являлась "связь с Божественным всеединством", причем художник "должен воспитать себя до возможностей творческой реализации этой связи", для футуристов же миф - это умершее слово. Футурист творил миф из формы, и поэзия для него "есть выявление абсолюта во внешнем". Хлебников верил в знание,

заложенное в языке, в силу слова как мировой стихии, в природные энергии, стоящие за буквой и звуком ("гласные мы понимаем как время..., а согласные - краска, звук, запах"); в языке он признавал самостоятельные стихии, своего рода первоматерию.

Видение футуристов было конкретным, они видели разрушение вокруг - и они разрушали язык, ссылаясь на "непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку": расшатывали синтаксис,отрицали правописание и т.д. Разъединенность вещества поэзии и ее духа - дань критической эпохе, в которой формировались два эти мировоззрения. Наше время уже невозможно уложить в дихотомию органических и критических эпох, идею, к которой настойчиво возвращался Вяч. Иванов. В органические эпохи человек был естественной частью духовного космоса и, не рефлектируя,составлял одно с целым: "я и Отец - одно". В критическую эпоху человек, выпавший из этой цельности, рефлектирует по ее поводу, смотрит на нее как на объект: "я и Отец - два".

На грани конца критической эпохи Вяч. Иванов увидел симптомы поворота к иному мировосприятию, возврат души к скрытым "корням бытия", робкое "темное и глухонемое осознание связи сущего, забрезжившее в минуты последнего отчаяния разорванных сознаний", "когда красивый калейдоскоп жизни стал уродливо искажаться".

Наше время напоминает одну из стадий творения в космогонии Эмпедокла, когда разрозненные Враждой части распавшегося мирового целого кружатся в космическом водовороте и, соединяясь,образуют беспорядочные сочетания, поскольку ослабла гармонизирующая энергия Любви. Это время, когда Вражда мешает найти равновесие и баланс в "разорванных сознаниях".

Современный художник организует космос из частей целого,объединяя разрозненные формы, он пробует увидеть замысел создания и самого Создателя. Космический знак распада воспринимается художником не фаталистически, а творчески, ибо через него просматриваются те же Божественные основания, тот же свет, та же мудрость. В хаосе много соблазнов, и в беспорядочном смешении разрозненного можно увидеть самые разные очертания. Есть соблазн дробления, подмены, эклектики, безвкусицы (ссылаясь на еще не выраженные каноны), то есть тем самым - возвращения к профаническому искусству с его импровизационным произволом. Время дает художнику огромные высвободившиеся энергии и неизвестную ему доселе свободу оставленности - ему трудно начать простую работу внутреннего строительства. Встает задача объединить энергию вещества поэзии, транслированную футуристами, с энергией состояний, накопленной символистами, поэтику абсурда с классическим пейзажем.

Символисты не видели символа в предлежащем им эмпирическом космосе, поэтому лозунгом Иванова было "a realibus ad realiora", то есть через реальность к реальности. Футуризму же трудно было избежать фетишизации видимости, он ставил себе в заслугу постижение тайны формы через данное. В области эмпирической алхимии он чувствовал себя демиургом, не признавая реальности за реальностью.

Внимание к сущности, к сакральному у символистов ослабляло внимание к внешнему, "смазывало" эмпирическую конкретность ма-

териальных форм, что было данью расщепленности критического разума. В принципе нет и не может быть противоречий между этими двумя реальностями - созерцательность, внимание к сущности предполагает обостренное видение вещественного. Отпечатанность внутреннего в вещественном, присутствие и участие Божественного космоса в материи языка онтологически предзадано искусству и, собственно, делает возможным искусство. Необходимость синтеза встала перед русской поэзией.

Акмеисты также упрекали символизм в отсутствии равновесия, но захотели выйти к этому равновесию путем благородного незнания (Гумилев: "говорить о непознаваемом нецеломудренно"),не заметив катастрофы, в чем их и упрекнул Блок. Они решили вернуть Адама (адамизм - другое их название) в неврастеническую критическую эпоху и провести перед ним парадом все вещи, чтобы он вновь дал им имена. Устраненный символизмом и футуризмом эмпирический мир вещей тем самым вновь вернулся в поэзию. Они попробовали возразить эмпедоклову хаосу совершенной формой. Своей ностальгией по совершенству они внесли в поэзию неустойчивое равновесие - романтический жест и отвагу отчаяния. Они апеллировали к уже воплощенной культуре, к найденной форме. Это был путь ремесла - путь цеховой мудрости и опыта. В тайнах ремесла они искали разрешения диссонанса между формой и символом и пришли к замене символа предметом: роза у них опять стала хороша сама по себе, а не уподоблением ее мистической любви.

Обереуты, перенявшие поэтическую инициативу в 20 - 30 годы, увидели знак времени в диссонансе, отринутом акмеистами. Они попробовали объединить космические перспективы символистов и пафос формотворчества футуристов. Зазвучала пугающая непонятная речь Александра Введенского: "Всякий человек,который хоть сколько-нибудь не понял время, а только непонявший хотя бы немного понял его, должен перестать понимать и все существующее. Наша человеческая логика и наш язык не соответствуют времени ни в каком, ни в элементарном, ни в сложном его понимании. Наша логика и наш язык скользят по поверхности времени".

Поиски необходимых сочетаний новых смысловых пластов слова, принципы их соединений стали в центре внимания поэта. Эмпирический объект превратился в метафизический символ, в котором и через который начали проступать очертания нового понимания, видение иного космоса. Время, смерть и Бог стали главными темами эсхатологических мистерий Введенского. Державинские плотность и властность звука вернулись в поэзию так же, как и смелые смещения смысловых пластов футуристов. Оживление в слове космической прапамяти, возвращение к мифу, похороненному позитивизмом,обретение Божественного смысла через символ - стало живым наследием молодой русской поэзии.

Энергии, разбуженные поэзией начала века, задачи, заданные ею, не могли исчезнуть втуне. Они жили вопреки стараниям задушевной поэзии евтушенковского толка с ее сладковатой мечтательностью и риторическим пафосом. Молодая поэзия 60-70-ых годов,минуя самоупоенную декламацию эстрадных поэтов, вернулась к эмпедокловой реальности - новому состоянию космоса. В поисках уравновешенности эмпедоклова хаоса, восстановления распавшейся свя-

зи эта поэзия проходит разные временные фазы. Современный художник ищет выхода к новому слову, мифу через формальный ли эксперимент или мучительное вопрошание себя, самоиспытание или епитимью. Ломка слова, возвращение к букве, предмету,поиски первосоотнесенностей между ними, выработка нового ассоциативного строя, перетекания смыслов, метаморфозы, новая ритмика и рисунок строфы, магическая власть повторений и т.д. - плотно вошли в поэтическую практику.

Метафизическая ирония Анри Волохонского,экстермическая поэзия Ильи Бокштейна с созданным им поэтическим кодом, пластика предметных трансформаций и музыка слова Станислава Красовицкого, легкое дыхание и акварельная прозрачность строки Леонида Иоффе, контрапунктические формальные разработки Генриха Худякова,искус самоотрицания и приглушенная рефлективность Петра Булыжникова, "потусторонние парады" Леонида Аронзона - таково "не общее выражение" лица молодой русской поэзии.

Петр ВАЙЛЬ, Александр ГЕНИС

МЕТРОПОЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

...Легко ли ощутить духовность мира
Из "Метрополя"

Редакторы "Метрополя" в предисловии писали: "...Рождение нового альманаха, надо думать, для всех праздник". Не надо так думать. К примеру, среди 7000 членов Союза советских писателей никакого торжества не наблюдалось. Зато это был и есть праздник для некоего интересного и важного явления в советской культуре. Назовем его "третьей культурой" в СССР.

Это писатели, не ушедшие (или ушедшие частично) в подполье и не желающие становиться официальной литературой. Они - как бы между самиздатом и Союзом писателей. Первый их не устраивает малыми тиражами и естественной ограниченностью тем, второй - художнической бесполостью и неизбежной духовной нищетой. Самиздат, в конечном счете, не в состоянии ни насытить книжный рынок, ни целиком обеспечить поле творчества для литераторов. И тогда возникает литература - и культура вообще - "на стыке": в кино - Тарковский и Параджанов, в театре - Таганка, в литературе - альманах "Метрополь".

"Третья культура" в СССР - это искусство, воспитанное цензурой. Умение обходить Главлит породило эзоповы формы, гениальным образцом чего стал Аркадий Белинков с его "Тыняновым". Эвфемизмы и фигура умолчания, ирония и фантастика, сарказм прямой лести и инвективы псевдоврагам советской власти, редакционный портфель издательства "Детская литература", неоткровенная глупость - собственная и откровенная - редакторов, цитаты и примечания. Делалось это, например,так:

"Какие же должны были произойти исторические сдвиги, какие прошуметь войны, сколько жизней пришлось отдать в борьбе за свободу от колониального ига, сколько сил было брошено на улучшение работы Главкинопроката, чтобы критики и другие деятели иде-

ологического фронта, перестроив в новых исторических условиях свое сознание, за слова "С добрым утром!" уже не требовали крови и мяса!"

Почти каждый писатель на пути из Союза писателей в самиздат приостанавливается, а на остановках делает то, что не лезет ни в те, ни в другие ворота. Лезет в те и в другие ворота. Как пишет все тот же бессмертный Белинков, "такую вещь порядочный редактор не захочет взять в рот". Непорядочный берет. Иногда. С другой стороны, зашивать такую вещь в перину от КГБ глупо. Иногда не глупо.

Таких вещей много не бывает, но: В.Аксенов "Жаль,что вас не было с нами", В. Попов "Случай на молочном заводе", Ф. Искандер "Колчерукий", А. Битов "Птицы, или Новые сведения о человеке", Б. Окуджава "Путешествие дилетантов", И. Шевцов "Тля", А. и Б. Стругацкие "За миллиард лет до конца света", О. Григорьев "Чудаки", А. Кузнецов "Артист миманса". И так далее.

Альманах "Метрополь" есть явление знаменательное. И не только в политическом смысле - в Советском Союзе вся литература имеет политический смысл, - но и в историко-литературном. "Все авторы "Метрополя" в одинаковой степени представляют альманах, и альманах в одинаковой степени представляет всех авторов". Такое заявление означает, что мы обязаны рассматривать эту книгу не как собрание рукописей, а как манифест некоего литературного объединения со своей программой, идеологией, стилем. Он заявляет о своем отличии от предыдущего этапа литературного развития и предлагает новые эстетические критерии.

Так было всегда: от "Защиты и прославления французского языка" дю Белле до "Пощечины общественному вкусу" Бурлюка с компанией. А "Метрополь" - манифест "третьей культуры", впервые осознавшей себя "третьей силой" в литературе СССР, "четвертым" эстетическим измерением, "пятой колонной" самиздата в ССП. Хотя "Метрополь" и представляет интересы самиздата, альманах в известной степени реакция на его кризис.

Дело в том, что в самом существовании самиздата есть установка на определенные тематические рамки. Самые массовые самиздатские тиражи отданы литературе протеста, политическому документу, списку злодеяний. Естественно, что человек рискнет свободой скорее ради "ГУЛАГа", чем ради абсурдистской поэзии. Поэтому эстетский самиздат чистого искусства становится элитарным явлением, он не вошел в круг общерусской литературы. Проще говоря, советский человек удовлетворяет свои гражданские потребности девятым экземпляром машинописного Солженицына, а эстетические - напечатанным в государственной типографии Вознесенским. Эстетическая ниша между социалистическим реализмом и самиздатом требует заполнения, и эту задачу должен был выполнить "Метрополь".

"Метрополь" - достаточно монолитен и программен, чтобы говорить о нем как о едином литературном явлении. Он имеет общую идейную платформу, название которой идеализм. Идеализм - открытие "Метрополя". Хотя каждое поколение открывает его заново и по-своему. Плеяда писателей, выросшая во времена хрущевской оттепели и с детства развращенная материализмом, пришла к потреб-

ности доказать себе существование Бога и души. Духовность нельзя заимствовать, ее можно только открыть. Авторы "Метрополя" понимают, что традиционное изображение духовной жизни чревато бесплодным повторением. Скажем, картина, воспроизводящая икону (И.Глазунов), превращается в механическую стилизацию. Древняя религиозная образность в произведениях наших современников потеряла магическую силу, сверхчувственное восприятие Бога. Деформированные распятия Э.Неизвестного и метафизические улитки М.Шемякина ближе к проникновению в мир религиозного сознания, чем новая "Троица" или "Успение".

Неисповедимы пути к Богу, дискредитированные десятками поколений, и уже не все видят кощунство в обращенной к небесам матерной брани, низость в похмельном экстазе, разврат в эротическом порыве. Нецензурно славят Бога неподцензурные Венедикт Ерофеев, Юрий Мамлеев, из "Метрополя" - Евгений Попов, Виктор Ерофеев, Генрих Сапгир, Василий Аксенов. Цензурно в альманахе славит Господа один Фридрих Горенштейн. Суха его молитва: ни хвалы, ни хулы нельзя занять ни у Достоевского, ни у блаженного Августина.

С начала XX века в русской литературе ведется интенсивный поиск новых художественных средств для изображения души человека и религиозных откровений. Причем, почти всегда поиски эти ведутся на грани абсурда, в области отказа от рациональных и реалистических форм. Будь это заумь футуристов, анимистический зверинец Заболоцкого или абсурдистские открытия обереутов - путь русской литературы лежал вне реалистических, жизнеподобных форм.

"Метрополь", насыщенный отчаянным поиском души, также обращается к методам литературы абсурда. Его абсурд претендует на содержательность. Хотя поиски истины часто ведутся по ту сторону смысла, результат находится по эту. Круг тем авторов "Метрополя" необычен. Действие их произведений происходит в каких-то грязных подмосковных бараках, кремлевских дачах, рабочих общежитиях. Писатели постоянно обращаются к запретным темам пьянства, секса, быта вождей, смерти. Все ситуации - крайние, нет простого человека, заурядной жизни, "кухонного" реализма. Но есть чудаки и бродяги, Бог и смерть, похмелье и похоть и бешеная жажда найти высший смысл в жизни. Пусть путем безумия, неприличия, кощунства, но прийти к ясности религиозного созерцания мира.

Интересно, что небеллетристическая часть "Метрополя" служит эстетическим и философским обоснованием его художественной практики. Так, "Страницы из дневника" Виктора Тростникова - это ясный и логичный отчет о метаморфозе научного мышления в религиозное. А эссе Марка Розовского посвящено доказательству тезиса о примате вымышленного над существующим.

Художественное воплощение этой идеи - пьеса В.Аксенова "Четыре темперамента". Аксенов давно работает в технике абсурда, но все, что он напечатал до сих пор, несравнимо с этой пьесой. "Действие происходит в далеком будущем, затем вне времени и пространства, финал - в наши дни", - предупреждает автор в ремарке. В действительности же действие происходит где угодно, только не в нашем будничном мире. Среди героев пьесы - олицетворения человеческих темпераментов, ангел смерти Разраилов, рабочие сцены

и Любовный треугольник. Диалоги и монологи ускользают от понимания в бесконечном ребусе и пародии.

"РАЗРАИЛОВ. Итак, нужна ли людям песня, как птице крылья для полета?

Начинает Хол.

ХОЛЕРИК. Песня есть сигма, бешеная сигма водопровода.

САНГВИНИК. Не согласен. Песня есть форма существования аминокислот плюс гибридизация всей земли.

РАЗРАИЛОВ. Опять за свое?

МЕЛАНХОЛИК. Песня - это голубая лента, влекущая под диван в паутину иллюзий.

РАЗРАИЛОВ. Молчать!

ФЛЕГМАТИК. Песня - это бублик."

Абсурдистский текст поддается рациональной расшифровке. Для этого надо учитывать, что полив (суть абсурда)построен на ассоциативных, а не логических связях. Приведенный фрагмент представляет собой вариант известной сказки о том, как пятеро слепых описывали слона, держась каждый за какую-либо слоновью часть. Аксеновские слепые заранее определены именами-темпераментами. Для Холерика песня - это вихревой поток, который "строить и жить помогает", агрессию которого - силу поверхностного натяжения - добрые греки справедливо назвали одной из своих букв. Советскообразное определение Сангвиника - широко, как "широка страна моя родная", и в рациональных терминах означает, что искусство преобразует природу человека (набор аминокислот), а человек - окружающую природу. Меланхолик, как и полагается бессмысленному интеллигенту, дает определение пессимистическое и мелкобуржуазное: и лента, и паутина "манили и звали и обе увяли" - конфликт мечты и действительности. Самое широкое и самое законченное определение дает флегматик; хотя он и намекает на бесконечность творческого порыва и тщету его (дырка от бублика), в его дефиницию влезает все что угодно: всё "кольцо,а у кольца, как всем известно, нет конца".

Тем самым драматург В. Аксенов доказал, что пятеро слепых описать не могут одного слона.

Смысл пьесы - а трактовать абсурдную драму, как мы выяснили, можно - в идее бессмертия человеческих страстей, в невозможности заменить живого человека его абстракцией. Но главное в пьесе все-таки не разгул фантазии автора, а его убежденность в существовании, реальном существовании идеального мира его воображения. Аксенов стремится доказать, что Дон Кихот и Пьер Безухов такие же реальные герои человечества, как и их создатели. Писатель-демиург творит мир, и если читатель в него верит, то мир этот реален. В "Четырех темпераментах" Аксенов не только создает абсурдную картину мира,но и постоянно разрушает сценическую иллюзию - зрителям все время видна задняя часть декораций, но воображаемая несуществующая действительность все-таки становится реальностью. Вот для этого торжества художника и написал Аксенов пьесу, которая - вместе с повестью Бориса Вахтина "Дубленка" - несомненно лучшая вещь альманаха.

Борис Вахтин давно известный неизвестный ленинградский писатель. "Дубленка" - его шедевр. В холодном традиционно-загадочном гоголевском Петербурге-Ленинграде живет ответственный работник Филармон Иванович, прямой и утрированный наследник Акакия Акакиевича. Случайно столкнувшись с ночным миром богемы, он заразился его испорченной притягательностью и возмечтал о дубленке - знаке приобщенности и избранности. Кончается эта мечта, как и у Гоголя, полным крахом героя. Но в повести есть еще один главный персонаж - таинственный всемогущий начальник по фамилии Бицепс. Он - король блата, князь знакомств, всеобщий благодетель - оказался самозванцем и жуликом, за что и поплатился свободой.

Бицепс - это уже герой не Гоголя, а Булгакова. Он пришел из Москвы "Мастера и Маргариты", чтобы новым Воландом и Коровьевым обольстить несчастных ленинградцев, мечты которых так и прозябают на уровне дефицита. Бицепс надсмеялся над беспомощной приземленностью советского обывателя и был наказан семью годами строгого режима. А жизнь осталась той же суетливой погоней за дубленкой, и ничто не меняется со времен Булгакова и во веки веков.

Впервые, кажется, в роли прозаика выступает Белла Ахмадулина. Ее странное произведение посвящено Василию Аксенову, и этим объясняется многое. Это некий реверанс в сторону Аксенова и его мифологической прозы. Читать, что написано Ахмадулиной, трудно - утрированный стиль, стиль в чистом виде. Вообще это литература, как говорят, не для читателей, а для писателей. И даже для писателя - Аксенова.

Полной противоположностью Ахмадулиной выступает следующий за ней Петр Кожевников со своими незатейливыми "Мелодиями наших дневников". Он - самый молодой участник "Метрополя", но к сожалению, опоздал. Его дневники Гали и Миши, которые всё уже знают и пробовали в свои 16 лет, прекрасно читались бы 15 лет назад и, как верно заметил Владимир Максимов, "скроены по типичным эталонам "Юности". Сама по себе повесть с ее широким потоком быта и будней сделана неплохо, но - повторяет зады, а в "Метрополе" это выглядит еще более неуместным.

Настоящая проза появляется с именем Евгения Попова - "Чертова дюжина рассказов". Их действительно тринадцать, и это настоящие рассказы - короткие, сочные, с явным занимательным сюжетом. В них - тоже нехитрый советский быт, но не он составляет существо цикла. Сквозь суету коммунальных квартир, чад "Шашлычных" и нищету изб герои Евгения Попова прорываются к высоким духовным переживаниям. Многие рассказы носят откровенно эротический характер, точнее, просто малоприличный для ханжеского советского бытия. Однако доминантой человеческих отношений остается формула: Бог - это Любовь. "Вот, например, вроде бы гнусная эта, вышеприведенная история, что она - циничная обывательщина или наоборот - светла, добра, свята? А может быть... всё вместе? И добро, и зло, и гнусь, и святость?.. Может, это и есть вся полнота мира?"

Сложное впечатление оставляет повесть Фридриха Горенштейна "Ступени". Ее герои живут напряженной жизнью, в постоянном нравственном усилии для разрешения проблем, связанных с душой человека, его бытием. Они в постоянном духовном поиске. Однако...

Однако полнокровная жизнь персонажей не находит адекватного литературного выражения. Горенштейн упорно "ходит под Достоевским", но острота постановки проблем во многом теряет от их схематичности.

Андрей Битов - прежде всего, стиль. Витиеватый,но не затемненный, изысканный, но не вычурный. И вообще в художественной прозе Битов становится тоньше и прозрачнее, приближаясь к точному изяществу собственных путевых записок (таких как "Уроки Армении"). Он почувствовал приближение критического прозаического возраста и, как принято в хорошей литературе, проверяет себя зверинцем. "Последний медведь" Битова продолжает зоотрадицию Уитмена, Аполлинера, Хлебникова, Олеши, Шкловского. Вот Андрей Битов идет по зоопарку: "Неожиданная неимпозантность оленей и косуль..."; "Лужа с чем-то жалким, приснившимся, но неужасным - гиппопотамий бок..."; "Шимпанзе печален: ему предстоит человечество"; "Птицы какие-то черненькие и, по виду,все питаются падалью..." Интересно, что в последних строках последнего из трех рассказов Битов как бы полемизирует с Ахмадулиной и ее сугубо личной, подчеркнуто стилевой прозой: "какими способами обходится профессионал со своим знанием в том случае, когда может их обратить к себе самому? Как писатель пишет письма любимой? как гинеколог ложится с женой? ...на какой замок запирается вор? как лакомится повар? ...те узкие и тайные ходы, которыми движется в столь острых случаях их сознание, обходя собственное мастерство, разум и опыт - есть такая победа человеческого над человеком... Господи, сколько же в Тебе веры, если Ты и это предусмотрел?!" Андрей Битов всегда был тонок и глубок, сейчас он становится все духовнее и трагичнее.

Как всегда, наслаждение читать Фазиля Искандера, в "Метрополе" представленного двумя рассказами. Недавно в "Ардисе" вышел его огромный роман-эпос "Сандро из Чегема", а здесь - построенный на анекдоте "Маленький гигант большого секса". Но и там и тут Искандер - виртуоз. Он весело проводит своего сексуального гиганта, смешного Марата, по сложнейшим испытаниям,сводя его то с любовницей Берии, то с укротительницей удавов, то с лилипуткой, то помещая в компанию лесбиянок и, наконец,бросая в капкан уродливой и драчливой жены. Веселый Искандер всегда немного грустен, и эта смесь в сочетании с блестящим мастерством и талантом делает маленьким шедевром почти каждый из его рассказов.

У Аркадия Арканова смех уже не грустный, а трагичный,черный смех. Одна из заслуг "Метрополя" - открытие Арканова, казалось, обреченного на звание хохмача с 16-й страницы "Литературной газеты". Два его рассказа в альманахе необычны и очень хороши. В первом - вечеринка трех людей с конем. Ситуация, заставляющая вспомнить умных гуигнгмов Свифта и задуматься о совершенстве человеческой природы. Остроумный Арканов остается себе верен и тут: "Он протянул Римме мускулистую грубоватую правую руку: "Тулумбаш!.. От Башлыка и Тулянки..."; "В качестве кого же вы ездили в тридцать четыре страны?- В качестве рысака ездил, - сказал Тулумбаш..."; "Не представляю, как мы доберемся домой. - Я вас довезу, - с улыбкой сказал Тулумбаш". Обыденные пустые разговоры в дикой, смешной и поучительной для человека ситуации. Иное - во

втором рассказе "И снится мне карнавал". Здесь в яркую и эффектную форму облечены важнейшие вопросы: трагедия творчества, поэт и толпа, вечное изгойство творца. Каждый день писателя водят на казнь люди, равнодушные к его высокому полету, и только веселя толпу идиотскими банальностями, он оттягивает исполнение приговора. Арканову в вину можно поставить лишь концовки обоих рассказов, особенно второго. Проведя все повествование на взятой ноте, он в конце, не выдерживая, возвращается на 16-ю страницу "Литературки", с которой так удачно бежал в "Метрополь".

Два рассказа и повесть дал в альманах Виктор Ерофеев (не путать с Венедиктом, автором "Москва-Петушки"). Повесть, к сожалению, сугубо традиционна во всех отношениях, банален конфликт (роман с циничным доцентом приводит к гибели чистую душой студентку), банальна форма. Однако хороши рассказы Ерофеева - вновь на запретную в СССР тему - наполненные пафосом бесстыдства. Ситуация с развратным чтецом, выступающим с циклом "Любовная лирика русских поэтов", достаточна типична для общества смещенных критериев.

Завершает прозаическую часть Джон Апдайк. Включение в альманах отрывка из его нового романа "Переворот" носит, в основном, символический характер: один из лучших писателей современной Америки прекрасно вписался в компанию русских авторов, высказывая родство и Битову, и Искандеру, и Аксенову,который здесь снова отличился, смело и интересно переведя прозу Апдайка. Оказалось, что взаимопонимание литератур существует и что у современных русских и американских писателей точек соприкосновения, возможно, больше, чем различий.

Коротко - о стихах. Сразу надо отметить две главные вещи. Первое - очень высокий средний уровень современной поэзии в отношении версификационном, техническом. Второе - отсутствие (за несколькими исключениями) поэтических шедевров во всей современной русской поэзии в целом. Эпоха эпохе - рознь, сейчас она - явно прозаическая.

Лучший в сборнике - Генрих Сапгир. Он, после отъезда на Запад Иосифа Бродского, может быть, вообще лучший поэт, живущий в России.

Странно выглядит подборка Владимира Высоцкого: из 19 стихотворений-песен две трети широко известны уже лет пятнадцать. Видимо, Высоцкий в "Метрополе" - факт, существенный не для "Метрополя", а для Высоцкого. Свои малоинтересные, построенные на голых каламбурах стихи Андрей Вознесенский предложил в "Метрополь", скорее всего, во искупление своего лауреатства - уж очень упала его популярность в интеллигентских кругах после получения Государственной премии.

* * *

Каковы же уроки "Метрополя" как явления? Мы уже говорили,что он хотел зафиксировать право на существование особой, "третьей культуры", не столь лживой как первая, но и не столь пугающей начальство, как вторая. Двадцать лет идет тасовка: были известные поэты, ушедшие из бунтарей в холуи, были прозаики,обещавшие

стать опорой разрешенных либералов, но не пожелавшие ходить по лезвию ножа и ушедшие навсегда в радикалы. "Метрополь" хотел этот процесс остановить, законсервировать. Приходится признать, что это не получилось - ни по существу литературы, ни тактически. Литература "Метрополя" принадлежит общему литературному процессу в России, а его авторы уже начали получать, каждый в меру своего таланта, обычные советские неприятности в виде проработок, угроз, выкидываний. Один из авторов - Юз Алешковский - уже за границей. Само участие в "Метрополе" расценено начальством как компрометирующее. Начальство решило эту проблему с завидной, римской прямотой: третьего не дано.

"МЕТР^О^ПОЛЬ", Литературный альманах, Москва 1979". Издательство "Ардис", Анн Арбор, США, 1979. Составили: В. Аксенов, А.Битов, Вик. Ерофеев, Ф.Искандер, Евг. Попов. А в т о р ы: Белла Ахмадулина, Петр Кожевников, Евгений Рейн, Евгений Попов, Владимир Высоцкий, Фридрих Горенштейн, Инна Лиснянская, Семен Липкин, Андрей Битов, Юз Алешковский, Андрей Вознесенский, Фазиль Искандер, Борис Вахтин, Генрих Сапгир, Аркадий Арканов, Юрий Карабчиевский, Виктор Ерофеев, Юрий Кублановский, Джон Апдайк, Василий Аксенов, Марк Розовский, Василий Ракитин, Виктор Тростников, Леонид Баткин.

ПИСЬМО ИЗ ЛЕНИНГРАДА

Мы, художники, поэты, писатели, философы, искусствоведы, обращаемся к широкой мировой общественности, будучи глубоко озабочены судьбой ленинградского коллекционера Георгия Михайлова, подвергшегося уголовному преследованию и осужденному на четыре года лишения свободы с конфискацией имущества только за то, что он устраивал у себя на квартире выставки художников-нонконформистов и содействовал популяризации нового искусства в России. На процессе, длившемся свыше трех недель, несмотря на обилие допрошенных свидетелей (более 50 человек), *вина подсудимого фактически так и не была доказана.*

Определением суда предписано УНИЧТОЖЕНИЕ всех слайдов и тех картин из коллекции Михайлова, которые не будут приобретены государственными учреждениями. Учитывая, что коллекцию составляло свыше 100 работ маслом и множество листов графики, что это было самое представительное собрание ленинградской живописи новейшего времени, подобное решение суда нельзя расценивать иначе, как официально санкционированный акт культурного вандализма, цель которого – устрашение любого художника, рискнувшего в обход государственных учреждений заниматься искусством.

Мы оказываемся перед фактом целенаправленного физического уничтожения картин в государстве, которое является активным членом ЮНЕСКО и ИКОМ, и дальнейшая наша деятельность находится в реальной опасности. Мы снова оказываемся в ситуации, при которой преступлением является сам факт создания произведения, не отвечающего канонам соцреализма, когда свободная деятельность художника рассматривается как политическая акция, а попытки популяризации нового искусства – как уголовно наказуемое антиобщественное деяние.

Мы обращаемся к руководству ЮНЕСКО и Международного Союза Музеев в надежде, что создание авторитетной международной комиссии, состоящей из искусствоведов и юристов, знакомство членов этой комиссии с материалами дела Георгия Михайлова и с подлежащими уничтожению произведениями искусства приведет к пересмотру и отмене позорного приговора.

В.Овчинников, Ленинград, пр.Культуры 14, кв.3
Аветисян Армен, Ленинград, пер.Гродненский 11 кв.13
Журков И.С., Ленинград, ул.Карбышева 6 корп.2 кв.38
Иванов И.В., Ленинград, Владимирский пр. 15 кв.24
Горгонюв, Ленинград, Фонтанка 2 кв.402
Захаров, Ленинград, Огородный пер. 6/1 кв.64

Б.Иванов, Ленинград, Митавский пер. д. 3 кв. 33
А.Лоцман, Ленинград, Лиговский пр-кт 44 - 524
Г.Богомолов, Ленинград, Варшавская 77 кв. 138
В.Дмитриев, Ленинград ул. Плеханова 42 - 18 (поэт)
Б.С.Конский, Ленинград, ул. Казакова д. 10 кв 57 (инженер)
А.Белкин, Ленинград, Якубовича д. 22 кв. 5
В.Афоничев, Ленинград, ул. Жуковского д. 18 кв. 3
К.Миллер, Ленинград, ул. Маяковского д. 16 кв. 40
Кошелохов, Ленинград, ул. Мытнинская д. 9 кв. 5
В.П.Смирнов, Ленинград, фотограф, пер.Декабристов 8 - 135
И.А.Широкова, искусствовед, пр. Славы 35/1 - 237
Н.А.Цехомская, ул. Жуковского д. 18 кв. 1, фограф-художник
Т.В.Федотова, писатель, Новочеркасский пр. 40 кв. 68
Л.П.Федоров, художник, 8 Советская д. 33 кв. 30
Новиков Тимур, ул. Войнова д. 24 кв. 84
Т.В.Круглова, Ленинград, Боровая ул. д. 20 кв. 8
Н.К.Симаков, Ленинград, ул Мира 10 кв. 35
А.Ю.Гордиенко, Космонавтов 48 кор. 3 кв. 38
В.В.Дюков, Победы 18 - 30
Б.Кудряков, Боровая д. 72 кв. 17
Г.В.Григорьева, психолог, пр. Маршала Жукова д. 34 корп. 1 кв. 99
А.Б.Любачевский, ул. Марата 68 - 23
Б.Мамонова, ул. Правды 22 - 54, художник
Т.Горичева, ул. Грибоедова д. 23 кв. 61
М.Кунина, ул. Таврическая д. 2 кв. 156
М.Кучина, ул. Халтурина 7 - 15
М.В.Лесниченко, пр. М.Тореза 40 корп. 4 кв. 68
Ларин Вячеслав М., художник, Лен. обл. ст. Мга,
ул. Дзержинского д. 14 кв. 49
Ларин Владимир, художник, Лен. обл. Любань, Ленина 15 кв.6
Лилеев Юрий, художник, Лен. обл. ст. Мга, ул. Железнова
Зверев, художник
С.К.Мусолин, художник, В.О. 14 линия
Ю.В.Горшков, художник
Лев Сергеев, без места жительства, художник
В.Окунева, фотограф, ул. Козлова 13/2 кв. 20
Н.Любушкин, художник, ул. Некрасова 24 - 20
В.Кривулин - поэт
и другие подписи.

Некоторые фамилии и адреса неразборчивы, просим простить возможные ошибки.

ПЕСНИ БРАССАНСА

"Я был душой дурного общества"

Что есть Брассанс? Человек-легенда.Последний истинный сын богемы. Современный Вийон. Человек, вернувший широкой публике любовь к искусству.

Как это ему удалось? Да очень просто - для этого нужен настоящий поэт, который рассказывает о понятном и близком. Да - но с потрясающим мастерством, скрытым под естественной,как дыхание формой; строки, строфы эти созданы с терпеливым знанием.

В концертных залах, кафе, конструкторских бюро,на фабрике и в мастерской художника - живет песня-поэма. Прекрасная поэма, ставшая неотъемлемой от Франции; так неразлучны курильщик и трубка.

Брассанс заводит разговор начистоту. Разговор, полный ненависти к фальши, поддельным ценностям.Это и поиски новых признаков добра и разума. Чтобы увести человека от стада, от душных табу коллективизма, от конформизма, нечистоты, лицемерия, этот тонкий, даже рафинированный, сдержанный мастер погружается, ныряет в мир бродяг, шлюх и отверженных.

Брассанс поет свои песни под гитару. Не каждая истинная поэзия может быть спета. Однако вспомним,что в древней Греции поэт был неотделим от музыки.Вслушайтесь в слова:"кифара" и "гитара" - они схожи по звучанию.

Но разве Брассанс первый? Разве мало было поэтов и до него (да и нынче), терзаемых теми же проблемами, то же самое понимающих? Да, все это так. И все же...

Древние греки считали, что поэзия истинна, если в ней присутствует бог по имени "энтузиазм". Некое "второе дыхание", ярость мщения, свобода. Именно это "иное" состояние, этот "энтузиазм" придает песням Брассанса стихийную силу. Он убеждает и побеждает.

О том же говорят в Испании: "Оле,в этом есть бес!" И это бес искусства.

Перед нами скачет, плачет и смеется шествие пьяниц,неудачников, хулиганов, бродяг, чья профессия - голодная смерть.

Каждый лечит душевные раны, как может. Брассанс, чтобы избавиться от своих, поет о чужой боли, бередит чужие раны. Но ошибка невозможна: сарказмы и резкость - оборотная сторона медали. Она скрывает стремление любить.

Для всего этого, для попадания в "яблочко", в сердце, словно в мишень; для того, чтобы быть "душой дурного общества", иметь право на злую любовь к человечеству - надо одно: быть большим поэтом. Брассанс большой поэт.

...Песня - как трубка в зубах курильщика. Поэт отложил трубку в сторону, усмехнулся в усы. Настроил гитару. Глянул на слушателя хмуро и мудро:

"Поговорим".

Кира Сапгир

сорная трава

Воззвала вещая труба.
Разверзлись ветхие гроба.
На Страшный Суд Господь созвал
Весь грешный люд - и я предстал.

Кто ты такой? Я сорная трава, Боже мой!
Я вырос при дороге,и меня топтали ноги.
Я пыльная трава - и это так, Боже мой!
Никто, никто на свете не косил меня косой.
Тра-ля-ля...
Тра-ля-ля...
Что за беда, о Боже мой,
Что кто-то топчет нас порой...

Порой меня девчонка ждет.
Она отшельнику дает
Любовь и счастье на часок,
Атласной кожи лоскуток.

Я пыльная трава, все это так, Боже мой!
Я рос в пыли, о Боже, вдоль канавы придорожной.
Я пыльная полынь,позор какой, Боже мой!
Я сорная трава и при дорожке рос кривой.
Тра-ля-ля...
Тра-ля-ля...
Что за позор, о Боже мой,
Что кто-то любит нас порой...

От суеты, от пустоты
Все сбились в стадо, как скоты.
Пройдет, поверь, немало лет,
Пока пойду за ними вслед.

Я сорная трава, ну что с того, Боже мой!
К чему мне клумбы сада и узорная ограда?
Покрыт дорожной пылью,всем чужой, Боже мой!
Никто, никто на свете не нарушит мой покой.
Тра-ля-ля...
Тра-ля-ля...
Ну что с того, о Боже мой,
Что я по-прежнему живой...

ЖАЛОБЫ СОМНИТЕЛЬНОГО ТИПА

Я помню, около Мадлен она бродила,
На темной улице клиентов сторожила.
Она шепнула мне: "Пошли со мной, мышонок".
Я понял - это начинающий ребенок.

Она талантлива была, была гениальна.
Но страсть без техники - психоз маниакальный.
И вот я взялся обучать всему бедняжку.
И перво-наперво - вращать умело ляжку.

Перед кюре, перед педе и перед пьяным,
Перед бухгалтером и перед наркоманом,
Подход к ним нужен очень индивидуальный,
Интуитивный, субъективный, доскональный.

Познать все тайны ремесла дано не каждой.
Но вот на улицу пошла она однажды.
Дела пошли на лад, работа закипела.
Я головою был - она, понятно, тело.

Порой она являлась пьяная, без денег
И все твердила, что я сволочь и бездельник.
И чтоб мозги ей вправить, два или три раза
Я проломил ей череп крышкой унитаза.

И после множества сомнительных маневров
Она однажды принесла болезнь Венеры.
А так как общее у нас хозяйство было,
Она со мной микробов честно разделила.

Мне надоели и пилюли, и уколы.
Я вундеркинда исключить решил из школы,
Я указал на дверь студентке. Что тут было!
Она ругала подлецом меня и выла.

Она работает в борделе безымянном,
С лягавым спуталась и спит с вором карманным.
Что тут сказать? Да очень жаль! Так низко пала
У нас во Франции мораль с высот бывалых.

свадебный кортеж

Женились по любви, женились из корысти,
Банкиры и швеи, крестьянки и юристы.
Но до скончанья дней я буду вспоминать
Ту свадьбу, что сыграли мой отец и мать.

В тележке мясника повезла их венчаться
Веселая толпа друзей и домочадцев,
А матушка моя, невеста средних лет,
Баюкала, как куклу, свой большой букет.

Ботинки утопив в придорожную грязь,
Глазеет строй зевак, как плача и смеясь,
Под дождем проливным, словно в годы былые,
Друг на друга глядят любовники седые.

Рев бури перерос в истерический визг,
И ветер хор унес, как жухлый желтый лист.
А мой аккордеон под сумбур урагана
Завывал на манер пасхального органа.

Но шафер завопил: "Разрази меня гром!"
И небу погрозил огромным кулаком.
"После нас - хоть потоп, пусть непогода злится!
Юпитером клянусь, что свадьба состоится!"

Невиданный кортеж направлялся во храм,
Стихиям вопреки, наперекор богам.
Под смех и крик толпы, в сиянии святом.
И - "Слава и хвала Невесте с Женихом!"

маринетта

Я песенку однажды сочинил для Маринетты,
Но в оперу отправилась обманщица моя,
И с песенкой моей я был похож, маманя! -
На мудака похож был с песней я.

Я с баночкой горчицы раз примчался к Маринетте,
Но кончила обед уже обманщица моя.
И с баночкой горчицы был похож, маманя! -
Был вылитый мудак с горчицей я.

Однажды подарил мотоциклет я Маринетте,
Купила тут обманщица себе автомобиль.
И я с мотоциклеткой был похож, маманя! -
Я мудаком с мотоциклеткой был.

Однажды я примчался на свиданье к Маринетте.
Обманщица в обнимку шла с подонком и скотом.
С букетиком цветов я был похож, маманя! -
С цветами был я полным мудаком.

Я пулю в лоб решил вогнать однажды Маринетте.
От триппера обманщица назло мне умерла.
Увы! Я с пистолетом был похож, маманя! -
На мудака похож, и все дела!

Когда я на кладбище стал прощаться с Маринеттой,
Обманщицу святой какой-то мигом воскресил.
И с траурным венком я был похож, маманя! -
На мудака с венком я походил.

В лесу сердца моей милой

В лесу, прекрасна и светла,
Моя любимая спала.
А в сердце милой крепким сном
Спит птица в сумраке густом.

Я, словно гость страны теней,
На цыпочках подкрался к ней,
Я наклонился...
Но тотчас
Открыла птица круглый глаз
И острый клюв.
Раздался ор,
И писк, и крик: "Убийца! Вор!"
Тут из окрестных деревень
Сбежались все, кому не лень.
Меня ругая и кляня,
Собралась вся ее родня.
Визжит, вопит безумный хор:
"Подлец! Наглец! Разбой! Позор!"
Проснулась милая моя,
Закрыла сердце от меня
На сто защелок и замков.
С тех пор,
сестра,
я птицелов.

ОБРАТНЫЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВЦЕ

На мори-акияни, на атолли Буяни, стоить водяры бочонок, навозу ларчонок, пять пудов огурцов моченых да морфину пятьсот ампулчонок.

Знай водяру лакай, огурцы в экскременты мокай, жри-ешь-нажимай, а опосля морфином покалывайсси!

Худо ли?

Ета ищо не сказка, но интродукция - сказка впереди.

В некотором царстви, в обратном государстви жили-были царь с царицей, и было в их три сына, двое - умных, а третий - дурак, да ищо и некрофил. А ищо было у царя деревце: заморское, заповедное, кое квашеной капуссской плодоносило. А квашеная капуссска опосля ацтону - первая закуссска. И берег царь деревце пуще глазу, потому как без глазу ацетон пить можно, а вот без квашеной капуссски - хуй!

Вот как-то раз взял царь свою царскую ендову с ацетоном, на коей зверь-василиск был изображен, царское же золотое лукошко, на коем картина Манэ "Завтрак на траве" гальваническим способом была вытравленая - и пошел к деревцу своему заповедному.

Подходить - и видить: ни капуссски, ни деревца. Спиздили...

Тут и сказке - того.

СКАЗКА О МАРЬЕ-ЦАРЕВНЕ И МЕРТВОМ БОГАТЫРЕ

У деревни Гноевой стоить колодезь мочевой. Хто оттеда изопьеть - тот любов свою найдеть, а хто туды ыранеть - трансцендентно заживеть!

Ета ищо не сказка, но интерлюдия, сказка - впереди.

В некотором царстви,в обратном государстви жила-была Марья-царевна; некрасивая, но добрая. Ото как-то раз отправилась Марья-Царевна в лес: желуди на файв-о-клок собирать. Собирала-собирала и! дособиралась на свою голову: заблудилась. Ходила-бродила, ходила-бродила, вдруг видить: лежить богатырь. На объекты измельченный, на фрагменты распиленный, абсолютно расчлененный - и потому некрасивый, но сразу видно, что добрый. Обрадовалась Марья-царевна: "Ото, - думаить, - жених мине будить!" Свистнула Марья-царевна извращенным способом в три пальца,и явилась перед ей живая и мертвая вода. Побрызгала она богатыря спервоначалу мертвой водой. Богатырь - сроссси. Тады она его живой водой - хуяк! Да не тут-то было: как сростаться, так это он - да, а вот как оживать - не да. Лежить перед Марьей-царевной богатырь, некрасивый, но сразу видно, что добрый, и пахнет.

Заплакала Марья-Царевна и пошла к себе восвояси.

Тут и сказке - того.

КАК МУЖИК БАРИНА ХОТЕЛ ОБМАНУТЬ

За лесами, за морями, за двенадцатью дверями, где врагам проходу нет, есть особый кабинет. Там стоить чудное чудо, видно всем и отовсюду: агромаднейший гигант, а к ему приделан крант. Ежли хочешь тройняка - поверни тот кран слегка,ежли хочешь элексиру - поверни его в полсилы, ну а ежели в тибе организм к тормозной жидкости влечение имеить - тогда извинити. Потому как тормозная гиганту и самому нужна.

Ета ищо не сказка, но интерференция, сказка - впереди.

В некотором царстви, в обратном государстви жил был мужик. По-домашнему Кузьма, а по улишному - Аркадий. Такой хитрый, такой хитрый, что такого хитрого и среди жидов не сыскать!

Вот как-то раз мужик и говорить своей жене: "Надоело мне, жена, своих мужиков объебывать. Всю дяревню перехитрил - сил моих нет! Пойду - барина вокруг пальца обведу". "Ну что ж, мон шер, - сказала баба, - пойди".

Как приходить мужик на барский двор, - а там его ужо ждуть. Сразу его на конюшню - и там такого мяса с него понаделали, что закаялся он барина обманывать.

Тут и сказке - того.

ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВУЛЬФ

Копал мужик нужник. Семь дней копал, поразительно устал,отдохнуть возжелал. Возжелать он возжелал, только в яму-то - упал. А упал он, шельмец, где стоить большой дворец, а в том дворце жил да был Иван-царевич. Жил-был, поживал, клей "БФ" употреблял, и напала на Иван-царевича тоска-кручинушка смертная. Стал он своего вороного коня седлать. По первому делу,он коня рогатиной

в брюхо озадачил, а для верности - булавой по темени присовокупил. По второму делу,наложил Иван-царевич на коня унтер-потничек, опосля его - собственно потничик, а уж совершенно опосля - обер-потничек. По третьему делу,стал Иван-царевич на коня залезать. Глядь - а конь-то сдох. Пуще прежнего опечалился Иван-царевич. И вдруг возник перед им серый вульф. "Что такое ты не весел, Иван-царевич, очень голову повесил?" А царевич ему и отвечает: "Комплекс мой меня съедает: одолел он молодца - я убить хочу отца". "А зачем же ж нет?"- говорит серый вульф.

Грянулся он оземь - и обернулся старичком. Стоить пред Иваном-царевичем старичок-большевичок, изо рта торчить сучок, борода антипатичная. "Здравствуй, - говорит старичок, - Иван-Царевич!" "Здравствуй, дедушка, - отвечает ему царевич. - В морду хошь?" "Нет",- отвечает старичок. Но не послушался Иван старичка - и выделил ему! Грянулся старичок-большевичок оземь - и дух из его вон. А Иван-царевич после такого катарсиса стал здоров и весел.

Тут и сказке - того.

1966

Петр ВАЙЛЬ, Александр ГЕНИС

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАРОДИИ

СМОРКАЮЩИЕ ДАЛИ

пельменная

- Так ты говоришь, что Зиновий стукач, - спрашивает Таксидермист, который только что приехал из и собирается в.

- Все стукачи, - заметило Жогло и обделалось. - Спроси хоть у Полярника, его выбрали в УСЕР (Университет Северной Европы в Рыбинске).

- Дело не в том, кто стукач, - говорит Полярник, снимая унты. - Стукачество можно разделить на три категории. А - это стукачи негритянские, стучащие по дереву, Б - это дерьмосеки, стучащие по дереву в соответствии с теорией, В - это дятлы, стучащие по дереву клювом. Каждый из нас попадает в одну из этих категорий. А Зиновий сразу во все три. Во-первых, он черный, вовторых, с носом, в-третьих, доктор наук.

Полярник выслушал аплодисменты, надел унты и вышел. Пришел Зиновий и сказал, чтобы все шли обедать.

пипы суринамские

Когда к пипам подсадили утконоса, то они его съели, предварительно изнасиловав. Второго - просто изнасиловали, а третьего только съели. Из этого вывели, что социальные законы действуют изоморфно среди пип суринамских.

алгебра пипсизма

Ебанов украл у Полярника унты, продал их в Толчке и купил всем пива. Жогло засмеялось и опустило рыло в кружку. Босой По-

лярник сказал, что сказавши "а", надо сказать и "б". Жогло сказало.

Пришел Таксидермист с большим Х и увел Валентину Херешкову. "Увели Б", - закричал проснувшийся Ебанов и выпил пиво Жогло.

Пришел Зиновий и сказал, чтобы все шли пить чай.

молитва таксидермиста

Господи, как меня мучало
То, что нет правды кругом.
Вот и стою я, как чучело,
Набитое мною дерьмом.
Движенья умелость нелишняя,
Художник я - как ни толкуй!
Но почему же, Всевышний,
Всегда получается член?!

ночь перед крематорием

- А все-таки это Зиновий нас заложил, - говорит Таксидермист.

- А какое это имеет значение теперь? - спрашивает Полярник. - Истец ведь давно доказал, что суринамские пипы,съев утконоса, сжигают его труп. В Сусловы Зиновия не позвали, а для утконоса у него нос не дорос.

- Попадись он мне в летной роте, - говорит Валентина Херешкова.

Ебанов рыгнул, пустил газы и слюну. Потом пошел дождь, переходящий в снег и калоиспускание.

Пришел Зиновий и сказал, чтобы все шли в колумбарий.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ПАЛЬЧИК

Меня все любят. Я мерзок и гнусен, во мне бывает шесть футов росту, голубые глаза, турецкая кровь. Одна моя подруга, посол Швеции, звезда минета,как-то сказала мне в узком и темном сортире нашего редакционного фотокора Тиши ван Хова: "Серж, ваша сперма, как у Густава VI Вазы, она похожа на миндальный торт". Я тогда так напился у Спас-Нередицы, что с трудом отличал Богоматерь Одигитрию от районной доски почета. Короче, дали мне 15 лет за растление малолетней с особым цинизмом и применением технических средств (мотоцикл). Я, конечно, не сидел ни дня. Вспомнили мои заслуги в Дубровлаге: все-таки Старший Филолог Штрафного Изолятора.

На улице Тоомаса Лейуса, возле бара "Ухну" радуется Тиша ван Хов.

- Что, Серж, нашмалял капусты?

- Трансцедентно.

- Отдохнем.

...Я чувствовал, что последние шестнадцать литров пошли как надо. Сигне-Май говорила: "Ты мой Олег Попов,ты мой Эйжен Леонов".

Она гладила меня по глазам и зубам. Доярка и учительница из Йыхви, она знала русскую литературу только по шедеврам.

- Я писатель, Сигне-Май. Меня все любят. Меня в "Огоньке" напечатали. У меня животное чувство юмора. Меня Мирзо Турсун-Заде цитирует.

Я плакал.

Было тридцать пять минут четвертого. Официанты сливали из фужеров ликеры, леча подагрой похмелье.

Я изящно подумал про себя: "Умру, как Гарсия Лорка".

От дверей звонко и молодо закричал ван Хов: "Серж, срочное задание, у редактора лопнули штаны!" Я уже понял, что возиться придется опять мне, шестифутовому блондину, которого упомянули в "Краткой литературной энциклопедии", в статье "Турсун-Заде, Мирзо".

- Пальчик ты мой, пальчик, - валялась в моих брюках Сигне-Май.

- Все мы врем, все. Мы пишем черным по белому и врем. Врем всегда,даже когда не надо.Не надо. Надо - не надо - врем. Врем, даже когда выпьем. Вообще врем. Сигне-Май, девочка моя,врем надо - не надо. Девочка моя, никогда не бери минет у русского писателя. Надо - не надо.

Раздался звонок красного редакционного телефона-вертушки.

- Зарплатов, вы опять пьяны!

- Что вы, Ванатомас Мордухаевич, я же на задании.

- Когда это вам мешало?!

Редактор ждал.

ДЕТИ ГОГЕНА

Фома Издухалович Сомлеев любил, придя с работы, развалиться на кушетке и гладить толстый, смердящий живот. Ничто его так не радовало, как вид своего волосатого брюха, с гниющим от жирной пищи пупком, и мысли об испражнениях, которые собираются там за долгий день. Сомлеев часто вот так лежал, ни о чем не думал и только предвкушал час похода в клозет.

"Подумал бы о вечном", - иногда говорила ему распухшая от жирных бульонов его жена, Лахудра Ивдекеевна. Но Фома Издухалович только похохатывал и приговаривал: "Эзотеризм, тетка, он в говне".

Их маленькие детки - Вася, Ася и Тася - по вечерам обычно дома не бывали. Они полюбили тихие игры на городском кладбище за околицей. Там Вася как старший, часто покряхтывая от малолетства, вскрывал новый, только что зарытый, сделанный пьяницей плотником Михрютичем гроб, а младшие сестренки, Ася и Тася,таскали начинающего пахнуть покойника за усы, а если случалась женщина, то и за титьки.

"Пули на вас жалко", - ворчал кладбищенский сторож, добряк Никодим, который и сам был не прочь поиграть с мертвяками.

Фома Издухалович знал о детских играх своих отпрысков,но не вмешивался,думая про себя, что кто их знает - не это ли путь к высшему перевоплощению, не в этом ли их карма,и застенчиво пред-

ставлял все те, уже остывшие экскременты, которые остались у бедных покойников невыделенными, с которыми их так и закопали в неглубокие ямы городского кладбища Кащейки.

Но однажды детишки не вернулись домой к ужину. Не дождавшись, мамаша Лахудра Ивдекеевна отправилась на кладбище. На разрытом холмике она нашла только пустой гроб и обгрызанную ножку своей младшенькой, Тасеньки. От других остались только пуговицы.

На безмолвный вопрос матери сторож Никодим только разводил пухлыми руками и приговаривал, пряча лукавую добрую улыбку и облизываясь: "Упыри, мать".

Фома Издухалович даже не пошел посмотреть на свою раскачивающуюся на кладбищенской крапиве жену. Он сладострастно стонал в клозете, выдавливая теплый экскремент, и соседи узнавали знакомое кряхтение: "Адеква-а-ат!", доносящееся из-за двери.

ЭТО Я - ФЕНИЧКА

Больше всего я люблю засунуть в свою рыжуху редьку. Некоторые постояльцы отеля "*Huy Slow*" смотрят на меня с неодобрением. Конечно, большинству из них не нравятся мои политические взгляды. А я думаю так: если б повесить на одном суку Хошимина, Сахарова, Лумумбу, Пиночета, Гладилина, Чомбе, Шлессинджера и всю эту придворную шатию - разом сто черномазых кончили бы от смеха.

А черных я вообще-то люблю. Мне нравится, что у них все черное: и одежда, и тело, и душа, и мысли. Как у меня. Хотя я дамская мастер, и поглядеть только на мое тельце - ягодицы слоновой кости, грудь стоит, как забор, губы волосатые...

Я работаю журналистом-редактором в "Вашей правде": пиво ношу. Наш троцкистский листок стоит на крайне правых позициях,нас, бомбоньерок, не понимают.

Меня вообще мало кто понимает. Вот и муж мой, осел,меня бросил. Ушел к лошадям. Представляю, как он там снует при его-то калибре.

А мне что - вожу себе из ООН кого попало. Все больше замухрыжки да мандавошки. На днях был Эндрю Янг. Я уж что делаю, так делаю хорошо: в зубах мошонка, а сама ему брюки шью - прогрессивная портной, анархистка.

Я ведь за что борюсь - на то и напорюсь. Мне главное, чтоб все было откровенно, чтобы и одежда, и тело, и душа, и мысли - все наружу. Сижу на балконе, к наружным губам жабо пришиваю. Это мне приятель посоветовал, композитор Бабаджанян. А что,я люблю.

В НОМЕРЕ:

ЭХО

Ежеквартальный литературный журнал

Основное содержание - литературный процесс в России в течение последних десятилетий. Проза, стихи, литературная критика. Публицистика. Более двух третей журнала составляют материалы разнообразного литературного самиздата "оттуда", из России. Многие имена годами работающих в литературе писателей появляются в печати впервые. Публикации. Переводы. Юмор. Современная лексика.

***

ТОЛЬКО В ЕВРОПЕ:

Условия подписки в редакции - 75 французских франков
(4 номера в год), с доставкой

В других странах журнал можно приобрести:

В Германии:
A.Neimanis Buchvertrieb, Bauerstrasse 28,
8000 München 40, Germany, tél.37.05.34

В США и Канаде:
1. Издательство "Ардис", "RLT/Ardis Publishers",
2901 Heatherway, Ann Arbor, Michigan 48104, U.S.A.
tél.(313) 971.2367
2. Mr Edward McDermott, 320 E. 23 Street, New York,
N.Y. 10010, U.S.A. tél. (212) 982.2252
3. Ян Нахамчук, Mr Yan Nahamchuk, 645 Colby CR #C
Claremont, CA 91711, U.S.A. tél. (714) 626.7108
4. Вадим Бытенский, Mr Vadim Bytensky, 751 Steeles,
Avenue West, Unit. 53, Toronto, Canada
tél. (416) 225.48.47

В Англии:
Представительство изд-ва "Посев", "Possev-Verlag",
18 Downs Rd., Beckenham/Kent BR32JY, England

В Австралии и Новой Зеландии:
Михаил Ульман, Michael Ulman, P.O.Box 335, Maroubra,
N.S.W., Australia, tél.349.84.84

В Израиле:
Ирина Гробман, Irina Grobman, 28 Ephraim str. Bak'a
Jerusalem, Israel, tél. (02) 712.493

В Париже журнал продается во всех русских магазинах
Цена номера - 30 франков
Цена сдвоенного номера - 50 франков

***

Joseph FLOCH, Maître-Imprimeur à Mayenne - 13 - 11 - 1979, n° 6956

ЭХО • ECHO

1979 • ПАРИЖ